

Л.В. Парийская

Корни и крылья

” Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.”

А. С. Пушкин

Л.В. Парийская

Корни и крылья

(Воспоминания, рассказы, шутки)

Москва
Санкт-Петербург
Пушино

2004

Рисунки Л.В. Парийской

От составителей

В настоящий сборник вошли прежде всего материалы, хранившиеся в семейных архивах Парийских. Часть из них была опубликована еще до войны в детских журналах, часть — в воспоминаниях о крупных физиках XX века, вышедших в отдельных изданиях. Однако большая часть публикуется впервые. В Приложениях мы добавили ряд текстов, касающихся той интеллектуальной среды, в которой прошла жизнь Лидии Викторовны.

Л.В. родилась 20 ноября 2004 г. в Москве, и после революции сразу попала в общество молодых физиков, астрономов и математиков. Это были: Игорь Тамм, Михаил Леонтович, Александр Андронов, Петр Новиков, Николай Парийский, Людмила Келдыш, Александр Витт.

Закончив технический ВУЗ (ныне это МТУ), Л.В. практически не работала, но была одним из самых активных членов упомянутого общества. Только в середине 40-х годов по предложению И.Е. Тамма она была принята в ФИАН лаборантом-вычислителем и сразу окунулась в среду физиков, занятых разработкой водородной бомбы. Особенно долго она работала при А.Д. Сахарове, но скоро весь теор. отдел ФИАН стал ее вторым домом до самой ее кончины 4 февраля 1988 г.

Л.В. не имела таланта рассказчика, но писала она легко, содержательно, и всегда интересно. После публикации первых детских рассказов С. Маршак рекомендовал ей серьезно заняться писательским творчеством, но этого не случилось. Мы надеемся, что читатель Сборника заметит и эту сторону ее таланта.

Мы благодарим всех, кто помог в составлении Сборника, как родственников, так и сотрудников ФИАН и всех, близко знавших Лидию Викторовну.

А.Н.П.
Ю.Н.П.
В.С.Б.



Л.В. ПАРИЙСКАЯ, 30-ые годы



Л.В. ПАРИЙСКАЯ, слушающая Бетховена..., 80-ые годы

ОГЛАВЛЕНИЕ

Воспоминания о детстве	
Картинки из детства Лиды и Юры Птицыных	13
Мама и Папа	13
Первые воспоминания	14
Лошади, лошади, лошади...	16
Лосинка	18
Музыка, музыка!	20
Я и Юра. Наша жизнь	22
Мой удивительный брат (10–12 лет)	24
Мамин сон	25
Наш обычный день	25
Купание коней и чувство долга	32
Мамины рассказы	38
Дополнение	40
Воспоминания об ученых	
Шесть десятков лет рядом (воспоминания о семье Леонтовичей)	42
Наш Игорь Евгеньевич	62
Он всегда будет самим собой	67
Теор. Отдел ФИАНа в 1944–1947 годах	75
О Ефиме Фрадкине	90
О Петре Ивановиче Живаго	91
Хроника некоторых путешествий	
Игорь Евгеньевич, мы и Алтай в 1926 году	94
Маленькое эссе об алтайской травке	111
В дебрях Кавказского хребта	115
Повести и рассказы	
Сон	124
Два часа жизни	126
Мама	145
Рассказы и сказка для детей	
Кошка Минюшка	152
Мой брат Миша	155
В пещерах	159
Васька (трус)	163
Ледоход	173
Сонный город	178
Как Винни-Пух и все остальные искали Кристофера Робина	191

Шутки

Жизнь и деятельность Ник-Ника Парниковского	208
В президиум АН СССР	211
Отцы и Дети... Проблемы воспитания	212
Наши доблестные мужи науки	216
О Д.А. Киржнице	221
Веселые картинки из жизни под названием Игорь Тамм...	223
Мистер Санта-Клаус в стране Советов	230
Семье Птичкиных	233

Приложения

Е.Л. Фейнберг. Мозаика (фрагмент)	236
Н.М. Леонтович. Коммуна на Сивцевом Вражке	237
К.А. Разумова. Тучково	240

Предисловие

О роли родителей наиболее верно и кратко, на мой взгляд, высказалась мать героини в телесериале "Любовь и тайны Сансет-Бич": "Они должны дать детям корни и крылья."

В воспоминаниях моей матери о ее детстве, о дружбе (в том числе с семьями выдающихся физиков XX века), о путешествиях на Алтай и на Кавказ в те (далекие?) 20-ые годы, в повестях и рассказах, написанных легким пером, как в серьезной, так и в шутливой манере как раз и видны ее корни и крылья. Эти корни были так глубоки, а крылья так мощно и весело возносили ее над землей, что мы, ее потомки, питаемся их глубиной и силой до сих пор...

(А.Н. Парийская, лето 2003 г.)

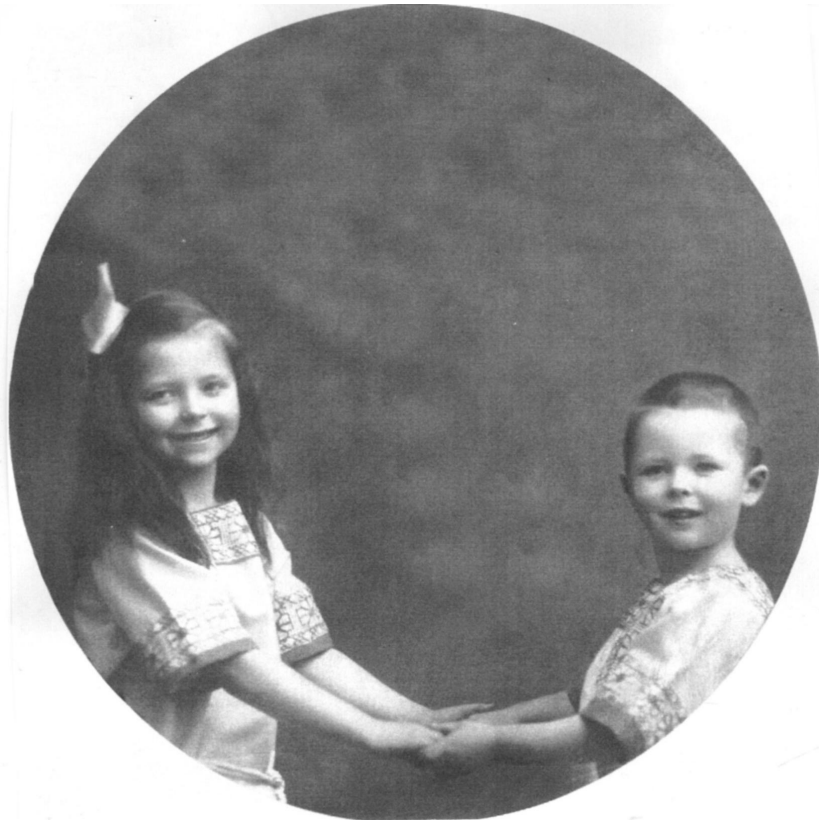
Воспоминания о детстве



Мать Л.В. Парийской — ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА ПТИЦЫНА,
урожденная ЛИ



Отец Л.В. Парийской — ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПТИЦЫН



ЛИДА и ЮРА ПТИЦЫНЫ — Лосиноостровская, 1910–15 годы

Картинки из детства Лиды и Юры Птицыных или трактат о воспитании, написанный в 1981 году

Мы были совершенно не похожи друг на друга. Юра в раннем детстве был насупленный серьезный толстячок, любящий привалиться к маме: "теленочек", как говорила я, не любящая никаких нежностей. Я же обладала веселейшим, и к тому же чисто мальчишеским характером. Но, как ни странно, с самых ранних лет в такое ребячливое и бесшабашное существо, как я, вселился строгий наблюдатель. Он все замечал — как бы со стороны, — и все запоминал. Вот поэтому, между прочим, я услышала, среди шумной беготни со знакомыми ребятами, как их родители выспрашивают потихоньку у мамы, как она сумела воспитать таких "удивительных" детей (т.е. нас), которые никогда не ссорятся, не капризничают и сразу слушаются. Мама только улыбнулась и пожала плечами. Вспоминая всю нашу жизнь с мамой, я думаю, что в нашем воспитании она упорно, без всяких срывов и при любых условиях, держалась таких правил. Во-первых, она разрешала нам очень, очень многое, о чем другим детям и не мечталось. А запрещала..., я даже не помню, что она нам запрещала. Но когда она просила нас что-нибудь сделать, мы всегда слушались ее с первого слова. Во-вторых, она никогда ни на кого не повышала голоса, тем более на нас. В-третьих, она никогда не читала нам ни нотаций, ни нравучений. Другого такого воспитателя, как наша мама, мне встретить в жизни не удалось. Поэтому во всех этих картинках она будет присутствовать зримо и незримо. И поэтому я эти записки и назвала трактатом о воспитании.

Мама и Папа

Звали мы нашу маму до конца ее недолгой жизни "Милечкой" (потому что она была милая). А папу звали "Путой". И охотно объясняли, что зовем его так потому, что он все путает — скажет одно, запретит что-нибудь — а мы ему сейчас же докажем, что это не так, и он сразу согласится.

Был он человеком мягким, добрым, с разными талантами — и в театре играл (даже в домашнем театре Станиславского), с совершенной легкостью писал стихи — вернее вирши, рисовал и чертил, играл на кларнете и на мандолине, и с замечательным искусством делал всякие поделки и макеты (в молодости сделал одному купцу макет его любимого монастыря и тот на радостях отвалил ему огромные деньги). Мог бы кончить Межевой Институт с отличием, но бросил. Польстился на эти случайные заработки, кутил, вел самую непутевую жизнь, но потом образумился, подучился и стал работать инженером-практиком в прекрасной строительной фирме двух профессоров. Там ему и посчастливилось встретить маму — человека, несомненно, удивительного...

Первые воспоминания

До 1910 года мы жили в городе, в Москве. И вот несколько картинок из этого раннего детства.

Вечер. В гостиной совершенно темно. Мы с Юрой ползаем на четвереньках по большому ковру, тыкаемся друг в друга то головами, то задками и бормочем: "Тяп-ляп... тяп-ляп... тяп-ляп..." Это очень интересно и таинственно...

Мы сидим с Юрой, друг против друга, за столом и что-то крутим в руках. Мамы нет, и нам сиротливо и плохо... Сзади Юры большая белая дверь, за дверью гостиная, там темно и никого не должно быть. Но все-таки, я чувствую, что там кто-то есть... И дверь начинает тихонько-тихонько открываться... Пола внизу я не вижу, но знаю, знаю, кто это ползет и шепчу:

— Крыса идет...

Мне нужно вскочить, прогнать эту проклятую крысу, а я не могу шевельнуться... Мне кажется, что этот сон, цветной, яркий, я видела не один раз. Даже сейчас я представляю его необыкновенно ясно.

В гостиной лежит большой-большой ковер, с розовыми цветами. Я очень люблю его. Я снимаю туфли и танцую; я порхаю легко, легко, я просто летаю, а мама играет Сен-Санса, мой любимый вальс Сен-Санса. Но вот приходит папа с мандолиной, вальс обрывается, и они начинают играть какой-то зажигательный испанский танец. Я только собралась отплясать что-нибудь отчаянное, но взглядываю на Юрку, совсем маленького, и вижу, что он сползает с кресла, куда его посадили, медленно подымает ногу и брякает ею об пол, сопит, опять подымает ногу и брякает... Я кричу:

— Смотрите, смотрите, Юра танцует!

Мама и папа подбегают, хватают его за руки, что-то поют, я тоже что-то пою, и мы все вместе пляшем — а Юра даже улыбнулся. Он редко улыбается, зато, как говорит нянька — "как взглянет, так рублем подарит". А у меня всегда рот до ушей...

У нас много хороших игрушек. Есть замечательный строительный ящик. Чего там только нет! Всякие брусочки, арки и своды, окошечки со слюдой, колонки и башенки, и крыши. И все такое красивое, резное и разноцветное. Я строю из них великолепные дворцы. Еще у меня много цветной бумаги любых оттенков. Если их разложить по "радуге", как мне показал папа, получится очень длинная полоса. Я люблю делать аппликации — один раз у меня получилось очень хорошо: вечер, сиреневые и лиловые снега, сине-черное небо, оранжевая луна, избушка под снегом, а в избушке горит желтый огонек... Еще я делаю маленький кукольный театр из картона и бумаги: про колобок, про семерых козлят. Театр я показываю папе — он бывает очень доволен.

А Юра вот очень редко играет в строительный ящик и не клеит ничего из бумаги. Всегда у него в руках что-нибудь есть, всегда он что-то во что-то ввинчивает, вкручивает, всовывает. Купили ему как-то очень странный

”конструктор”: в горошины (их надо размочить) всовывают тонкие палочки и получаются всякие фигуры. Но горошины скоро растрескались. Тогда мама достала ему большой деревянный конструктор, с которым он не расставался очень долго, много лет. И еще он очень любит деревянный паровозик с вагончиками. А мне все это было совсем не интересно.

Я вообще очень любила резать. Но один раз напал на меня такой стих — мне только этого и хотелось. Я изрезала несколько листов цветной бумаги просто так. Мама подошла и спросила:

— Для чего ты это режешь?

Я смутилась и ничего не ответила. Могла бы что-нибудь выдумать, но мне не хотелось врать. Мама убрала от меня бумагу и сказала: ”Ведь тебе еще надо доклеить козлят. Вот занялась бы. А то скоро папа придет”. А я полезла под стол. С ножницами — не могла с ними расстаться. Из под стола были видны Юрины ноги в желтых ботиночках, и ноги кухаркиного сына Гришки в валенках. Я села на пол и распушила веером свою синюю юбочку. Мама мне недавно сшила такую красивую шерстяную юбочку в складках. Я схватила левой рукой складочку, а правой вырезала по ней фестончики — чудо как хорошо выходило! И я все резала, все забыла, все складочки изрезала, которые могла достать, потом стала резать чулки... Только хотела начать резать ботинки, как увидела под столом мамино лицо:

— А ну-ка выходи отсюда!

Я вылезла — вся кружевная — ни на кого не смотрю. Юрка уставился на мои кружева круглыми глазами, а Гришка не то закашлялся, не то захохотал. Мама сказала:

— Поди в детскую, надень бумазейное платье, а эту юбку отдай няне — пусть выбросит на помойку. А тебе уж придется жить без юбки.

За ужином со мной никто не говорил — как будто меня и не было за столом. Потом папа пошел в гостиную рассказывать Юре сказку (он каждый день рассказывал нам сказки), а меня отправили в детскую спать. Я чуть слышала папин голос и мне даже очень захотелось плакать. Это было мое первое (и последнее) наказание.

Может вы подумаете, что это наказание было маловато за такие грехи? Э, нет!! Я его на всю жизнь запомнила. Юру, по-моему, никогда не наказывали. Во всяком случае, за его главное прегрешение — потерю маминой сумки со всеми деньгами. Никто ему даже слова упрека не сказал. А это было так. Мы с мамой жили в Финляндии, и Юре было пять лет. Мы жили в пригороде маленького городка Ганге. Рядом было море, сосны и огромные валуны, поросшие мхом. Мы по ним лазали. И вот один раз, когда море было совсем тихое, мама стала нас по очереди катать на фанерной байдарочке ”душегубке”. Сначала покатала Юру, потом посадила меня, а Юре дала свою сумку и сказала:

— Смотри, береги — тут все наши деньги.

И мы с мамой уехали. Когда возвращались, то сразу заметили, что с Юркой

что-то случилось. Стоит весь опущенный, на землю глядит. Я шепнула маме:

— Он сумку потерял...

Она кивнула головой. Мы искали сумку до самой темноты — не нашли. Вернулись печальные домой. Сидим, жуем печенье — на ужин денег нет. И никаких знакомых нет, мы совсем одни в чужом городе... Я сижу и голова моя лихорадочно работает. Я не могу себе представить, чтобы наша мама, наша гордая мама, пойдет просить деньги у хозяйки — у этой чужой толстой тетки. Нет, лучше вот что: я сама пойду к ней просить деньги. Жаль только, что реветь я не умею. Вот разве Юрку взять — он очень умеет жалостно плакать... Но тут вдруг послышались голоса, тяжелый топот на лестнице — мы жили на втором этаже — и в нашу комнату ввалился рыбак в кожаной шляпе и брезентовой робе. В руках он держал мамину сумку. Мама вскочила:

— Боже мой, где вы нашли?

Хозяйка сказала:

— Он говорит, у самой воды лежала. Чуть бы волна поднялась и ее бы смыло.

А мы все валуны облазили...

Лошади, лошади, лошади...

И вот еще один день, который на долгие годы круто изменил мою жизнь. Это был день моего рождения — мне исполнилось четыре года. Мы ждали папу с подарками. Нам всегда дарили обоим. Наконец, папа пришел, весь в снегу, с огромными свертками. Торжественно разворачивает первый... — что я вижу! — лошадка вороная!! Сердце мое подскочило от радости. Но папа улыбается и подводит лошадку... к Юре! К Юре!!! А мне подает огромную куклу. Вот тут со мной случился совершенно неожиданный для такой уравновешенной девчонки срыв! В полном отчаянии я бросилась в передней на пол, я кричала, я дико орала, грызла зубами половик, терзала его и вопила:

— Ни за что, ни за что не буду играть с этой куклой! Я ненавижу, ненавижу куклы, я люблю только лошадей, а вы дарите, дарите Юрке эту лошадь! Зачем, зачем?? Ведь ему нужны паровозики, вагончики, а вы ему... такую лошадь!!

Почему в этой городской девочке вдруг произошел такой взрыв чувств? Или при виде деревянной лошадки в ней вдруг заговорила английская кровь? Ведь и наша мама тоже была лошадицей в детстве... О гены, гены... Родители мои были поражены: мама сунула папе в руки злосчастную куклу и он исчез за дверью. Через час передо мной поставили лошадь; чудную, конечно, лошадь, с буланой шерстью, со звездочкой на лбу, с настоящей длинной гривой и хвостом... Но все-таки... она была не вороная, а я оказывается всегда, всегда любила вороных лошадей!

С этого дня началось мое буйное помешательство на лошадях и на долгие годы. Я стала рисовать только лошадей. Сначала рисовала лошадей с волнистыми хвостами и девочек с бантом и волнистыми длинными волосами (а у меня они были прямые). По мере роста и смены убеждений, хвосты у лошадей становились нормальными, а девочки стали с косами, потом стриженными и даже в штанах. Постепенно в рисовании лошадей я добилась некоторого совершенства, даже и сейчас могу нарисовать лошадь в любых ракурсах...¹

Этим же летом, в Крыму, мне удалось проехать несколько кругов на лошади какого-то полковника и самой держать поводья. А в семь лет, тоже в Крыму, я уже скакала в полном упоении по глухим дорогам вдоль Голубой бухты за горой Кошкой, а рядом со мной на своем вороном иноходце, легкой рысью ехал красавец проводник Ибрагим. Дальше было хуже. Несмотря на все мои старания, мне редко, очень редко, удавалось сесть на лошадь. Мне даже снился страшный сон — не крыса, крыса давно забыта — а вот что. Я вскакиваю на лошадь, хватаю поводья, сейчас помчусь — и вдруг мой конь подо мной начинает уменьшаться, уменьшаться и становится маленькой деревянной лошадкой. Ужасный сон...

Все свои дни рождений и именин я проводила однообразно: прибегала из школы домой, мне совали в руки рубль и я летела на станцию (это уже было в Лосинке). Там, около своих скрипучих пролеток прохаживались скучающие извозчики в длинных зипунах. Они все меня знали и уже издали начинали кричать:

— Барышня, барышня — идите ко мне — я вам дам править!

Но я не спеша обходила всех извозчиков, критически оглядывая их лошадей; наконец выбирала и залезала на козлы. Извозчик, ухмыляясь, разваливался в пролетке, изображая барина. А все извозчики ему кричали вдогонку:

— Счастливого пути, барин! Счастливо вам покататься.

Я на эту комедию не обращала внимания. У меня свои заботы и опасения — послушается ли меня эта лошадь? Ведь она прекрасно знает, что вожжи не у хозяина. Но вот станция позади, лошадь разошлась и бежит хорошей рысцей, и мы едем по грязной булыжной мостовой, под осенним мелким дождичком — в Медведково... Только одно лето, когда мне было одиннадцать лет, я провела с полным удовольствием — верхом на лошади с утра до ночи. Это было в деревне Подушкино. Утром, чуть свет, я бежала в стадо и приводила лошадей в деревню на работу; потом я их купала, потом дотемна отводила в стадо. И вот такое помешательство прошло через все мое детство...

¹ см. рассказ "Васька" (здесь и далее примечания составителей)

Лосинка

У нас в семье это заманчивое слово появилось, когда мне было шесть лет. Папа куда-то ездил, советовался с мамой и наконец объявил:

— А мы купили дачу. Теперь у нас будет свой дом. И мы поедем завтра его смотреть.

Мы встретили это известие с восторгом.

История нашей дачи мне представляется такими калейдоскопическими картинками.

Щелк! Ранняя весна. Мы видим дачу в первый раз. Вот она! Веселый, совсем новый бревенчатый домик. Перед домом огромная лужа, настоящее озеро. Кругом озера горы стружек и щепок. С краю участка "сторожка" — там будет жить наш дворник. Входим в домик: вкусно пахнет смолой, капельки смолы блестят на бревнах. Мама говорит:

— Какая прелесть! Ну до чего же мне хочется пожить в таком простом домике!

Но папа почему-то возражает, уверяет, что совершенно необходимо сделать то-то и то-то... Мы с Юрой не слушаем и убегаем пускать плавать щепочки по озеру. И потом мы уезжаем на все лето в Крым.

Щелк! Мы приезжаем на дачу осенью. Озера нет, горы щепок тоже нет. Зато на дворе построен колодец и сарай, где будут лежать дрова и жить куры... Перед домом разбиты газоны и посажены кусты и маленькие деревца. И потом мы уезжаем в Москву.

Щелк! Домик покрашен в веселый палевый цвет. К нему пристроена большая терраса. Переставлены перегородки. Проведены водопровод и канализация, поставлены умывальники и ванны. Стены обклеены обоями, на полах линолеум. Домик готов! Мы переезжаем на зиму и лето в Лосинку.

На левой стороне от станции, где были сосредоточены более крупные и комфортабельные дачи, несколько лет назад было организовано "Общество благоустройства". Как оно финансировалось, мне точно неизвестно. Вернее всего по принципу "кто сколько может". Но при наличии нескольких богатых и не скупых владельцев дач и при наличии честных и хозяйственных людей, тратящих эти деньги — "Общество благоустройства" добилось многого. Была построена большая "Лесная школа" — гимназия смешанного типа, подобран прекрасный творческий коллектив преподавателей, построен в парке летний театр, магазинчик-кооператив с библиотекой на втором этаже, проложены дороги, хорошие тротуары, поставлены мощные фонари на улицах, проведены телефоны. Не было в Лосинке только электричества.

Я думаю, что папа в основном давал не деньги, а техническую помощь — составлял проекты, сметы, проводил отопление, возился с постройкой театра, сколотил группу артистов-любителей из скучающих лосиноостровских дам и приезжающих на лето дачников. И мама, конечно, с ее деятельным характером не могла ограничиться ролью хозяйки дома и сразу включилась в

работу — ездила в Москву, кончила там какие-то библиотечные курсы, завязала связи с книжными магазинами и организовала великолепную библиотеку с большим отделом детских книг (у меня до сих пор цела большая бронзовая ваза, которую преподнесло ей благодарное "Общество благоустройства").

Вначале папа начал ставить в своем театре Островского и мама ему с интересом помогала. Но очень скоро выяснилось, что его "труппа" слишком мало подходила к постановке серьезных пьес. Он перешел на комедии, потом на водевили и на "обозрения", которые он сам с увлечением сочинял. Папа с головой ушел в свое детище: был там и актером, и режиссером, и суфлером, и завхозом. А маме, с ее сдержанным английским характером, общество этих дам-любительниц с их смешным кокетством и флиртом было, наверное, просто неприятно. И она скоро совсем отошла от папиного театра. Нам с Юрой эта публика тоже не нравилась, мы даже ехидничали на их счет (что было совсем не в нашем характере).

Но все это сразу отошло, когда мы стали учиться. И мама тоже с увлечением включилась в работу Родительского комитета, там в нашей школе ее и поняли, и оценили. И я с большим удовольствием видела иногда, как она в учительской оживленно разговаривала и смеялась с нашими учителями. Но самой веселой я увидела нашу маму на масленице, когда она пригласила всех учителей нашей школы к нам домой и мы угощали их блинами.

Мы купили дачу у Красовских. И очень подружился с ними. Это были простые и очень милые люди — мама Нина и дядя Сережа. Я не знаю, где и кем он работал, но жили они очень широко; построили себе среди леса великолепную дачу, которая нам, ребятам, казалась настоящим дворцом, у них были гигантские сады, две лошади и даже своя электростанция. Они вечно кого-то опекали, возились с какой-то молодежью, их огромный дом был всегда полон. Они устраивали веселые празднества: на Рождество — детские маскарады, шарады, на масленице — катание на розвальнях с сеном. У них были две очень симпатичные девочки постарше меня — и умные, и веселые, и красивые. Они мне очень нравились, но как-то подружиться мне с ними не удалось. Вроде я была и не очень глупая и читала много, но, наверное, мои гусарские страсти к лошадям съедали большую долю моего интеллекта...

С Красовскими у меня было связано одно смешное воспоминание. Было это в первую нашу зиму в Лосинке. Юре было около пяти лет. Красовские купили ложу в Большом театре и пригласили нас ехать вместе. Шел "Евгений Онегин". Мама не хотела брать Юру, но когда у него начали жалобно дрожать губы, мама Нина не выдержала и настояла, чтобы ее любимчика взяли. Мы были в Большом театре в первый раз, в антракте носились по коридору, с наслаждением поели всяких вкусностей (мы не были избалованы сладостями), потом стали смотреть вниз, как в оркестре настраивали инструменты. Играли они кто во что горазд, а получалось как-то очень приятно. Потом открыли занавес и мы увидели зимний лес, поваленное дерево и Ленского (Л.В. Собинова). Весь театр теперь знал, что он будет сейчас петь свою

знаменитую арию "Куда, куда вы удалились". Я этого не знала, но чувствовала, что сейчас произойдет что-то ужасное и замерла вместе со всеми. На какое-то мгновение в огромном театре воцарилась полная тишина — и вдруг ее прорезал безмятежный детский голосок:

— А нельзя ли мне еще шоколадку?..

Театр сверху и донизу всколыхнулся тихим смешком и я готова поклясться, что и сам Собинов не то засмеялся, не то закашлялся...

Музыка, музыка!

Когда мне исполнилось семь лет, мне привезли из Москвы пианино. Вот это был подарок! (Уже 70 лет этот мой дорогой друг и товарищ живет рядом со мной.) Дело в том, что у меня открыли отличные музыкальные способности. Так утверждает моя учительница музыки Анна Аркадьевна. Мы сразу с ней подружились, хотя маме она чем-то не нравилась — я это сразу заметила. Я училась музыке очень легко. Быстро освоила ноты, не помню, чтобы мама мне хоть раз помогала или заставляла садиться играть. Учительница не могла на меня нахвалиться. Мы скакали галопом по школе фортепианной игры и наконец она дала мне играть "Болезнь куклы" Чайковского. С этого все и началось. Анна Аркадьевна стала просить маму, чтобы она разрешила мне играть на концерте с ее учениками в зале гимназии (я еще тогда не училась). Мама согласилась с большой неохотой. А мне только очень хотелось посмотреть гимназию, где я скоро буду учиться.

В зале собралось много народу. Ученики Анны Аркадьевны, их родители, просто школьники. Вообще — полный зал. Наконец начался концерт. Ребята подходили, играли — им хлопали, они кланялись. Все они были меня старше. Наконец вызвали меня. Я влезла на эстраду и села за рояль. Я никогда не играла на рояле — смотрела на него с интересом. Большая черная крышка открыта — внутри видны струны... В зале шум — наверное, ребята устали слушать. А я сидела и ждала, когда они замолчат. А чего же играть, если они шумят? Ведь это я для них должна играть. Шум постепенно стал спадать. Наверное, всех начало удивлять — чего эта маленькая девочка сидит и ждет.

Наконец, все совсем стихло и я начала играть "Болезнь куклы". Очень хорошо было играть — у рояля оказался такой чудный звук, что я сама заслушалась... А когда сыграла, в зале было все тихо... Вдруг один дядька вскочил, как закричит, прямо зарычит: "Браво, браво!" И дамы какие-то тоже вскочили и тоже стали кричать тонкими голосами: "Браво, браво!" Уставшие ребята обрадовались, тоже подхватили, даже топтать стали... Я была не из пугливых, но этот неожиданный гвалт меня совсем ошеломил: я спрыгнула с эстрады, отпихнула сияющую Анну Аркадьевну и бросилась к маме. Около нее толпились мужчины и дамы, все разодетые, надушенные и кричали:

— Талант! Ее надо учить! В Москву!

Все кругом радовались и смеялись, и папа был тоже очень радостный. А вот мама... Мама молчала и сердилась, я даже никогда не видела, чтобы она так сердилась. А когда папа стал рассказывать, что я начала петь с двух лет и меня даже записали на фонографе, мама быстро встала, схватила меня за руку и пошла к выходу. А папа остался чего-то отвечать этим дамам. Мы вышли на улицу, было уже совсем темно. Никакой радости от всего этого ералаша у меня не было, но было какое-то недоумение. Почему мама молчит, она и на меня сердится? Но чем же я все-таки виновата.

На другой день приехала Анна Аркадьевна, и они долго с мамой о чем-то говорили за закрытой дверью. Потом приехала мама Нина (Красовская), и я слышала, как она упрасивала маму, чтобы я сыграла ей, что она ужасно жалеет, что не была вчера на концерте и т.д. Я никогда дома не пела и не играла ни перед кем. И мама ответила:

— Нет, Нина Георгиевна, не обижайтесь. Ей и так слишком много досталось вчера.

Я подумала: "Почему она говорит, что мне досталось? Ведь меня никто не ругал"...

Я как-то недавно услышала, как Образцов со страстью заклинал родителей: "Я вас умоляю — пощадите своих детей — не демонстрируйте их". И я подумала, что, вероятно, и у нашей мамы это был один из ее строжайших принципов нормального воспитания. Четвертое правило — не демонстрировать своих детей. Впрочем, мама вскоре отошла, наверное, убедилась, что никаких вредных эмоций от этого злосчастного концерта у меня не обнаружилось. А насколько я была ребячлива в эти свои семь лет, покажет вот эта картинка, которую я помню с мельчайшими подробностями.

Рождество. Солнце светит в замороженные окна. В детской стоит огромная елка до потолка. Она уже осыпается. Под елкой стоит моя Буланка со своими жеребятами. Им там хорошо... Я сижу за пианино, кончила играть. В доме никого нет, только Матреша возится на кухне. У меня есть давнишний план: я вынимаю с этажерки "Школу фортепианной игры", которую мы забросили, и нахожу на последней странице заветный "Вальс". Анна Аркадьевна не позволяла мне разбирать что попало (мне и сейчас не понятно почему), но запретный плод сладок; и главное, я почему-то уверена, что это тот самый вальс, вальс Сен-Санса, который мама мне играла, когда я танцевала. И вот сейчас я его сыграю сама. Я расставляю своих коняг под елкой, мордами ко мне (чтобы они меня лучше слышали), насыпаю в блюдечко сухие елочки — задаю им корм — и начинаю играть. Сыграла я этот вальс совершенно легко — но что же это такое? Ну ничего хорошего! Запретный плод оказался не сладким и не горьким — просто он был совсем без всякого вкуса! Нет уж, моя "Болезнь куклы" куда лучше — вот только название Чайковский плохо придумал...

После того концерта Анна Аркадьевна стала возиться со мной с еще большим энтузиазмом. Она привела к нам двух взрослых мальчишек, сначала

скрипача, потом виолончелиста. Мы играли вместе и дуэты и трио, и это мне доставляло огромное удовольствие. Но особенно мне нравилось играть на концертах, не потому что нам кричали и хлопали, но потому что я твердо знала, что Анна Аркадьевна не прервет нас и не скажет:

— Довольно, повторите с 24-го такта!

Когда я с жаром объяснила это маме, она как будто совсем успокоилась (все-таки меня не совсем испортили!) А ведь, в сущности, если бы после первого концерта мама обрадовалась моему успеху так же, как папа, у меня вполне могла бы закружиться голова и зародились бы какие-то ненужные иллюзии. А что было бы, если бы я пошла дальше по музыке?

После нескольких десятков лет моей жизни, я могу сказать, что музыка всегда была со мной рядом. Я занималась и с сыном, и с внуками, и с другими детьми. Вышла бы из меня учительница музыки? Безусловно, и, наверное, не плохая. А вот выдающегося исполнителя, которого хотела из меня создать Анна Аркадьевна, из меня бы не получилось — и это точно. И поэтому я благодарна маме, что она меня сразу окатила холодной водой и сделала совершенно равнодушной к моим первым шумным успехам.

Впрочем, училась я у Анны Аркадьевны недолго: в гимназии организовали вечернюю музыкальную школу и мама перевела меня туда, к большому сожалению Анны Аркадьевны — она даже плакала. Эта музыкальная школа оказалась прескверной, хоть номинально руководилась профессором консерватории. Преподавали там какие-то серые и очень скучные девицы, и мой интерес к музыке быстро погас. Впрочем, я исправно писала музыкальные диктанты и исправно играла то, что мне задают. Но и только.

Я не сомневаюсь, что мама прекрасно понимала, какой урон в моем музыкальном образовании произошел от того, что она оторвала меня от Анны Аркадьевны, но мама, видно, не могла перебороть свою антипатию к ее воспитательным способностям. И когда в Лосинке появилась француженка-пианистка, то и я, и девочки Красовские стали брать уроки у нее. Она сама прекрасно играла, была просто одержима музыкой, и, конечно, сразу заразила и меня. К сожалению, эти увлекательные уроки продолжались только одну зиму — дальше наша спокойная жизнь была нарушена и было уже не до музыки...

Я и Юра. Наша жизнь

А Юра подрастал: он уже давно перестал быть "толстячком", но был все также хмуроват и серьезен. Всегда он что-нибудь мастерил, в детской у него стоял целый ящик — остатки конструктора, всякие дощечки, бруски, железки. Я не очень вникала в его занятия, но в памяти у меня остался длинный, сложной конструкции мост, поворотный круг для паровозиков, водяная мельница у колодца, подъемный мост для нашей ледяной крепости. Иногда, по воскресеньям, мы ходили с папой на станцию и смотрели с виадука, как составляют

поезда, как пускают "с горки" вагоны — Лосинка была большой товарной станцией. Потом мы встречали на перроне дальний поезд, и Юра замирал перед паровозом. По правде говоря, и я забывала о своих лошадях, глядя на это могучее, пышущее жаром, сверкающее чудовище. Потом ударял колокол, заливисто свистел кондуктор, нас обдавало паром, рычаги начинали медленно двигаться — поезд трогался. Минуту шума, грохота колес — и волшебство кончалось. Мы уходили домой.

Мы с Юрой много играем в саду, вдвоем — он уже не уступает мне ни в каких играх. Мы играем в чижики, в городки, и, конечно, в крокет. О, эта восхитительная игра в крокет! Сколько радости и для ребят и для взрослых — и сколько яростных ссор и драк между братьями и сестрами. И вот, пожалуйста, картинка: мы играем с Юрой вдвоем. Конец игры, самые напряженные минуты: у обоих разбойники, которые помогают закончить игру своему второму шару и всячески мешают сделать то же своему противнику. Юра с силой прогоняет своего разбойника через всю площадку и попадает в кол. Я прыгаю от восторга:

— Ура, он закололся!! Убит, Убит!

— Ты что выдумала?! — Юрка подбегает.

— А я видела, как он стукнулся!

— А я видел, что он не стукнулся!

— Он пролетел вот так!

— Нет, он пролетел вот так, — и тут Юрка, всегда такой спокойный, даже флегматичный, вдруг впадает в бешенство: хватает шар и бросает в меня; я успела увернуться, а то бы прямо голову разбил. Ну и ну. Вот негодай. Но хоть он и ловок, но я его куда сильнее. Я хватаю его, поднимаю, аккуратноенько кладу на лопатки, сажусь верхом и крепко зажимаю ему руки. И начинается диалог:

— Будешь?!

— Пусти!

— Будешь?!

— Пусти.

Он пыхтит и шипит от злости, а я вроде говорю совсем спокойно. Но если бы кто знал, как у меня все кипит внутри. И до чего мне хочется его хорошенько отхлопать, выдрать, чтобы он почувствовал — а я вот не могу. Почему? Потому что он младше или потому что он слабее? Я не знаю. Не могу — и все. Сколько раз в моей жизни я слышала, как родители укоряют своих старших детей:

— Как тебе не стыдно. Ведь он маленький!

А ведь я таких нравоучений никогда не слышала.

Впрочем, такие происшествия случались редко. Обычно проигравший не протестовал и покорно нес заслуженное наказание. Юра, например, становилась лошадью. Я подводила его к своей тележке (была у меня такая чудная большая тележка — поло с двумя оглоблями) и запрягала его. Надевала хо-

мут, уздечку с вожжами, вскакивала на тележку и разъезжала по саду. Юра же превращал меня в машину. Я становилась в стойку смирно и полностью теряла всякую волю. А Юра становился машинистом. Он солидно подходил ко мне, делал всякие условные движения, обозначавшие смазку и чистку колес, рычагов и шестеренок. И затем я увозила его куда-нибудь очень далеко, управляемая нажатием всяких "кнопок"...

Вообще, несмотря на разность интересов, жили мы с ним тихо и мирно, не мешая друг другу; может, потому, что оба не любили ни споров, ни ссор. Но мне кажется, что особой привязанности друг к другу у нас не было. Хотя... Вспоминаю такой случай. Мы играли в чиж. Я в третий раз с силой наподою чиж, и он летит прямо Юре в лицо. Он вскрикнул, зажал глаза руками и замолчал... И я с ужасом увидела, как у него из-под руки потекла струйка крови. Я вышибла ему глаз!.. И я в первый раз поняла, что испытывает человек, у которого рушится мир! Я сама, своими руками, выбила брату глаз! Надо было бежать за мамой, а я прижалась к забору и не могла двинуться. Но мама сама прибежала, наверное, что-то увидела из окна. Она оторвала Юркины руки и сказала ему:

— Ничего страшного. Пойдем, я прижгу тебе перекистью.

Потом обернулась ко мне, наверное, все поняла и сказала:

— Не бойся, глаз цел.

И погладила меня по голове.

Мой удивительный брат (10 – 12 лет)

Но время шло, я наблюдала за своим братом и поражалась, как он быстро во всем меня догнал. Если бы только догнал! Мое немного странное женское тщеславие не позволяло мне смириться, что какой-то мальчишка, на два года меня младше, становился и ловчее и смелее меня. Правда, бегала я не хуже его, на лыжах съезжала с любых гор. Играть в казаки-разбойники, взбираться по лестнице и прыгать в сугробы с крыши сарая и погреба — это я могла. А вот, например, перейти по сосновой ветке на крышу террасы — где нужно было сделать два маленьких шажка (правда, ни за что не держась) — мне было так страшно, что я должна была сжать всю себя в кулак. А он это делал совершенно непринужденно! А когда он один раз, не раздумывая ни секунды, спрыгнул в снег с нашей вышки на трех березах, с высоты не меньше телеграфного столба, когда он начал свои "полеты" по деревьям — тогда мне стало легче: я поняла, что он не просто какой-нибудь мальчишка, а совершенно особенный человек, человек, не знающий страха. И нечего мне за ним тянуться...

А как же относилась к этим его подвигам мама? И мне вспоминается вот что. Как-то я занималась музыкой, а мама шила в своей комнате. Вдруг на кухне раздался шум и мимо меня промчалась к маме кухарка Матреша и завопила:

— Евгения Григорьевна! Да что же это такое?! Ведь он опять шастает по деревьям! Или вам своего ребенка не жалко? Ведь убьется он, убьется насмерть!!

Мама спокойно подошла к окну, я тоже подбежала к ней. Юра прилепился к самой вершине тонкой высокой березы и медленно раскачивал ее.

— Вот видите, видите! Да что же это такое!! — кричала сзади Матреша. Мама вдруг повернулась к ней и сказала:

— А ведь у вас лук горит на кухне.

— Ой, батюшки, и верно — совсем ведь сгорел! — И Матреша исчезла.

Я прикинула, где Юра находился, я знала его маршрут — он перелетел через три дерева и собирался на четвертое. Он раскачивался все сильнее и сильнее. Вот одной рукой он дотянулся до ветки соседней березы и стал раскачивать оба дерева сразу. Вот он, держась ногами, схватился обеими руками за ветки другой березы. Он раскачивался все сильнее и сильнее и вдруг, держась только руками, перелетел на другое дерево. Сердце у меня прямо упало, даже смотреть страшно. А мама вроде ничего. Потом посмотрела на меня очень внимательно и спросила:

— А ты не пробовала так летать?

— Что ты, мама, — как-то даже испуганно сказала я.

— Ну и правильно делаешь. Чтобы добиться такого — нужно очень верить в себя. Ты понимаешь это?

Я не знаю, кончилась бы благополучно эта опасная игра, если бы Юра сам — внезапно и насовсем — не прекратил эти полеты. Может, он достиг какой-то своей цели, а может это сделалось для него слишком привычным и потеряло интерес. Не знаю — я его, конечно, не спрашивала, но мне стало спокойнее жить.

Через несколько лет мама рассказала мне свой сон ранней юности — и я вспомнила ее слова о Юре.

Мамин сон

Огромный, светлый дворец с бесчисленными залами... Откуда-то льется тихая музыка. В залах много молчаливых людей в белых одеждах. А высоко над ними летает мама — ей легко и радостно... Но вдруг у нее мелькнула мысль: "Зачем я летаю так высоко? Я же могу упасть, я разобьюсь"... И сразу все потемнело. Дворец исчез, и она начала падать... И чей-то голос произнес:

— Мало веры... Мало веры...

И мама проснулась.

Наш обычный день

С тех пор, как Юра пошел в школу, наша жизнь на много лет вошла в твердую колею. И мне хочется описать какой-нибудь день из этого времени. Семь часов утра. Где-то звонит будильник. Папа встает на работу. Аня говорит по телефону:

— Гриша, скажи там, извозчика надо барину Птицыну к пол-восьмому. Я сквозь сон понимаю — это Аня звонит в булочную Варфоломеева, которая около станции. Потом папа в столовой пьет кофе и уезжает. Аня приходит нас будить. Вставать не хочется — в комнате не то что прохладно, просто холодно. Покрываюсь с головой. Мама из спальни кричит:

— Ребята, вставать!

Я вскакиваю, сдергиваю с Юрки одеяло, наскоро одеваюсь, сажусь пить кофе. Кофе почему-то всегда очень вкусный, со сливками, и теплые калачи с сыром. Юра совсем готов, одевается и уходит. А мне надо возиться с этими проклятыми косами. Иду к маме причесываться. Вообще-то, конечно, могла бы научиться их заплетать, только это мне не к чему, потому что я давно хочу остричься.

Юра идет себе не спеша в школу, уж, наверно, пришел, а мне осталось только девять минут. Ну ничего. Быстро натягиваю на форменное платье толстый свитер, в котором хожу всю зиму, на голову напяливаю вязанный шлем, взваливаю на плечи ранец и выбегаю на улицу. Если есть снег, бегу в школу на лыжах, если снега нет, вскакиваю на лошадь и мчусь: лошадь — это я сама, ранец за плечами — это всадник, и это тоже я. В правой руке у меня хлыст, которым я себя подстегиваю, в левой поводья — это две мои косы! Половина дороги — в гору, но ничего. Мы несемся вскачь и в гору. За мной, как всегда, мчатся две наши маленькие собачки — Тузик и Натик.

О нашей замечательной, необыкновенной Лосиноостровской гимназии, где учатся все вместе и мальчики и девочки, я говорить сейчас не буду — это особый разговор. На переменах мы все высypаем на большую площадку в лесу. Все в одних свитерах, как в форме! Играем в лапту, в "перекидку", в бары, в "стенку", или просто в снежки. В 12 часов горячий завтрак и большая перемена. Около трех часов мы дома и мама нас всегда встречает. Мы пьем какао и без умолку болтаем о своих школьных делах. Потом Юра идет за свой стол мастерить, а я усаживаюсь на диван и читаю. Если весна, если солнце на дворе, я влезаю на сарай, растягиваюсь на теплой крыше и блаженствую там с книгой. Воробьи на деревьях пищат, внизу куры квохчут — хорошо! Должно быть, из-за этих минут я до сих пор равнодушна к крышам.

Потом мы гуляем — или гоняем на лыжах в Медведково кататься с гор, или выходим с нашими друзьями Киселевыми озоровать на Осташковское шоссе — оно было от нас недалеко. По этому шоссе с Московских базаров возвращались деревенские обозы. Хозяева последних саней обычно мирно храпели под овчинами, а мы прикрепляли лыжные палки к их саням и ехали на "казенке" версту, две или три. Пока хозяева не замечали и не поднимали

кнут, а то и опускали на наши спины, но больно нас не били. Очень это было весело!

А в начале зимы, с первыми снегопадами, мы строили с мамой в саду большую снежную гору (между прочим, мамино участие в таком занятии не очень-то было обычно по тем временам — я не могу себе представить ни одной знакомой лосиноостровской барыни по колено в снегу и с лопатой в руках). Или ходили к Киселевым играть в разбойники. У них был рядом с садом огромный участок настоящего дремучего леса; там, на раскидистой сосне было наше разбойное логово. После долгих и тщательных разведок мы совершали разбойный набег на кухню и потом устраивали роскошные пиршества — ели украденный черный хлеб и соленые огурцы. Без четверти шесть приезжал на извозчике папа, шел переодеваться и умываться. Несмотря на то, что нас обслуживало трое человек прислуги — кухарка, горничная и дворник — у меня были свои маленькие обязанности: по субботам, в ванный день, я на большом столе в столовой пришивала простыни к одеялам, пододеяльников у нас не водилось.

И еще одно дело было мне поручено с ранних лет — я должна была приготовить к обеду стол. Это был целый ритуал. Расстилалась белая скатерть, ставились тарелки, салфетки в кольцах, резался тоненько хлеб. Перед папиным прибором ставился графинчик с водкой и крошечная рюмочка, которую он выпивал перед обедом и каждый день говорил одно и то же: "Выпьем-ка для аппетита!"

Потом, если было лето, я приносила с огорода лук, огурцы и совершенно необыкновенный салат "Ромен", который рос только у нас; мыла, перебирала и резала помидоры и зелень, поливала салат прованским маслом и клала в него маленькую корочку черного хлеба, натертого чесноком (этому меня уже давно научил папа — он был большой гурман). А если была зима, я брала две красивые тарелочки, шла в чулан и набирала из дубовых бочонков крошечных скользких рыжиков и крепеньких огурцов. Мне эта обязанность была совсем не в тягость, даже наоборот, пожалуй, давала приятное чувство исполненного долга.

Ровно в шесть садились за обед. Аня — Аннушка — выносила из кухни блюдо с разваренным, дымящимся и удивительно душистым мясом. И мы его ели с грибами и огурчиками. Все наши знакомые жаловались маме, что их дети плохо едят, но у нас аппетит был волчий. Только один раз в жизни я сказала за обедом, что не хочу есть перловый суп.

— Ну и не ешь, — совершенно равнодушно ответила мама и заговорила о чем-то другом. Я посидела, посидела; все едят, мне стало скучно и я тихонько попросила маму налить мне немножко супцу. Больше привередничать я никогда не пробовала.

После обеда папа уходил в кабинет, садился в кресло и читал. У него была целая театральная библиотека — он и зимой не мог оторваться от своего театра! Подбирал пьесы для постановки в театре летом, чиркал в них

красным карандашом, или сочинял стишки для новых "обзрений". Совсем от нас отошел. А мама шила в своей комнате. Она все шила сама и на меня и на Юру. А я шла в темную гостиную, зажигала свечи и садилась играть. Увлечение музыкой у меня кончилось. Эта дуреха учительница задавала мне такие легкие пьесы, что я играла их с первого раза — так что на игру у меня уходило весьма мало времени. Зато мама все серьезнее со мной занималась пением. Голос у меня был небольшой, но чистый. Мы пели с ней "Дивный терем" Глинки, романсы для юношества Чайковского "Островок", великолепные русские песни Гречанинова "Тень-тень-потетень, выше города плетень..." и другие. Как-то много, много лет спустя мне попались эти ноты, и я убедилась, что аккомпанемент часто был совсем не легкий. Значит она когда-нибудь готовилась к этим занятиям? Этого я не слышала.

Наконец, Юра убирал свои деревянные и мы садились за уроки. У нас был большой общий стол с двумя ящиками. Делали мы уроки, по теперешним временам, неприлично быстро. У нас в школе не было экзаменов (кроме выпускных) и не было отметок в дневниках. Давали родителям четыре раза в год "сведения". Отметок в этих сведениях могло быть три: усп., не вп. усп., и не усп. Так у нас у обоих всегда стояло однообразное, каллиграфически написанное "усп." Право, не знаю, за что. Уж очень малых трудов это стоило. Впрочем, если я делала доклад по истории или по географии (и обязательно с рисунками), то иногда в "сведениях" стояло какое-нибудь замечание, вроде "глубоко прорабатывает предмет" и т.п.

Особенно я увлеклась — забыла и гулянья и игры — когда учительница русского поручила мне инсценировать "Ночь перед Рождеством" для постановки на школьной сцене. Я зачитала сценарий в классе, он был одобрен и мы начали готовиться к постановке. У нас были грандиозные планы, но нужны были деньги. Директор пошел нам навстречу и устроил нашему классу заработок — вместо гулянья мы на переменах работали ломанами, отдирали смерзшийся торф и убирали его в подвал. На эти деньги накупили бумаги, картона, красок, материи на костюмы — и работа закипела. Помогали родители, помогали учителя. Помню, как наш добрейший молодой "батюшка", заткнув рясю, с азартом малевал на полу декорации.

Татьяна² играла главную роль — Вакулу — не потому, что была хорошим артистом — наоборот, она чуть слышно бормотала себе под нос — но зато какой рост (на две головы выше нас!), какая сила — она взваливала с легкостью себе на спину мешок с дьяком, хотела и двоих, но ей не позволили. Людмила³ — наша прима-балерина тех времен — была Солохой и танцевала с чертом на фоне звездного неба... Спектакль удался на славу — с песнями, с плясками. Мы показывали его три раза: один раз родителям своего класса и малышам, потом всей гимназии и всем учителям, а потом еще школьникам из "Народных школ Лосиноостровской".

²Татьяна Петровна Свешникова (см. ниже воспоминания о М.А. Леонтовиче)

³Людмила Всеволодовна Келдыш (см. ниже публикацию Н.М. Леонтович)

После приготовления уроков мы усаживались на широкий диван в гостиной, и мама нам читала. Время шло, мы росли, а эти совместные чтения продолжались: мы перечитали Робинзона Крузо, Жюль Верна, Марк Твена, Стивенсона, Гоголя... А иногда слушали ее рассказы о своем детстве в далекой Сибири... После чая мы быстренько укладывались в постели, мама зажигала в гостиной свечи и садилась играть. Мы очень любили слушать ее музыку; теперешние дети, перенасыщенные информацией, даже не могут понять, какое огромное удовольствие мы получали от ее игры... И как это было нам нужно. Так обычно кончался наш день.

Но вот прошло немного времени — грянула революция — и наша размеренная жизнь разрушилась. Папа остался без работы и уехал в Москву. Он устроился инженером в Большой театр, там и жил. А мама стала работать помощником председателя Центросоюза, нашего старого лосиноостровца. Навдвигался голод и работники Центросоюза изыскивали всякие возможности добыть из провинции продукты, чтобы добавить их к скудным карточным пайкам в детские дома и школы. Мне потом рассказывали, каким мама была прекрасным организатором, умела подыскивать подходящих людей на такую работу, все знала, все помнила, и к тому же знала превосходно бухгалтерию. Но ездить в Москву было невероятно трудно — и поезда, и трамваи ходили с перебоями. Мама уезжала рано утром, приезжала поздно вечером, озябшая и усталая.

Прислуга, конечно, была распущена и на нас с Юрой навалилось все домашнее хозяйство, которое раньше выполняли трое человек!!! Мы топили печи и плиту, готовили обед, убирались и мыли полы, качали насосом воду в бак на чердаке. Но, кроме этих обычных дел, мы бегали в Медведково за мерзлой картошкой (другой нам не продавали), мололи для каш на ручной крупурушке овес, рожь и канареечное семя. Это проклятое канареечное семя нужно было провеять — дуешь, дуешь до одурения — и все равно каша получается пополам с мякиной. Если удавалось достать муку, пекли на противне ржаной хлеб, заквашивали овсяный кисель. Ездили по очереди с другими ребятами получать в Москве скудные крохи по карточкам. Я даже один раз "мешочничала" с отцом нашей школьницы, ездила в Малоярославец за кониной. Чтобы что-нибудь успеть купить на базаре, надо было ехать в ночь, в теплушках, в страшной давке — и мама меня больше не пустила.

Но больше всего, пожалуй, нам досаждали дрова. Пока были старые запасы, все было ничего. Когда они кончились, мы стали пилить гнилые бревна на дворе — это тоже было не так трудно. Но когда нам с Юркой пришлось ходить в лес, рубить сухие березины и волочить их по снегу — вот это уже было похуже. Спасибо еще нашему бывшему дворнику Петру, что он иногда расчищал от снега дорожки и помогал Юре колоть большие чурбаки — ведь Юре-то было всего одиннадцать лет. Но как мы ни старались с дровами и печками — в доме у нас всегда было холодно.

И все-таки... И все-таки, и голодные, и холодные мы никогда не унывали,

не ссорились, не пререкались. И даже всегда были бодры и веселы. Жить как-то было интересно!

Утром бежали в школу — наша гимназия превратилась в опытно-показательную школу, хотя никаким образом наша школа теперь служить не могла. Учителей осталось только горстка — во всей школе II ступени не было ни математики, ни физики, ни химии! После революции, когда обучение в школе стало бесплатным, младшие классы очень разрослись и нас, старших школьников, перевели в новое помещение, в бывшую дачу карандашного фабриканта. Это была двухэтажная великолепная вилла, с каминами, с верандами, с парком, с теннисными кортами и всякими хозяйственными постройками. Целая усадьба — и в полном нашем распоряжении! Школа полностью самообслуживалась — в сторожке жил только дряхлый дед. Мы и печи топчили, и дорожки расчищали, и убирались, и завтраки готовили, и продукты получали.

Оставшиеся учителя всячески открещивались от административных забот; образовали "Коллегию преподавателей" и решали педагогические дела совместно. Не было у нас ни директора, ни завуча, ни обязательных программ. Кому что хотелось, то и преподавали. А в хозяйственных делах ограничивались только тем, что дежурные сдавали им свою работу... Вот так и получилось, что единственным начальником стал у нас председатель школы, и этим председателем была моя старая приятельница — Валя Киселева!⁴ Хотя она и была из самого младшего класса II ступени, она была бессменным председателем нашего классного клуба. И мы очень за нее агитировали и учителя ее хвалили. Вот ее и выбрали и даже единогласно.

Она, действительно, была прекрасным организатором — умела заставить работать, и хозяйкой была отличной — все умела делать быстро и хорошо, работа так и кипела в ее руках. А главное, она прославилась тем, что умела укрощать мальчишек любого возраста и любой степени озорства (даже настоящих хулиганов). Меня только сильно беспокоил ее буйный темперамент. Если кто-нибудь проштрафится, она впадала в такую ярость, что я только и ждала, что она вцепится в него и будет трясти так, что у него будут стучать зубы. Видела я, как она так трясла своего братца!

От нашей старой гимназии до нашей новой школы была целая верста, и идти надо было через парк. Помню, как мы с Валею в утренних морозных сумерках пробираемся в снегу по еле протоптанной тропинке и горячо обсуждаем всякие школьные дела. Я была ее главным болельщиком и была в курсе всех этих самых разнообразных забот. А тут еще наступило Рождество и мы очень хотели устроить что-нибудь интересное; но как это сделать? Не было у нас времени, уж очень мы были загружены домашними делами. Но нас выручила учительница истории Ольга Петровна. Она была уже старая и безобразная как баба-Яга, но умная и очень ловко умела издеваться. Она

⁴Валерия Петровна Киселева-Зильбер (см., например, А.Л. Шварц: Прозорливцы. М.: Знание, 1972, С. 91-98)

предложила поставить шараду. Она отобрала подходящих ребят и поставила четыре сценки: из "Мещанин во дворянстве", "Пир во время чумы", "Синей птицы" и "Фауста". Эти сценки репетировались отдельно; других сценок артисты не видели и не знали, что должна была изображать шарада. Я тоже играла Кота в "Синей птице". Папа сделал мне маску и великолепный полосатый хвост. Эти сценки были разыграны в первый день Рождества при свете пылающего камина — зрелище прямо волшебное.

В школе мы учились, вернее, проводили время, недолго. В час раздавался гонг — он остался от старых хозяев — и мы бежали в дворницкую завтракать. Этот бесплатный завтрак, который готовили дежурные выпускного класса, как правило состоял из огромного половника обжигающего супа из воблы и ржаной муки и крошечного кусочка хлеба с ложкой сахарного песка. Потом мы разбегались по домам. Тут уж мне было не до разговоров. Было совершенно необходимо поскорее затопить дома печи, чтобы они успели хоть как-нибудь прогреться к вечеру.

В наших больших просторных комнатах настоящий холодильник — окна покрыты таким густым слоем инея, что еле пропускают свет. Грустное зрелище! Если Юра приходил раньше, в печах уже весело гудел огонь, дрова были приготовлены с вечера. Потом я затапливала плиту и начиналась обычная мотня до самого вечера. Мама приезжала совершенно обмерзшая. Главное, у нее не было валенок и мы нигде не могли их достать: и на работе у нее было холодно, и в поездах, и зима стояла такая лютая, что кажется никогда такой не бывало. Вся вечерняя жизнь у нее проходит в теплой кухне. Мы подвозим к самой плите кресло-качалку и мама там отогревается. Потом обедаем, делаем уроки за кухонным столом. Горит у нас уже не "Молния", а самая маленькая лампадка — с керосином совсем плохо, скоро кончится, но ничего, от Матрешки у нас остались лампадка и целая бутылка деревянного масла — не пропадем. Да и весна ведь должна когда-нибудь придти!

Когда остается время, вспоминаем старое, читаем вслух, только теперь читает не мама, а обычно я... Но, обязательно, два раза в неделю я ухожу. Быстро мою посуду, делаю наспех уроки, накидываю шубу и убегаю. У нас уже давно не горят ослепительные фонари — на улицах полнейшая тьма. Хотя глаза скоро привыкают и под ногами что-то видно. Захожу за Валею — она тоже крутится по хозяйству — у нее к тому же две маленькие сестренки. Она быстро одевается и мы мчимся с ней в "Учительскую коммуны" к нашим старым учительницам. Мы с ними читаем книги по искусству Греции...

Купание коней и чувство долга

Мне хочется рассказать об одной эпозее из моего далекого детства, которая настолько неправдоподобна, что ее невозможно выдумать. Произошло это в 1916 году и было мне тогда одиннадцать лет. Жили мы тем летом с мамой и братом под Москвой, в деревне Подушкино. Мне очень нравилась эта деревня: на широкой, поросшей зеленой муравой улице росли старые раскидистые ветлы. Дома были просторные, добротные, с резными крылечками и железными крышами (а в соседней деревне половина изб была под соломой!). Мужики здесь из рода в род занимались в Москве извозом и разбогатели на этом. Мы снимали дом у известного московского лихача — уже умершего. Все стены его дома были увешаны фотографиями его знаменитых рысаков. Молодых мужиков было мало (два года шла война), и в деревне хозяйничали деды — старые извозчики.

Мы с братом были здесь совершенно счастливы. Юра с утра до ночи ловил рыбу и маленьких зеленых раков, а я целый день скакала на лошадях. Утром бежала с уздечкой по росистой траве — приводила лошадей на работу из стада, днем купала, а вечером вводила в ночное. Хорошо, конечно, мчаться поздно вечером по пустынным полям, большущая луна мчится над лесом с нами, туман тянется с реки... Хорошо, конечно, но все-таки больше всего я любила купать лошадей — это прямо-таки была моя страсть.

Один раз, после обеда, я вышла на улицу. Стояла страшная жара, меня прямо обдало жаром, как будто в печку попала. На улицах пусто. Но вдруг, напротив, я увидела Анютку — самую лучшую лошадь на деревне: золотистая, с темной гривкой и хвостом, еще совсем молодая. Мне Ленька ее, конечно, никогда не давал, всюду ездил на ней сам. А сегодня — странно — стоит привязанная к телеге, несчастная какая-то: головой мотает, хвостом машет — заели ее слепни. И дядя Архип возится на дворе. Он смешной такой, этот дядя Архип; наверное, он раньше был рыжий как Ленька, а теперь у него на голове как шапка из мочалы, и желтые усы торчат в сторону как у кота. А глаза хитрые-хитрые — и все он подсмеивается... Попробовать разве? Я подбежала к нему:

— Здравствуйте, дядя Архип!

— А, казак, здорово!! (он меня всегда так называл) — по мою душу пришел, или по Анюткину? Вижу, вижу, что по Анюткину! Искупать что ли хочешь?

Я мотнула головой — сердце у меня так и подпрыгнуло; только бы Ленька не подбежал. Дядя Архип подошел, стал отвязывать лошадь.

— А, что? Вот возьму и дам — не будет Ленька больше удирать. Лошадь-то совсем сомлела — "уши врозь, дугою ноги", так что ли у вас говорят? Ну, казак, давай подсажу.

Он подставил мне руку, я схватилась за холку, поставила босую ногу ему на ладонь, и он так подкинул меня, что я чуть не перевалилась на ту сторону.

Уселась. Ну и лошадь — чудо! Мягко, будто у нее и костей нет, как на казацком седле сидишь.

— Ты, уж не гони ее, потихонечку! — крикнул нам дед вдогонку.

Потихонечку, так потихонечку. Еду шажком по пустынной улице, вокруг как вымерло все — обедают что ли или спят. Выехали за околицу. Едем по мягкой, пыльной дороге. Все застыло, замерло, и птиц не видно — гроза что ли будет? На мне короткие штаны и красная кумачовая рубашка, мне ее мама весной сшила. Красивая рубашка, но уж больно жаркая — ну ничего, я так в воду в ней и въеду — высохну. А Анютка что-то взбодрилась — наверное, понимает, куда мы едем — ведь лошади все понимают! Ушки наострила и пошла таким ходким, спорым шагом. Я чуть поводья шевельнула — она как будто ждала — сразу наметом вскинулась и так оно хорошо, легко, и не трясет ничуть, ну прямо как в кресле-качалке сидишь! Понятно, почему Ленька такая жадина, даже своим ребятам ее никогда не дает — разве есть еще на деревне такая лошадь?!

Анютка сама свернула на тропинку к речке, спешит к воде. По крутому песчаному откосу спускаемся вниз — Анютка осторожно перебирает ножками, как будто танцует, тянется мордой к воде, фыркает. Рыбешки врассыпную бросаются во все стороны, а Анютка пьет; тянет, тянет воду с наслаждением, никак не напьется. Ладно, пей сколько хочешь, я тебя не тороплю. Речушка у нас небольшая, но бочажок здесь глубокий — я тоже всегда сюда езжу. Хорошо здесь, холодок — ивы большие стоят, всю реку закрыли ветвями. Вода чистая, прозрачная; мы, видно, первые...

Наконец Анюта отвалилась и начала осторожно входить в воду — вот ей вода достала до брюха, и она гулко, протяжно ухнула от удовольствия. Ноги у меня тоже коснулись прохладной воды... Вот мне уже по пояс, все глубже и глубже — и вот мы оторвались от земли. Анютка плывет, одни наши головы снаружи, мы как будто летим... Я чувствую под собой ее гибкое, упругое тело, чувствую, как переливаются ее мускулы от движения ног — мы стали как будто одним существом...

Я окунула голову в воду, обняла Анютку за шею... Мы плаваем, плаваем... Солнечные зайчики прыгают по воде, прозрачные стрекозы летают над самой водой... Время как будто остановилось. Но все-таки надо кончать, я направляю Анютку к крутому берегу, срываю пучок травы и начинаю обмывать ей голову, шею, гриву, я сильно тру, она блаженствует, я это чувствую — ведь она, наверное, вся искусана этим зверьем — слепнями. Потом я перекидываю ногу, сажусь задом-наперед, мою ей круп, хвост. Ну, все готово, поехали! Анютка несколькими сильными прыжками одолевает гору и мы несемся по дороге — моя мокрая рубашка шлепает по телу, но знойный ветер сушит прямо на глазах. Ох и хорошо! Мы с ней как будто родились заново — весь мир стал другим.

Несколько минут бешеной скачки, и мы у околицы. Я придерживаю лошадь и мы степенно проезжаем по пустынной деревне. Я привязываю Анютку

к телеге и она сразу начинает хрупать сочным клевером. Вечером разразилась гроза, за ней другая, третья... Думала ли я тогда, что на этом мое купание коней кончится?

Я разъезжала на лошадях всяких хозяев на деревне. Приводила обычно и незавидную лошадку в одну семью, где некому было ее водить. Это была какая-то несчастная семья. Не то что бедная — у них был и хороший дом, и корова, и лошадь, и кур целый двор. Не было у них хозяина; шла война и его забрали в прошлом году. Осталась молоденькая жена с ребенком. Ребенок пищал и днем и ночью. Она одной рукой трясла его, а другой что-нибудь делала по хозяйству — совсем извелась, худая такая, девчонка совсем. И был еще хворый угрюмый дед, ее отец. Он приехал к ней из Белоруссии и ни с кем здесь не знался. И молчит всегда. Приведешь ему лошадь, он возьмет ее и ни слова не скажет, другие всегда спасибо говорят. Один раз я застала их за чтением письма. Хозяйка плакала: оказывается, брат хозяйки обещал приехать из Москвы помочь в косьбе (скоро начинался "мирской покос"), а его с завода не отпускают. И вот теперь от них некому идти и они останутся без сена.

И тут, вдруг, у меня возникла совершенно дикая мысль: я решила, что научусь косить и пойду от них на "мирской покос"! Я понимала, конечно, что это безумная идея, но не могла от нее отказаться. Я побежала домой и упросила хозяйского сына Мишку показать, как он умеет косить. Он был польщен и достал из сарая косу. Помахал немного и сказал, что это очень большая коса, не для него. Я тоже стала пробовать, а он начал издеваться:

— Ты что?! Тебе вот такусенькую косу надо! Я то ведь на голову выше. А я была хоть и крепкая, но ростом не вышла. На другой день приехал папа и я стала просить его купить мне маленькую косу. И вот, через день, к великой моей радости, наши знакомые передали мне от папы косу — недомерок — да какую! Если повесить, звенит чистым звоном и синим цветом переливается. И вот я пошла к деду и сказала, что хочу научиться косить и пойду за них на "мирской покос".

Дед изумился и усталился на меня. Глядел долго, молчал, курил. Потом, ничего не говоря, взял у меня косу. На другой день он насадил мне косу, хорошо так по росту, и я пошла с ним на усадьбу учиться косить. Училась я, вернее мучилась, несколько вечеров. И чем, вроде, лучше у меня получалось, тем он больше на меня сердился, даже стал кричать и все одно и то же:

— Да разворачивайся, разворачивайся — кругом. Полным кругом — тебе говорят! Опять носом пошла тыкать — я говорю тебе, пяткой нажимай, пяткой!!

К концу недели был назначен мирской сход по поводу сенокоса. Дело в том, что основные покосы в Подушкине были по оврагам и долинам маленьких речушек. Делить эти неудобные покосы по полосам было муторно, и косили "миром", собирали в стожки сухое сено и потом делили их жеребьевкой. И вот дед пошел за меня "торговаться", и пришел довольный: приняли!!

Это было неслыханное, непостижимое для деревни событие. В те времена женщины в поле только жали, да картошку и горох убирать помогали, а тут приняли в косцы маленькую одиннадцатилетнюю девчонку, да еще городскую — с ума сошли мужики!! Бабы, увидев меня, шептались, ребята тоже косились — наверное, завидовали. А я удивлялась меньше всех. Потому что недавно со мной был такой случай, когда все бабы меня ругали, а мужики меня не только поддержали, но и похвалили. И я как-то надеялась на их доброжелательность.

А случилось со мной вот что. Однажды вечером, я заигралась у своих знакомых ребят, и когда пошла по деревне в поисках лошади, то мои конкуренты-мальчишки уже всех лошадей увели в стадо. Расстроенная, я пошла домой и вдруг увидела молодую соседскую бабенку Настенку, которая собиралась вести в поводу свою лошадку — трехлетку. Эта лошадь уже прославилась в деревне своим озорством. Ее только начали запрягать; и она уже три раза разнесла своего старого хозяина, а один раз даже умудрилась завалиться с телегой в канаву вверх ногами, и ее хомут чуть не задушил. Еле вытащили. Я пошла к Настенке и говорю:

— Давай сведу.

Она прямо глаза вытаращила; стала говорить, что она меня убьет, что на нее никто не садился, что моя мать будет ругаться и т.д. А я ее стала уверять, что ничего она меня не убьет, что надо же когда-нибудь на нее сесть, что мама никогда не будет ругаться, все говорила чего-то, убеждала ее. Но главное, конечно, уж очень она не хотела тащиться с ней в стадо, и она, наконец, согласилась, только не понимала, как же я сяду? Разве она дастся? Я сказала:

— Я влезу вот на эту поленицу, а ты ее подведешь. Я только плетку принесу.

Я никогда не ездила с плеткой, а тут вдруг надумала. Сбегала домой и принесла свою сплетенную из ремешков плеточку "нагайку", залезла на дрова. Настя подвела лошадь, поводья перекинула и сама отошла подальше. Лошадь стояла смиренненько, ничего не чуяла. Я примерилась и вскочила ей на спину и поводья успела схватить.

Ну, она мне тут дала!! Спину выгнула как кошка и скакнула сразу четырьмя ногами, я еле удержалась, за гриву даже схватилась; а потом прыгнула в бок, поддала задом, вылетела на улицу и понесла по деревне. Где-то залаяли собаки, заверещали бабы — и больше я ничего не помнила. Мы обе как очумели — лошадь несла меня без дороги по полю, по лесу, через речку; а я ее хлестала, хлестала без перерыва!! Никогда не била лошадей, а тут прямо озверела. Я не понимала где мы, куда она меня несет, только молотила своей нагайкой... Я не знаю, сколько времени продолжалась эта бешеная гонка — час, два — но лошадь вдруг внезапно остановилась, я чуть не перелетела ей через голову...

Тут я очнулась. Мы были около небольшого стада, не нашего, чужого. Лошадь подо мной дрожала — она вся была в мыле, мотала головой, и с

морды у нее падали клочья пены. Подбежали изумленные пастухи и показали дорогу на Подушкино. Я натянула поводья и, к моему удивлению, лошадь послушно повернула к дороге. Пастухи крикнули мне вдогонку:

— Смотри, только не пой ее — сгубишь лошадь!

Мы ехали шагом и постепенно приходили в себя. Голова у меня гудела, я была сама не своя; и подумать не могла, чтобы ее еще вести в стадо — доехать бы домой как-нибудь... День был очень жаркий, а вечером стало прохладнее и весь народ высыпал на улицу. И вот мы оказались у околицы — жалкое зрелище! Что тут поднялось! Бабы подбежали, накинулись на меня как звери, Настенка редела в голос: они ругали меня, ругали маму, что она меня распустила, что меня драть надо и т.д. Я еле сползла с лошади, ноги меня плохо держали. Очень я была измучена. Стою и молчу. А лошадь все головой мотает, вся ободранная какая-то стала, от пота что ли. А мужики на бревнах в сумерках сидят и помалкивают. Потом дед Архип подошел ко мне и хлопнул меня по плечу:

— Не слушай ты их. Молодец ты, казак, вот что! Я ведь видел, какие она фортели под тобой выкидывала!

Он обошел лошадь кругом и еще сказал:

— А ведь, пожалуй, глядите мужики, она ведь обкатала лошадку-то — вон она какая смиренница стала!

И еще какой-то дед из темноты сказал:

— И верно, ничего не скажешь, лихая девка! Куда нашим ребятам до нее! И я почувствовала, что, наверное, эти старые извозчики тоже лошадики вроде меня — и мне стало повеселее. Ноги у меня окрепли и я пошла домой. Вот на этих мужиков я, должно быть, и надеялась...

Дед пришел вечером ко мне, сказал, что разбудит меня, чтобы мать меня с утра не кормила — так мне будет легче, а обед он мне сам принесет. И вот началась моя страда! Утром, чуть свет, меня будил дед, я надевала сапожки, которые он мне достал, пристегивала к поясу жестянку с точилом и бежала по росистой траве к косарям. Косить было трудно. Машешь, машешь косой, и в конце концов до того устанешь, что вот, кажется, упадешь и не встанешь. А сзади какой-нибудь наступает, все ближе подходит, а потом как заорет зычным голосом:

— По-бе-ре-гись!! — как кричат лихие извозчики. Косари обернутся, посмеиваются. Иногда перекур устроят — но никогда они на меня не ворчали и не ругались. Постоишь минуты две, поточишь косу — и опять начнешь махать еще старательнее. Зато какое блаженство когда объявят обед! Бросишься кувыркком на свежескошенную траву под кусточком, полежишь на спине, поглядишь на синее небо, на легкие облака... Потом подползешь к лукошку, которое принес дед: там лежат яички, луковка, огурчики с грядки, темные гречневые блины и главное — криночка топленого молока с погребя.

Потом мне приходилось и валы разбивать, и сено сгребать, но это уже легкая работа. Погода стояла отличная, успели и скосить, и высушить без

единого дождя. Дед сходил на жеребьевку — и вот я еду в деревню на огромном возу душистого сена. Конечно, что и говорить, такой девчонке как я, косить вместе с мужиками, как теперь говорят, "престижно". Тяжело, но престижно. Ехать на возу тобою скошенного сена — и престижно и приятно. Но вот, что заставило меня, после покоса, ходить к деду на молотьбу? Я вся рвалась к своему самому большому удовольствию — купанию лошадей — а ходила к деду прямо-таки на каторжный труд! Ответ один: толкало меня туда, откуда-то свалившееся на меня, чувство долга.

Я видела как молотят цепами — это может быть и трудно, но как-то весело. А дед молотил самым древним способом: приволок на гумно скамью, клал на нее сноп и колотил по снопу скалкой. Нудная, скучная и однообразная работа. Жара, пекло, горло саднит от пыли и стерни. И руку я себе стала натирать. И все-таки ходила. Когда уже стало совсем невтерпеж, я взяла скалку в левую руку — тут дед подошел, увидел мои кровавые мозоли, выругал и выгнал. И даже сказал: "Чтобы я тебя здесь больше не видел". Вот это да! Обо всем этом надо было подумать.

Я пошла домой по дальней дороге, по задам — ногой за ногу. Я не допускала до себя мысли, что здесь была какая-то несправедливость — ведь хуже всего чувствовать себя обиженной. Я объяснила себе все это так: я отчаянно надоела деду своей помощью. Пока шла косьба, у него не было другого выхода и он меня терпел. А с молотьбой дед, наверное, считал, что и сам потихоньку справится, а я все к ним хожу и хожу — как к нищим каким-то. Это, может, были и невеселые и неприятные мысли, но какую я легкость вдруг почувствовала!! Свалилось с моих плеч тяжелое чувство долга и стала я как вольная птица! Что хочу, то и делаю! Вот, например, возьму и пойду сейчас к Капраловым пасть на клубнику: они давно зовут, даже обижаются. И говорят, что уже поспела моя любимая, бело-розовая "русская клубника"!

И я побежала вприпрыжку домой.

Так бесславно окончилась для меня эта героическая эпопея. И я думаю, что к лучшему. Я никогда не хвасталась своими подвигами и даже на вопросы отвечала коротко и неохотно. А как же относилась ко всему этому мама? К косьбе, безусловно, положительно: она с удовольствием слушала мои рассказы. А вот к молотьбе... Ну уж не знаю. Когда я пришла домой и показала ей мои сдернутые кровавые мозоли — она покачала головой. Намазала чем-то, перевязала и сказала: "А купаться тебе теперь будет можно только когда заживет рука." Рука у меня заживала долго, а когда зажила — стало холодно... Так мне больше и не удалось никогда испкупать коней!

Мамины рассказы

...А иногда мама рассказывала нам о своем детстве в далекой Сибири. Вот несколько маминих историй, как они остались у меня в памяти.

Мы летом ездили в тайгу по малину. Ездили сразу из заводского поселка. Все мужчины с ружьями — в лесу много медведей. Сестры Маня и Вера ехали с мамой в большой телеге с сеном, а мы с папой верхом. Папа на своем Воронке, а я на гнедой лошадке: ее звали Кобчик. Остановились в лесу большим табором. Всю ночь жгли костры, лошадей привязывали рядом. Утром все разошлись по лесу. Я забрела далеко и напала на большой малинник — он был весь красный от ягод. Я стала собирать их в корзинку и вдруг услышала, что где-то близко кто-то чавкает. Я раздвинула кусты и увидела большого косматого медведя. Он стоял и лапами загребал к себе ветки, обсасывал их и наслаждался. И чмокал и похрюкивал — даже глаза закрыл от удовольствия. Я пригнулась и выбежала из кустов, а куда бежать не знаю. Но тут вдруг услышала далекий рог — папин охотничий рог: папа привез его из Англии. И я побежала туда. А медведь меня даже и не заметил...

Нам принесли маленького медвежонка и он стал у нас жить. Бегал в большом доме при заводе как собака. Но он рос очень быстро и его скоро стали бояться чужие люди. А мы его совсем не боялись. Один раз мы возились с ним на диване и он сильно рассек когтем Мане руку. Кровь потекла прямо ручьем, и он стал жадно ее лизать. Маня плакала и вырывалась от него, а он ее не отпускал. Я стала бросать в него подушки, он всегда их боялся. А тут даже внимания не обратил. Маня вырвалась от него и стала бегать, а он все за ней гонялся. И никого дома не было, а выбежать на улицу мы боялись: там было много чужого народу. И вдруг вошел папа. Снял спокойно со стены ружье и застрелил нашего мишку. Мы кричали: "Зачем?! Зачем?!" А папа сказал: "Так надо!" И вытащил его за лапы во двор. Мы очень горевали.

Папа был охотник. И он взял меня на страшную ночную "поросячью охоту". Мама не хотела меня пускать, но с папой не поспоришь. Меня одели так, что я двигаться не могла. И посадили на большие розвальни с сеном. В упряжке была тройка самых лучших в поселке лошадей. Впереди сидел наш кучер Егор. В сани сели еще четверо охотников и папа. Потом вынесли мешок с поросенком, который страшно визжал и барахтался, и положили рядом со мной. И мне сказали, чтобы я его теребила, если он вдруг заснет. Он должен был все время визжать, чтобы волки сбегались на его крик.

Поехали сначала не быстро — было совсем темно, кругом еловый лес в снегу и звезды. Сильный мороз был. Я смотрела в лес и вдруг увидела далекие два голубых огонька. И я сказала: "Смотрите, что это?" А охотники уже зашевелились и стали готовить ружья, а один мне сказал: "Это и есть наши волчишки". Тут Егор встал и погнал лошадей вскачь. А огоньков

становилось все больше. И вот кругом меня стали стрелять. Все как очумели — поросенок верещал, Егор кричал на лошадей, охотники кричали друг на друга. Мне стало так страшно, что я зарылась лицом в сено и не могла дожидаться, когда все это кончится, да и кончится ли это когда-нибудь.

Вдруг папа толкнул меня и крикнул: "Считай до ста!" — и опять стал стрелять. Я хотела спросить зачем, но стала считать. Досчитала до ста и еще стала считать, но вдруг залаяли собаки, замелькали дома — мы приехали в деревню. Я спросила папу: "А зачем мне надо было считать?" А он сказал: "Чтобы не так страшно было. Ведь тебе было страшно?" Я сказала, что да... Я не знаю, зачем папа меня взял — хотел сделать из меня охотника? Но я решила, что никогда не буду охотником.

Мы ехали зимой по сибирскому тракту. Ехали обозом. В кибитке темно, скучно. Все ехали и ехали, деревень нет. Совсем стемнело. Вдруг остановились; кругом глухой лес. И я разглядела маленькую избушку. Мы вышли из кибитки, разгребли снег от двери и вошли в избушку. Зажгли свечку. Сбоку очаг с двумя вмазанными чанами и широкие нары с соломой. И дрова лежат у печки. Холодина в избушке еще вроде хуже, чем на улице. Но скоро затрещал огонь и стало веселее. Принесли из кибитки два мешка — в одном куски замершего бульона, а в другом пельмени замерзшие, как камушки. В чайник напихали снега. Поели, попили; и положили меня на нары, накрыли овчинами. Я согрелась и больше ничего не помню. Заснула... и проснулась уже в кибитке, когда рассвело...

Когда я уже побольше была, мне повезло: я ехала по транс-сибирской железной дороге с первым поездом. Поезд шел так медленно, что мы выходили и шли рядом. А пассажиры были недовольны: "Ну и железная дорога! Да мы бы на лошадях в десять раз быстрее доехали..."

Дополнение

к воспоминаниям Л.В. Парийской о родителях, сделанное ее дочерью

Моя бабушка Евгения Георгиевна Птицына — урожденная Ли — умерла в 1919 году в возрасте 42 лет, простудившись во время поездок по делам кооперативного сообщества в годы разрухи. Бронзовая ваза, подаренная ей в 1912 году за работу в правлении благоустройства местности Лосиноостровская, хранится у меня, ее внучки, в Пуцино. А ее пианино — у ее правнука, моего сына В.С. Бескина в Москве.

Лидия Викторовна очень мало говорила о своем отце Викторе Александровиче Птицыне. Только в 80-ых годах она сообщила, что он, ее отец а мой дед, похоронен в деревне Лужки Серпуховского района, где провел последние годы в психиатрической больнице. Деревня эта видна из окон моей квартиры в городе Пуцино. На фотографии Виктора Александровича рукой Н.Н. Парийского, его зятя и моего отца, написано: инженер-теплостроитель, артист, стихослагатель (?), мастер макетов.

Мой прадед Георг Ли ведет свой род из города Дарем в Англии: мой брат Ю.Н. Парийский видел там в замке портрет одного из известных деятелей этого рода. По рассказам моей матери Георг Ли утонул, упав во время бури с палубы корабля.

О жене Георга Ли, моей прабабушке, практически ничего не известно. Ее девичья фамилия Пулен, а до замужества она была французской балериной.

(Александра Парийская, лето 2003 г., Пуцино)

Воспоминания об ученых

Шесть десятков лет рядом (воспоминания о семье Леонтовичей)⁵

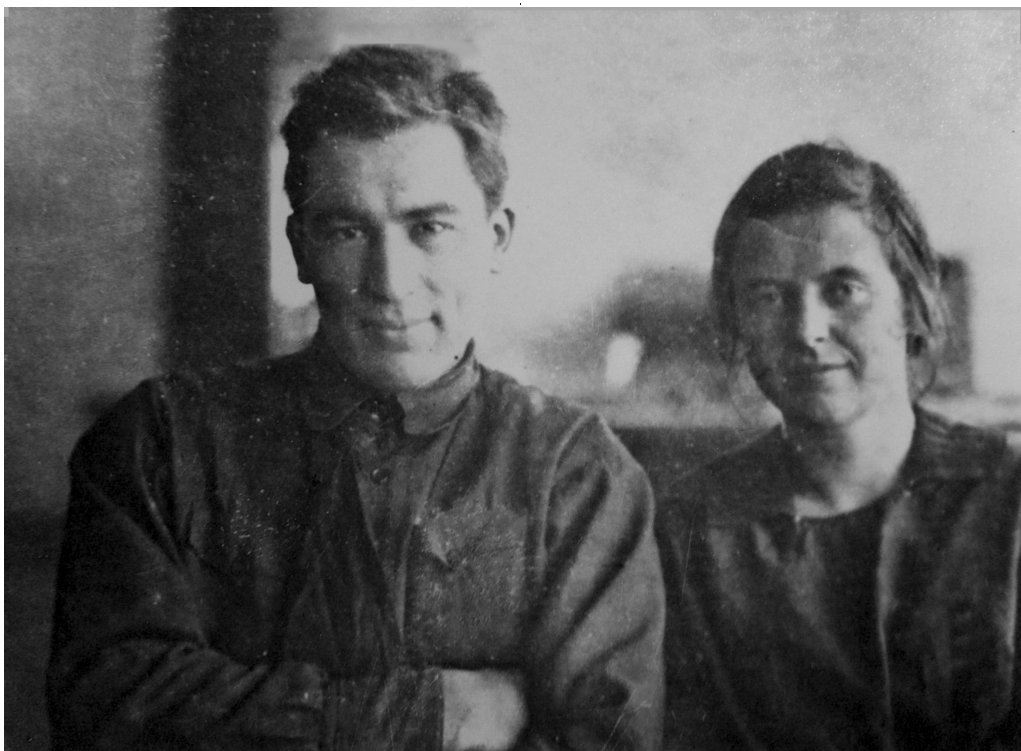


Семья ЛЕОНТОВИЧЕЙ в 40-ые годы

Среди переулков старого Арбата есть одна улочка под названием Сивцев Вражек. Там стояли особняки небогатых дворян. В начале 20-ых годов в одном из этих флигельков помещалось общежитие военно-хозяйственных курсов. Жили там мобилизованные курсанты, собранные из разных концов России. Кончилась гражданская война, в 22-ом году курсы закрылись. Большинство курсантов разъехалось по домам, но несколько человек, потерявших своих родных, остались в Москве, устроились учиться и образовали Коммуну (много всяких Коммун возникало в те времена!..).

Коммуна эта занимала две комнаты и полутемную кухоньку. Личное имущество у коммунаров было скудное — старое солдатское одеяло, тощий тюфяк и железная кровать; а на кухне находилось их коммунальное добро — примус, огромная закоптелая кастрюля, чайник и десяток стаканов. Но главной их гордостью была старая школьная доска, неизвестно откуда добытая, и занимавшая целую стену. Я и моя школьная приятельница Татьяна Свешникова случайно познакомились с одним из обитателей коммуны, стали приходить к ним и как-то очень легко сдружились с этой веселой мужской компанией.

⁵ Опубликовано в сб. "Воспоминания о М.А. Леонтовиче", М.: Физматлит, 1996, С. 13-36.



Н.Н. ПАРИЙСКИЙ и Л.В. ПТИЦЫНА — члены коммуны на Сивцевом Вражке, 20-ые годы

Днем их комнаты пустовали — студенты не только учились, но и зарабатывали на жизнь. Но зато вечером сюда сходилось множество студенческого народа, особенно из Университета, и начинались горячие споры у доски... Я ничего в этих спорах не понимала, я была студенткой ВТУЗа, но мне было интересно наблюдать их прямо-таки страстное увлечение наукой. Я таких людей до сих пор не видела.

Одним из постоянных посетителей Сивцев Вражка был тощий и длинный студент, очень еще молодой. Это был Леонтович — Миня Леонтович, как все его называли. На его худощавом мальчишеском лице особо выделялся большой прямой, чуть приподнятый нос, что придавало его лицу слегка высокомерное выражение; лоб был немного покатым, затылок сильно вытянут. Профиль его запоминался сразу. Много лет спустя Леонтович мне со смехом рассказывал, что какой-то художник его уверял, что его профиль "так и просится на чеканку". Держался он очень прямо и имел еще удивительную способность складываться — поджимал под себя ноги и удобно на них устраивался. Несмотря на то, что он был одет как все, всегда носил одну и ту же неприметную серую рубашку, было в нем что-то необычное — было какое-то своеобразное изящество и в его манере держаться, и даже в его угловатых позах.

Я слышала, что он был сыном профессора из Тимирязевки, но жил с кем-то вдвоем в Москве, кажется с сестрой. Больше всех он общался с Парийским: хотя Парийский был астроном, а Леонтович физик, они слушали одни и те же лекции на ФИЗМАТе. Они подробно обсуждали эти лекции, делали свои выводы и предложения; все время упоминался Игорь Евгеньевич, какой-то Григ-С, Мандельштам... Коля Парийский, смуглый темноволосый крепкий парень, энергично писал на доске, кроша мел. Леонтович же, наоборот, писал не спеша и говорил неторопливо, как-то нанизывал слова друг на друга. И еще я заметила, что когда он говорил, многие к нему прислушивались, и я даже подумала с детским почтением: "наверное, он очень, очень талантливый".

Но особенно он меня поразил на встрече Нового года. Пришло много народа, мне незнакомого, была настоящая толкучка. Выпили вина, закусили немудреными закусками, нарезанными на газете. Стоял общий в таких случаях шум и гам: Коля Парийский, страстный поклонник Камерного Театра, азартно рассказывал кому-то об их новой постановке. Вдруг дверь из соседней комнаты с грохотом распахнулась, и в ней показался Леонтович с каким-то искаженным лицом. Все замолчали, а он огромными шагами промчался по комнате, бросился на колени перед кроватью и, воздев руки, трагически прокричал:

— Коля, Коля, знаешь ли ты, почему покончил с собой Больцман?! Он не мог доказать H -теоремы!! — и он зарылся головой в подушку.

В скором времени мы познакомились с Леонтовичем ближе: несколько человек из Сивцев-Вражской компании решили начать кататься на лыжах, и мы с Татьяной, конечно, с радостью присоединились к ним. Лыж ни у кого не было. Отправились всей гурьбой на Сухаревку — туда в одиночку ходить было опасно: и облапошат и обокрадут, вернешься ни с чем. Но все обошлось благополучно — купили лыжи, и даже неплохие, и даже недорого — уж очень это был тогда не ходовой товар.

И вот с тех пор, каждое воскресенье, мы собирались на Сивцев-Вражке, выходили из ворот, вставали на лыжи и катились по Гоголевскому бульвару, мимо храма Христа, под горку вниз к Москве-реке. По нетронутому белейшему снегу доезжали до Нескучного и там катались с горок — но и падали здорово. Прибегали домой в теплые комнаты, и начиналась веселая суета: кто разжигал примус, варил сосиски, кто расстилал газеты на стол, кто резал хлеб. И вот наконец садились за стол, обжигаясь, грызли сосиски, заедая их огромными ломтями ситного хлеба. Потом бесконечно долго пили чай, и, уже совсем поздно, мы с Татьяной возвращались домой, усталые, распаренные и очень довольные.

В один из таких воскресных вечеров нам пришла в голову блестящая идея: поехать летом куда-нибудь в путешествие и обязательно на море. Решили сразу — ехать в Крым. Остановка была за малым — не было денег. И тут нам вдруг повезло: подвернулся подряд на большую работу. Сколотили бригаду студентов и две недели ходили с рулетками по огромному "Деловому

Двору” на Варварской площади, чертили планы помещений. Быть бригадиром упростили Парийского. Хоть ему и было только 22 года, но нам он казался человеком бывалым — и в Красной Армии был, и в экспедиции ездил и, вообще, был он человеком надежным. Заплатили нам неплохо, только что вошедшим в жизнь новенькими червонцами (шел 23-ий год).

Парийский уезжал в экспедицию, и потому решили созвать сбор едущих. Хотели ехать многие, но оказались занятыми в августе, так что из Сивцев-Вражской компании остались только четверо: Парийский, Леонтович, Татьяна и я. Татьяна решила взять с собой двух своих родственниц — тоже студенток, а Леонтович привел свою сестру Женю. Она была совсем непохожа на нас. Мы были плотные коренастые девки тех времен, а она была нежненькая стройная девочка с тонкими пальчиками, с роскошными, очень светлыми волосами. Она закалывала их на затылке пучком как взрослая, но они постоянно у нее рассыпались по плечам — волнистые, длинные.

— Она же настоящая Ундиночка! — прошептала мне на ухо сестра Татьяна. Ундиночкой мы ее называть не стали, но кем-то данное прозвище ”Журочка” прилепилось к ней на всю жизнь.

Многие из нас вели очень суровую, прямо-таки нищенскую жизнь, и нужно было очень подумать как тратить заработанные деньги. Парийский с карандашом в руке все прикидывал, все урезывал, и наконец сказал, что меньше чем в 30 рублей нам не уложиться. Сюда входили льготный железнодорожный проезд и скудное питание на месяц. Мы должны были пешком пройти из Симферополя до Севастополя, и ночевать только под открытым небом, если не удастся устроиться в школах. Решили брать с собой минимум вещей, потому что придется ходить с ними всюду, а именно: смену белья, платье, теплую кофту, легкое одеяло, простыню (от крымских moskitov!), сандалии и панаму от солнца. И все. Парийский должен был догнать нас в Крыму через две недели.

И вот наступил день отъезда. В руках у нас билеты в самые дешевые ”общие” вагоны, на плечах мешочки, сшитые из старых юбок (рюкзаков тогда не было). На перроне столпотворение: бабы и мужики с огромными мешками и сундуками, ругаясь и давя друг друга, лезли в вагоны. Нас, конечно, сразу оттиснули назад; только Татьяна умудрилась пролезть в вагон и звала нас истошным голосом. Наконец, мы пролезли к ней и увидели, что она, вертясь, ругаясь и отпихиваясь, удерживает две полки — верхнюю и нижнюю. Миня полез наверх на узенькую багажную полку, сестры Свешниковы устроились втроем внизу, а нас с Женей, как самых ”маленьких”, решили уложить вдвоем на вторую полку. Наверное, потому, что мы были младше других, нас сразу потянуло друг к другу и мы были очень довольны. Женю я положила к стенке, а сама легла с краю.

Миня посмотрел на нас сверху, вдруг слез и велел нам вынуть простыни. Из простыней сделал жгуты, обвязал ими меня кругом, а концы привязал к крюкам. Я полувисела, но нам было очень весело. Мы решили с Женей не

спать. И я предложила:

— Знаешь, давай, чтобы не спать, будем дифференцировать!

(Женя кончила I курс мехмата, а я II курс ВТУЗа). Женя с восторгом согласилась. Один задавал сложную формулу, а другой дифференцировал. Начинали мы шепотом, по одному, потом увлекались и дифференцировали уже хором. Наконец, Миня рывкнул на нас со своей верхней полки, и мы притихли. Но спать не хотелось.

— Давай говорить шепотом, в самое мое ухо. Ладно? — тихонько сказала Женя. Я ее спросила:

— Миня на тебя часто рычит, но ведь он не злой, правда?

— Что ты!! Это он рычит, потому что я трусиха и хныкалка! Я, знаешь, схожу в Университет на семинар Лузина, посмотрю, какие люди бывают на свете, вот, например, Новиков Петр,⁶ приду домой, лягу и реву. А он этого не любит, сердится, все меня воспитывает. А я ведь просто никчемная (несмотря на свою "никчемность", наша Ундиночка в свое время станет одним из ведущих математиков города Горького), а он не понимает...

— Да ты что! — прошептала я с возмущением.

Мы молчали. Вдруг она спросила:

— У тебя ведь мамы нет?

— Нет, — ответила я.

— А твоя мама была необыкновенная?

— Совершенно необыкновенная, — горячо прошептала я.

— И почему это мамы необыкновенные, а мачехи обыкновенные...

— А у тебя?

— Ну, знаешь, я даже не знаю что сказать... Тут и сравнения никакого не может быть. Ведь она совсем простенькая девчонка, на два года меня старше. Готовит хорошо, ухаживает за ним. Он доволен, я на него не в обиде... Я вот тоже умею притворяться — я всегда с ней вежливой бываю. А вот Миня не может притворяться, он всегда говорит что думает... Ты только представь себе — уже через три месяца... Я ничего не могу о ней плохого сказать, и не злая она совсем... Она, понимаешь, обыкновенная!.. Я ее и раньше видела... А Миня как узнал, больше дома не жил. Ему знакомые комнату устроили и работу нашли... И он меня к себе взял... Ты спрашиваешь, не злой ли он? Он добрый, добрый, он удивительный, не знаю как сказать, он понимаешь, чистый как стеклышко!

Что хотела этим сказать 17-летняя девочка я не знаю, но слова врезались мне в память на всю жизнь. Женя вскоре заснула. Спина у меня, стянутая жгутами, совсем затекла, но я боялась пошевелиться и разбудить Женю. Вдруг сосед рядом на второй полке привстал, собрал вещи и сполз вниз. Вот это удача! Внизу все спали как убитые, повалившись друг на друга. Я перелезла на соседнюю полку и с наслаждением вытянулась...

⁶Петр Сергеевич Новиков, см. ниже воспоминания Н.М. Леонтович

Симферополь встретил нас адской жарой. Мы вскинули свои невесомые мешочки и пошли по пыльному каменистому шоссе к Алуште. Дорога, петляя, шла все время вверх, к перевалу. Когда-то, как я помню с детства, по ней и взад и вперед ехало множество повозок и колясок, но сейчас она была совершенно пустынна — лишь изредка нам навстречу тащились тяжелые арбы...

Скоро выжженные степи кончились, и мы вошли в полосу невысоких гор. Уже совсем вечерело, когда мы, порядком заморенные, дошли до перевала и свернули с шоссе: где-то здесь близко был Чатырдаг — вторая вершина Крыма. А у нас была такая задумка: ночевать на Чатырдаге и встретить там восход солнца.

Но вдруг — в горах всегда бывает это вдруг — налетел холодный ветер, из-за гор вылезла черно-лиловая туча и полил проливной дождь. Туча пришла и ушла, оставив нас промокшими до нитки. Сильно похолодало и быстро, по южному, стало темнеть. Чатырдаг был отставлен. У нас сейчас было одно желание — обсушиться и обогреться... Мы свернули на какую-то проторенную дорогу, и вскоре перед нами открылось широкое плоскогорье, поросшее пожелтевшей травой.

— Яйла! — сказал Миня.

Где-то вдали мерцал огонек, и вокруг него шевелилась плотная серая масса — овечья отара. Кругом костра носились черные точки — собаки что ли? Вдруг нас обогнал какой-то бородач в мокрой овчине, накинутой поверх головы.

— И куда же вы спешите? — спросил он. Мы хором ответили. Он остановился:

— А вы знаете, что пастухи сейчас спят и сторожат овец собаки?

— А что, собаки кусаются? — тихонько спросила Женя.

— Ха, кусаются!! Они не кусаются, милая барышня, они рвут на части.

— Ну уж и рвут, — усмехнулась я. Но вдруг оттуда раздался такой низкий, протяжный, ужасающий вой, что мы сразу остановились... Горы ответили гулким эхом. А вой повторился еще сильнее и оглушительней. Наверное, завывали уже все собаки.

— Учуйтели вас, — сказал бородач, — вы вот что, идите-ка назад, и вот у того кусточка поищите пещеру — там и заночуете.

Мы неохотно повернули; пещеру мы вскоре нашли. По правде говоря, все мы надеялись, что там будет тепло и сухо, но из зияющей черной дыры на нас пахло таким замогильным холодом, что мы отшатнулись и, не говоря ни слова, поплелись дальше. Мутно у всех было на душе, да и страшновато. Я думаю, что если бы с нами был еще какой-нибудь мужчина, мы бы не поддались такому безотчетному страху. Миню мы как-то не воспринимали как мужчину — он был с нами на равных.

Наконец у каких-то кустов Татьяна сбросила свой мешок и стала вытаскивать из него свое мокрое одеяло.

— Идем, не знай куда, не знай зачем, — проворчала она.

Мы молча стали укладываться на мокрую траву, стараясь поплотнее прижаться друг к другу. Нас окутал какой-то белесый туман — луна что ли взошла? С листьев падали капли... Вдруг чей-то сонный голос пробормотал:

— Легли друг в дружку, как кружка в кружку...

Это было так неожиданно, что мы начали хохотать, от смеха весь страх у нас прошел и даже стало теплее. И тут мы быстро заснули. Когда проснулись — веселое солнце сверкало на всех капельках росы, на листьях, на деревьях. Теплое южное солнце! Мы вскочили, посмотрели карту. Нашли недалеко еле заметную, заросшую травой тропинку. Она поднималась круто вверх и скоро мы взобрались на небольшую плоскую каменистую площадку. Чатырдаг! Далеко в голубом тумане нам открылось море: некоторые видели его в первый раз и не могли наглядеться...

Потом мы расстелили на теплые камни мокрые одеяла, куртки и свои новенькие червонцы. Только один Миня хвастливо показывал совершенно сухой сверток, обернутый в компрессную клеенку. Мы тут же стали просить его взять на сохранение наши деньги. Он ответил не сразу. Потом медленно произнес:

— Хорошо, я возьму ваши деньги, но имейте в виду, — тут он скорчил страшную рожу, — я не дам их тратить на всякие панские вытребенки!!

— И я не дам, — сказала решительно Татьяна и уселась с ним рядом, — а то пойдут всякие груши, персики — и не видать нам Крыма!!

Мы переглянулись: один Минька — это еще ничего, но вдвоем с Татьяной — это уже сила! Похоже, что мы попали в рабство! Впрочем, ни о чем грустном нам думать не захотелось — ведь впереди нас ждало море! Мы доели остатки мокрого хлеба и прямо вниз, без дороги, по густому хвойному лесу помчались к Алуште.

И началась наша бродячая жизнь. Крым был совершенно безлюден. Ни отдыхающих, ни туристов. Великолепные дворцы, захламленные, замусоренные, с поломанной мебелью, наводили какое-то уныние, и мы их избегали. Жили в них или сторожа со своими семьями, курами и козами, или рабочие-ремонтники, или стояли солдаты... А вот сады и парки, заросшие высокой травой и одичавшими розами, были наши — чугунные ворота были или разбиты или распахнуты настежь.

К вечеру мы заходили в какой-нибудь сад, находили под густым деревом уютное местечко, нагребали сухих листьев и расстилали наши одеяла: было и тепло и мягко. Кругом стрекочут цикады, море шумит где-то внизу...

Утром нас будила Татьяна — она вставала раньше всех — и мы поднимались в какое-нибудь татарское местечко на верхнем шоссе. Там всегда по утрам был маленький базарчик. Начинали мы с того, что обходили его из конца в конец — отыскивали товары подешевле. Рацион у нас был жесткий: утром молоко с серым хлебом, в обед — хлеб с брынзой и помидорами, в ужин — хлеб, помидоры и какой-нибудь самый дрянной, мелкий виноград — и так изо дня в день...

А из духанчика на весь базар разносилось чудное благоухание южного борща... Как нам хотелось хоть полтарелочки горячего супца вместо опостылевших перезревших помидор! Просили, умоляли — но наше "начальство" было неумолимо. Миню мы бы еще, пожалуй, упросили, но вот Татьяна — это же гора упрямства! — мне ли этого не знать. Со вздохом доставали мы свои кружки, пили молоко, и бежали по крутым тропкам вниз к морю.

Ни одного человека на берегу мы никогда не видели. И безбрежное море, и горячие камни, и синее небо и солнце — все это было только наше!! Мы прогоняли Леонтовича подальше, скидывали с себя всю одежду — никаких купальников у нас не было — и бросались в воду. Плавали, ныряли, боролись с волнами, кувыркались или устраивали "веселую стирку" — в пену прибоя, в мелкую гальку, кидали свои платя, топтали их, прыгали по ним и плясали, потом расстилали их на горячие камни и валились с ними рядом, жарились на солнце. Леонтович, хоть и был один, тоже не скучал. Медленным спокойным брассом он делал большой заплыв, потом вылезал, сразу одевался и начинал бродить по берегу: поднимал мокрые камни, искал там всякую морскую живность.

Потом мы собирали свои монетки и продвигались по берегу дальше. Находили какое-нибудь тенистое местечко, там "обедали" и отдыхали, и опять шли дальше. Любили идти или самым берегом, по камням, или через сады и запущенные виноградники. По нижнему шоссе мы как-то избегали ходить, хотя оно и было совершенно пустынно... Попадались там, на обочинах дороги, то какие-то полуистлевшие тряпки, то стоптанные рваные ботинки; один раз видели сломанную детскую коляску — это все следы бушевавшей здесь два года назад гражданской войны.

Останавливались мы на ночевку рано, выбирали место, "ужинали". Очень хотелось посидеть у костра, попить горячего чайку — у нас и сахар был и воду всегда носили в бидоне. Но не выходило: стоило нам развести огонь, как из темноты возникал человек с ружьем и произносил — "Не положено". Крым-то все-таки охранялся — хоть и незаметно, но здорово. Но мы и так хорошо проводили вечернее время; забирались на какой-нибудь скалистый обрыв, смотрели, как садится в море солнце, как непрерывно меняются краски неба и моря... Много пели, говорили... Некоторые из нас увлекались Достоевским, некоторые стихами.

Миня никогда не принимал участия в этих разговорах, но мы скоро обнаружили, что он был настоящим эрудитом в истории, в географии — на всякий вопрос давал обстоятельный ответ. Знал хорошо растения, насекомых... Он любил вечерами медленно прохаживаться по парку, останавливался, смотрел вверх на какую-нибудь пичужку, внимательно осматривал незнакомое субтропическое дерево, оглядывал, ощупывал, даже нюхал кору и листья.

Наконец мы добрались до Мисхора, где должны были дожидаться Парийского. В Мисхоре нам повезло — удалось устроиться на ночевки в школе. Нам отвели большую комнату на втором этаже. Здесь, в первую же ночь,

мы испытали настоящее нашествие маленьких фруктовых крыс. Они целыми полчищами взбирались по столбику на крышу крылечка, пробирались по карнизу к открытому окну, гулко шлепались на пол (вот это нас и разбудило) и устремлялись к столу грызть остатки хлеба. Все вскочили и началась страшная кутерьма — крысы разбежались по всей комнате, бегали по ногам, Миня веселился, а мы, женщины, как положено, кричали и визжали. Наконец крыс выгнали в дверь. Мы заперли окна и больше их не видели.

Мне нравился Мисхор. Здесь не было ни дворцов, ни парков — это был настоящий нетронутый дикий Крым. По отлогому берегу росли раскидистые старые сосны и грабы... Никакого пляжа в Мисхоре не было. И, конечно, купаться с этих больших камней при сильном волнении было бы небезопасно — но погода нас баловала, не было ни дождей, ни штормов.

Вскоре приехал Парийский, загорелый, здоровый, и сразу внес веселую струю в наше немного замытаренное общество. Особенно оживился Миня — опять начались разговоры о науке, о Курской Магнитной Аномалии, где они оба работали. С приездом Парийского наше жестокосердное начальство как-то свяло и бразды правления незаметно, сами собой перешли к Парийскому. По-моему, Леонтович был этому даже рад — начальствование было несвойственно его характеру.

Как-то, гуляя внизу у моря, мы увидели, что по тропинке к нам приближается человек, удивительно похожий на Чехова: мы даже остановились. Когда он подошел, мы с Татьяной с изумлением узнали в нем учителя-латиниста из нашей гимназии, Николая Михайловича Попова. Оказывается, Горький добился, чтобы для ученых открыли дом отдыха в Крыму, и вот он там живет. Николай Михайлович, очевидно, был просто поражен нашим видом — мы страшно похудели, загорели до черноты, платья оборваны, в заплатках (не выдержали они нашей "веселой" стирки). Он затащил нас к себе в Дом отдыха, но мы, увидев в коридоре ковровые дорожки, решительно повернули назад — совсем одичали.

Но добрейший Николай Михайлович нас не оставил — разыскал в Мисхоре и объявил, что нашел недалеко от нас какую-то татарку, которая берет нас кормить раз в день хорошим мясным супом — и ведь все это за такие гроши, убеждал он нас. На этот раз никто не возражал, и мы стали ходить в селение Мисхор к доброй толстой татарке. Усаживались на маленьком крылечке, и она наливала каждому по огромной миске пряного пахучего борща с большими кусками баранины... А потом еще водила нас в свой сад и угощала с кустов изумительно вкусным виноградом.

Но подходили последние деньки — нужно было уезжать. Решили разделиться — более слабых отправить в Севастополь на пароходе, а нам, "четверке сильных" из Сивцев-Вражской компании, выполнить весь маршрут, пройти до Севастополя пешком. Слабые горевали и завидовали. А мы прошли берегом до маленького местечка Мшатка, переночевали там под большим каштаном, и на рассвете, без дороги, полезли вверх к перевалу "Байдарские Ворота" на

верхнем шоссе, откуда открывался великолепный вид на побережье. Постояли, попрощались с морем. Никаких "ворот" я не припоминаю, но мы нашли столбик с ржавой табличкой — "до Севастополя 52 версты".

Дорога шла под легким уклоном, идти вроде было нетрудно, но скучно: ни леса, ни деревца — камни и сухая трава. Шли мы ходом; сначала разговаривали, потом замолчали... Только Парийский, пройдя верстовой столб, методично отмечал нашу скорость — 10 мин., 11 мин., 12 мин... Но потом мне все стало как-то безразлично, я только шла, шла как заводная...

Поздно вечером мы дошли до Севастополя и отыскивали турбазу, где нас должны были ожидать остальные. В турбазе — старой школе с разбитыми стеклами — стояли топчаны с тюфяками, набитыми соломой. Мы, как пришли, не евши и не раздеваясь, повалились на кровати и проспали 12 часов.

Утром на вокзале нас ожидало ужасное известие — "общие вагоны" отменены, а в плацкартные вагоны билеты были только на 2-ое сентября. А наши льготные талоны были действительны по 1-ое сентября! Парийский обегал всех начальников — ответ был один — берите билеты за полную цену. А у нас не было таких денег и не у кого было их занять.

Притихшие и несчастные, мы уныло сидели на скамейке привокзального сквера. Рядом расположилась группа студентов — веселых, здоровенных, с мольбертами и ящиками. Я их узнала — это были студенты архитектурного факультета нашего института. Они тоже смотрели на нас... Наконец, один из них, коренастый парень с веселыми озорными глазами, подошел к нам с Татьяной, поздоровался и спросил, почему это у нас такой похоронный вид? Я рассказала. Тогда он сказал:

— А ну-ка, дайте мне ваши талоны, — он взглянул на них, понес к своим ребятам, что-то им сказал, потом открыл свой ящик, развел какие-то краски, взял перышко и легким движением руки везде приписал к единице по нулику. Безукоризненная работа!! Он возвратил нам талоны, поклонился и, улыбаясь, сказал:

— Ловкость рук и никакого мошенства!

Мы все вскочили и радостно благодарили его. Мы были в восторге! (кстати сказать, этот студент, много лет спустя, стал главным архитектором города Москвы).

В этом же нашем первом путешествии четко определились две пары, и на другой год Леонтович женился на Татьяне. Никакой пышной свадьбы не было — просто Татьяна переехала к нему жить, а Журочке пришлось возвратиться к своему "папеньке" — и было ей это очень нелегко. Впрочем, она не долго прожила в новой семье отца — через два года она вышла замуж за нашего близкого друга А.А. Андропова.

В 1924-ом году, наша "четверка сильных" решила пройти через Клухорский перевал по Военно-Сухумской дороге. С нами поехал еще один из постоянных посетителей Сивцев-Вражка по прозвищу НАС со своей женой Гритой. Когда мы из Баталпашина добрались до Теберды, был уже вечер. Это

было довольно большое старое селение, раскинутое вдоль реки, последнее селение перед Клухором. И мы пытались разузнать подробности о перевале. Но жители Теберды были как-то очень необщительны, да и по-русски говорили плохо, мотали головами: "Не знай, не ходил"... Мы этим были не очень обеспокоены — у нас были карты, и нам подробно рассказывал о перевале один старый турист из Москвы.

Уже было совсем темно, когда мы устроились на ночевку в какой-то старой халупе. Хозяин бросил на земляной пол охапку соломы, о перевале тоже сказал "не знай, не ходил" — и вышел. Леонтович уже лег спать (он всегда ложился раньше всех), как в дверь кто-то постучал. Вошел скромного вида человек, похожий на учителя — он оказался начальником Тебердинского ЧК. Он стал серьезно и убедительно отговаривать нас от этого путешествия. Он говорил, что у них нет никакой связи с Абхазией, что по слухам там зверствуют зеленые банды, что идти туда, особенно с женщинами, совершенно безрассудно...

Почувствовав, что мы железно уперлись в своем желании, он сказал под конец "что он выполнил свой долг, предупредил нас, что сам он охраны дать не имеет возможности и очень сожалеет, что не смог нас убедить". Некоторое время после его ухода все молчали. Потом НАС, осторожно подбирая слова, стал убеждать нас отказаться от перевала, говорил, что тут есть кругом прекрасные прогулки, какое-то невысокое озеро... Но тут Леонтович поднялся: нижняя челюсть у него свирепо выдвинулась и он стал медленно расстегивать свой ремень... В тот же момент Парийский и Татьяна бросились к нему и обхватили его руками с обеих сторон; а НАС и его спутница схватили свои монетки и исчезли. Больше мы их не видели. Леонтович яростно взглянул на Парийского, плюхнулся на солому, завернулся с головой в одеяло и прошипел: — трус!

На другой день на рассвете мы пошли на перевал. Прошли мрачное Гуначхирское ущелье, прошли перевал, нетрудный и малоснежный, и перед нами открылась долина реки Гвандры. Постояли, посмотрели...

Далеко внизу синели леса, узенькой ленточкой извивалась река; где-то там, должно быть, шумели бурные потоки, водопады, а здесь стояла удивительная тишина, которая бывает только высоко в горах. Легкие прозрачные облака проносились мимо нас... Мы не сразу нашли дорогу; спустились по крутой осыпи вниз и, пробираясь по камням, пошли вдоль ручья, который быстро набирал силу и становился бурным потоком. Потом нашли старую заброшенную дорогу, и идти стало легче. Когда мы вошли в густой сыроватый лес, уже совсем вечерело.

Нельзя сказать, чтобы мы вели себя особенно храбро, когда попали в Абхазию — нет, мы оглядывались, говорили шепотом, костра не разжигали. Поели кукурузных лепешек, запили ледяной водой. Спать улеглись, отойдя от дороги, в кустах. Лежали, молчали. Было очень тепло и парно, пахло незнакомым тропическим лесом и во всех направлениях чикали темноту ле-

тающие светлячки...

Утром потихоньку встали и побежали по лесу вниз. Дорога шла возле потока. И вдруг мы услышали впереди мужской разговор, смех — сразу остановились, замерли. Парийский прокрался вперед между кустов, раздвинул ветки и радостно замахал руками — "свои!" У ручья расположился небольшой разъезд красноармейцев. Они сидели у костра и брили друг друга длинной бритвой. Они угостили нас чаем и даже дали по куску хлеба. Их очень развеселил наш рассказ о зеленых бандах в Абхазии. А один сказал:

— То-то мы смотрим — ну никого нет с той стороны — это ведь вы первые пришли.

Мы совершили потом с Леонтовичем еще много путешествий: и на Горный Алтай, где к нам примкнули И.Е. Тамм и П.С. Новиков, и по горам Кавказа. Там мы даже сделали первое восхождение на 4-тысячник. Но я рассказала подробно об этих двух первых путешествиях, потому что теперь уже мало кто помнит Леонтовича в ранней молодости, и еще потому что они происходили в такие уникальные времена, когда о туризме никто и не помышлял.

Альпиниста из Леонтовича не получилось: у него была боязнь высоты, не хватало ловкости и совершенно отсутствовал спортивный азарт. Но в водных путешествиях он проявил себя истинно мужественным человеком и искусным кормчим, когда, например, он сумел провести свою лодку по опаснейшим порогам Би...

В этой теплой компании — Леонтовичи, Таммы, Парийские, Новиковы — мы совершили еще бесконечное количество весенних майских походов на лодках, где с нами ездили и дети, а потом и внуки; и новогодних встреч с веселыми хохмами, и воскресных прогулок с кострами и обязательным волейболом и в дождь и даже в снег... Вся наша жизнь прошла рядом; но вспоминая Леонтовича, я сразу вижу рядом с ним его верную подругу Татьяну.

Они прожили долгую и счастливую жизнь — я не замечала между ними ни тени разлада; он никогда не перечил и не возражал ей. Они всегда были заодно — и радовались чему-нибудь вместе и возмущались вместе. И как трогательно он ухаживал за своей женой, когда она потеряла возможность существовать самостоятельно: сам тяжело больной, аккуратно давал ей лекарства, помогал одеваться, водил ее гулять.

Леонтович не для всех был приятным человеком — он не терпел подхалимов и открыто издевался над ними. Люди со стандартным мышлением держались с ним настороже — он был для них непредсказуем и говорил всегда что думал "не взирая на лица". Мог скорчить страшную физиономию и накричать, мог вытолкнуть за дверь уж очень возмущившего его человека.

Но в кругу своей семьи он был всегда благодушен: его не раздражало полное отсутствие уюта в их жилищах. Если Татьяна была довольна, был доволен и он (самому-то ему был необходим только крепко заваренный чай!). Не он, а Татьяна создала этот устойчивый, не совсем обычный и многих удивлявший уклад жизни семьи Леонтовичей.

И я должна рассказать о ней подробнее. Татьяна была очень незаурядным человеком. Рослая, красивая, статная женщина с прекрасными серыми глазами, с русыми, чуть вьющимися волосами — настоящая русская красавица. Но ни в ее облике, ни в манере держаться не было ничего женственного. Она совершенно не обращала внимание на одежду, всю жизнь ходила в самых простых платьях; летом в ситцевых, зимой в бумазейных, в больших мужских туфлях, а летом всегда босиком. И ходила она по земле широким мужским шагом. Она была очень сильна физически. Когда она, лет десяти, попала в нашу школу, то я не могу вспомнить ее маленькой: она была на две головы выше нас и сильнее всех мальчишек в классе (мы учились в смешанной школе). Помню, когда мы решили ставить в школе "Ночь перед Рождеством", то все единодушно выдвинули ее на главную роль кузнеца Вакулы. И не потому что была хорошим артистом — наоборот: обладая мужественной внешностью, она была необыкновенно застенчива, бормотала свою роль себе под нос — но кто же еще мог так лихо закинуть себе на спину мешок с живым "чертом"!

В революцию, в голодные годы, она работала сельскохозяйственным рабочим в Детской колонии под Загорском. Мне кажется, именно с этого времени у нее появилась неодолимая тяга к природе, к деревенскому труду. Если бы ей удалось стать агрономом, я уверена, что она бы осталась в памяти людей не только как жена академика и мать четырех детей. Но в Тимирязевку в тот год принимали в студенты только "от сохи". Нужно было зарабатывать деньги, и она стала инженером-железобетонщиком, не имея к этому никакого влечения и работала только до тех пор, пока считала свой заработок необходимым.

Трудно было найти такого неподходящего человека на роль хозяйки в семье обеспеченной и имеющей самые широкие возможности. Она ненавидела домашнее хозяйство, магазины были для нее проклятием — ей никогда ничего не было нужно. Но в экстремальных условиях она была на высоте — это была ее стихия. В эвакуации, в Казани, ее семья голодала меньше других: со своими большими санями она забиралась в самую "глубинку", выгодно меняла вещи на продукты, потом в лютые морозы волочила тяжелые сани с мукой и крупой. Весной забрала детей и уехала за Волгу в деревню Солонцы, завела свинью, работала в колхозе за мужика, на самых тяжелых работах. Да и в первые годы после войны к ней на дачу приходила председательница колхоза и кланялась в ножки: "Помоги, Татьяна Петровна, не хватает у меня мужиков". И она вставала чуть свет и уходила в луга косить, а потом таскала к себе домой заработанные трудодни — мешки с картошкой и капустой. И они были совсем не лишние в ее большой семье, хоть Леонтович и получал всякие literные карточки...

Мужчины нашей молодости занимались только своими делами, своей наукой: они не ходили по магазинам, не гуляли с детьми, не помогали их купать. Как только в семье появлялся ребенок — тут же появлялась и домработница. Ее найти было не трудно — все деревенские девчонки только и мечтали поехать в Москву подработать и приодеться. Но к Леонтовичам попала не дев-

чонка, а здоровенная деревенская женщина из черноземных Тамбовских степей — Марфуша (Марфа Алексеевна Печенкина) или "Марфея" как ее прозвал Леонтович. Татьяна с радостью сбросила на нее всю домашнюю работу — она была и кухарка, и нянька и "мамка" — потому что всей душой привязалась к своим питомцам. "Я только что их не родила", — как сказала она один раз. И прожила она с ними почти полвека.

Готовила Марфуша очень примитивно — щи с мясом, картошка, каша на ужин. И так изо дня в день, никаких "разносолов"!.. Татьяну ее стряпня вполне устраивала, и другие никогда не возражали (хотя много лет спустя, когда подросла старшая дочка и стала искусной хозяйкой, Леонтович был очень доволен, когда она готовила вкусные вещи). Татьяна страстно любила своих детей, но с маленькими ребятами возиться не любила, да и не умела. Их не мучили правилами приличий и вежливости. Единственным железным законом в семье было приходить вовремя к обеду и ужину. В остальное время они могли заниматься чем угодно.

Одна академическая дама со злым язычком как-то сказала, что "дети у Леонтовичей произрастают как грибочки". В отношении двух старших детей тут была крупица истины. Занимались они иногда такими странными делами, что удивляли даже своих родителей. Очень хорошо помню их старшего сына Сашу в возрасте 9–10 лет. Это был плотный румяный мальчишка с такими же большими серыми глазами как у матери. Он редко улыбался и редко замечал что-нибудь вокруг — он казался совершенно отрешенным от жизни. Везде и всюду он таскал с собой потрепанную объемистую книгу. Это была уникальная книга — расписание движения поездов по всем железным дорогам Советского Союза, с приложениями и картами. Обладая феноменальной памятью, вероятно унаследованной от отца, он вызубрил от корки до корки весь справочник. Он знал все железнодорожные станции страны, мог сказать, как доехать до любого городишки: с какого вокзала, когда и где пересадка, и сколько времени туда ехать.

Как-то летом он ехал с родителями по транссибирской дороге, по самым глухим сибирским местам, и сказал, так, между прочим:

— А сейчас будет станция такая-то...

— А ты откуда знаешь? — изумилась проводница.

Саша нехотя ответил:

— А я все станции знаю.

— Как все? А следующая какая?

Саша сказал. Она так была поражена, что созвала всю бригаду, и они, глядя в свои справочники, долго забавлялись Сашкой, пока родители их не прогнали.

Леонтович как-то, глядя на своего сына, поглощенного своей тяжелой мозговой работой, сказал мне:

— Ты только посмотри на него! Ведь он с головы до самых пят набит одними цифрами. И больше внутри совершенно ничего нет. И что только выйдет из этого обалдуя! — и он пожал плечами (он очень выразительно

умел пожимать плечами). Но мне показалось, что он просто забавляется им, а вовсе не беспокоится. И он был прав: вышел из Сашки видный ученый с потрясающей работоспособностью...

А Наташа, тихая девочка, сидела где-нибудь на ступеньках и вышивала крестиком. Татьяна с жалостью на нее поглядывала — "ну что это за занятие". Впрочем, в походы Леонтовичи детей брали рано и с ними там не нянчились.

В 36-ом году у Леонтовичей произошло радостное событие: им удалось купить себе домишко на погосте Кремешня, под Тучковым — давно заброшенный дом псаломщика у самой церкви. Старая белая церковь "Покрова" стояла на высоченном берегу Москва-реки и была видна издалека; крутой склон зарос могучими дубами и кленами, а за домом тянулись бескрайние глухие леса со старыми сечами и малинниками. В саду, заросшем высокой травой, стояли рядом четыре исполинские липы. Домишко был небольшой — две комнаты и кухня с русской печью, в которой Марфа орудовала чугунами и ухватами.

С этих пор, долгие годы, Леонтовичи жили летом в Кремешне, выезжая оттуда только недели на три в дальние походы. Здесь Татьяне было раздолье: она посадила в саду смородину, клубнику, крыжовник. Развела большой огород. Ранними утрами уходила далеко в лес, приносила белые грибы сотнями — славилась как грибник на всю округу; собирала большие бидоны малины и земляники. Ходила по лесам всегда одна.

Все хорошо было в Кремешне, только вода была далеко — воду таскали из-под горы из маленького родника. Это была нелегкая работа, и Леонтович считал своим долгом помогать женщинам. Носил он воду только на коромысле, воды не проливал ни капли — грациозно изгибаясь, взбирался по крутейшей тропке в гору. Коромысло он сделал сам: сначала долго ходил по лесам, выбирая подходящее дерево, потом остругивал его ножом, потом долго и тщательно обтачивал осколком стекла. Когда началась война, Татьяна надеялась, что она пересидит ее в Кремешне — не удалось: немцы дошли до Тучкова. Их белая церковь была разрушена, старый священник остался не у дел, но домик Леонтовичей чудом уцелел.

Семья у них разрасталась, дети постарше стали спать на чердаке, на сеновале. А когда появились внуки, Леонтовичи отдали молодым теплые комнаты, а сами переселились в светелку-чуланчик с крохотным окошечком, выходящим в огород. Леонтович сам обклеил свою светелку обоями и очень гордился своей работой. В светелке было сыро и холодно — но они как будто не замечали этого. С подростками детьми Татьяне стало интереснее общаться: она расчистила и утрамбовала площадку для крокета, и как только у нее появлялось свободное время, она энергично сзывала на площадку всех находившихся в Кремешне и начиналась игра с яростными спорами и ссорами...

Не могу не вспомнить одну картинку из жизни Леонтовичей в Кремешне — уж очень она мне ярко представляется... Летний жаркий день. Леонтович в послеобеденном благостном состоянии сидит на терраске, высоко заложив

ногу на ногу, и читает "Фрегат-Палладу". Татьяна устроилась на ступеньках около огромной корзины с белыми грибами — она готовит их на сушку. А на кухне Марфея изоцряется в кормлении годовалой Верки.

Все дети Леонтовичей обладали отменным аппетитом, а вот самая младшая Верка — ничего не желает есть. И вот Марфуша ходит с ней по кухне, напевая заунывные тамбовские песни; на локте левой руки у нее сидит хныкающая Верка, в этой же руке у нее кастрюля с манной кашей, а в правой она держит ложку. И вот Марфуша подходит к стенке и оглушительно брякает ложкой по кастрюле... Бряк!! — Верка обмирает и испуганно таращит свои голубые глазки, рот у нее открывается — и в этот момент Марфея ловко всовывает в него ложку с кашей и шепчет облегченно: — "Слава тебе, господи — еще одну ложку съели..."

Во время войны Леонтович работал на оборонной тематике, но в 44-ом году возвратился в ФИАН, который помещался тогда на Миуссах. Я тоже стала работать в теоретическом отделе ФИАНа у И.Е. Тамма. Занимал теоретический отдел, после возвращения из Казани, маленькую комнату на верхнем этаже. Кафельный пол и узенькая дверь очень напоминала недостроенную туалетную комнату. Стоял там старый стол и несколько стульев, на стене висела доска. Около доски постоянно толпился народ — аспиранты, сотрудники. Но работать было негде; приходили — уходили. Сидела и работала там со своим арифмометром только я одна.

В конце 45-го года по ФИАНу поползли слухи, что будут праздновать 225-летие Академии Наук, что выделены большие средства на ремонт здания, что приедут иностранцы и что даже будет роскошный банкет. Как из рога изобилия посыпались всякие ордена. поголовно все завыв получили ордена Ленина, а вот Игорь Евгеньевич только орден Красного Знамени, чем он нисколько не огорчился. А вот его зам., В.Л. Гинзбург, совсем еще молодой, ничего не получил и ходил мрачнее тучи.

Хотя теоретический отдел был в явной немилости, начальство понимало, что кому как не И.Е. принимать иностранцев, и что нужно как-то обставить нашу комнату. "Приличную мебель" привезли за два часа до торжества: огромный письменный стол красного дерева, кресла и диван — но вся эта мебель никак не проходила в узенькую дверь и ее втащили с помощью пожарных через окно. И.Е. благополучно принял иностранцев и все обошлось прекрасно.

Мебель осталась у нас, но по существу ничего не изменилось; я одна сидела за роскошным столом, а другим сотрудникам работать было негде. Но вот диван оказался "местом святым пустым не бывающим". Кто только на нем не сидел; то здесь трепались по науке наши аспиранты, то сидело наше милое начальство, обсуждая и закрывая новые теории, или слушали с удовольствием рассказы И.Е. из разных областей науки. Часто приходил к нам и Леонтович — он очень любил И.Е.

Один раз он ворвался к нам и был какой-то очень странный; весь дергался

и издавал какие-то хрюкающие звуки. Мы все вскочили... Он плюхнулся на стул, сложился, поджав ноги (в своей любимой позе Мефистофеля по Домогацкому), обхватил голову руками и затрясся. Игорь Евгеньевич испуганно заглянул ему в лицо и радостно закричал:

— Да он смеется!

Тут Игорь Евгеньевич стал умирать от любопытства. Он бегал трусцой вокруг Леонтовича и умолял:

— Ну, Михаил Александрович, ну пожалуйста! Ну расскажите что случилось! Ну Михаил Александрович!

Наконец Леонтович пришел в себя, шумно высморкался и стал рассказывать:

— Ну вот мы разговаривали с Сергеем Ивановичем. Вдруг вошла Анна Ларионовна и сказала, что приехала академик Штерн и просит ее принять. Сергей Иванович нахмурился, говорит: "Я ей не назначал", а Анна Ларионовна говорит: "Она сказала, что ненадолго, что у нее что-то срочное". "Ну, хорошо, пусть войдет", — сказал Сергей Иванович. Я хотел уйти, но Сергей Иванович сказал: "Останьтесь, она тогда скорее уйдет". Я отошел к окну к ним спиной. Ну, она вошла и заговорила о каких-то делах. Покончила она со своими делами и говорит голосом потише: "Я хотела бы поговорить с вами еще о некотором деле. Видите ли", — тут она замолчала, наверное, посмотрела на мою спину, — "ну, все равно. Я размышляю вот о чем. Сейчас во многих ведомствах вводят форму, и это очень правильно. А то, знаете, это как-то не впечатляет. Входишь на какое-нибудь совещание и никто не знает, что ты академик. Как вы на это смотрите?" Ну Сергей Иванович и говорит совершенно серьезно:

— Знаете, я сам об этом думал. Вот при Петре I была уже разработана униформа для академиков. Я познакомился с ней; может нам воспользоваться? Белые лосины и лиловый камзол — как вы это находите?

Она что-то прошипела и исчезла. А я чуть не умер — заткнул себе рот занавеской — а Сергей Иванович хоть бы что! Только чуть улыбнулся. Вот человек!

В ноябре 46-го года были назначены выборы в Академию, первые после войны. Для физиков там предназначалось три места и без всяких споров (насколько я знаю) на эти места были намечены Ландау, Ландсберг и Тамм. Но вдруг, буквально чуть не за день до выборов в "Правде" появились три официальные хвалебные статьи: о Ландау, о Ландсберге и о... Леонтовиче! Леонтович, который считал себя учеником И.Е., пришел в ярость, в исступление, и сразу начал действовать. Целый день до поздней ночи он объезжал знакомых и незнакомых академиков и умолял и заклинал их голосовать не за него, а за Игоря Евгеньевича. Мы уже спали, когда он позвонил нам и радостно сообщил, что все в порядке, что все дали ему клятвенное обещание не голосовать за него.

И что же?! Громадным большинством был избран Леонтович. Первое изве-

стие об этом принесла Татьяне Марфея. Запыхавшись, с совершенно убитым видом, она ввалилась в комнату и произнесла загробным голосом:

— Выбрали...

Должно быть, видя в каком волнении был ее хозяин, она решила, что все пошло прахом — они погибли...

Вскоре после выборов жизнь Леонтовичей сильно осложнилась. Семья разрослась — родился четвертый ребенок, женился старший сын, а они ютились в крохотной квартирке. Их жилище превратилось в настоящую ночлежку. Кто бы к ним не приходил, все уговаривали Леонтовича хлопотать о большой квартире, но он отвечал жестко:

— Ходить, просить — не буду!

Избавление пришло только через два года, когда они получили большую зимнюю дачу в академическом поселке Абрамцево. Для Татьяны это было не только выходом из кризисного состояния; она получила, наконец, возможность осуществить свою заветную мечту — порвать с ненавистной ей городской жизнью. Она забрала детей и переехала жить на новую дачу (и надо сказать, что когда Леонтович перешел на работу в Курчатовский институт и получил огромную квартиру на Щукинском проезде, у Татьяны и мысли не возникло возвращаться в Москву).

Дача в Абрамцево была большая, двухэтажная, с шестью комнатами — хватало места для всех. На участке стоял глухой лес с огромными елями, дубами и ореховым подлеском. Но было и открытое место для сада. Татьяна энергично взялась за работу — ездила по району, отбирала саженцы яблонь, смородины; сажала, копала.

А Леонтович остался жить в Москве. Наверное, ему было одиноко, ведь он привык жить с Татьяной, но он никогда об этом не говорил. Купил машину, научился водить. Приезжал в Абрамцево с радостью — осматривал посаженные деревца — особенно его интересовал найденный где-то Татьяной "Мичуринский виноград". И даже сам посадил американский орех — он и сейчас растет у них в саду. Школы поблизости не было: дети, а потом и внуки, ходили пешком в Хотьково — 4 км туда, 4 км обратно. Не так легко идти по утрам в темноте, иногда в дождь, иногда утопая в свежем снегу... Но ничего, ходили...

Дел у Татьяны в Абрамцево было много. Осенью, весной она возилась в саду; зимой расчищала от снега дорожки, круглые сутки топила антрацитом печь. Вставала чуть свет, будила детей, отправляла в школу. Но всегда у нее находилось время и для прогулок со своей любимой собакой Мартой. А по воскресеньям Леонтовичи вдвоем уходили в дальние прогулки по абрамцевским лесам — зимой на лыжах, осенью пешком.

А воскресными вечерами к ним собирались из поселка веселые молодые физики — Абрикосовы, Хайкины, Боровики, приезжали и мы с детьми. На участке между двумя дубами была протянута волейбольная сетка и начиналась азартная игра — голос Татьяны, то восторженный, то негодующий был

слышен издали: тут уж попадало от нее и самому Леонтовичу, который совершенно не признавал передачи, а всегда преспокойно с любого места отправлял мяч на ту сторону. Но как ни хорошо было в Абрамцеве, ранней весной Татьяна забирала детей и уезжала в Кремешню.

У Татьяны в Абрамцеве появилась новая приятельница — старая художница Ю.А. Дивильковская. Один раз я приехала к ним, и Леонтович встретил меня в очень веселом настроении.

— А у нас новость! — он помахал передо мной какой-то бумажкой, — из Андрея (младшего сына) хотят сделать художника. Ты только посмотри на этот шедевр! — он показал бумажку, где был нарисован круг и четыре торчащих из круга палочки, — Это ему сказали нарисовать кота!! Ведь правда, "здесь что-то есть"... Голова и из головы торчат четыре ноги! Может, здесь есть какая-нибудь философская идея?? У него, несомненно, большая будущность! — он очень веселился.

— А я и не думаю, что он может стать художником, — сказала Татьяна, — я просто хочу, чтобы он стал рисовать как рисуют шестилетние дети.

Как ни странно, Андрей действительно в самом скором времени стал рисовать вполне нормально для своего возраста; а вот младшая дочь стала, можно сказать, настоящей художницей. Но я уверена, что тогда Татьяна и не мечтала об этом; она просто хотела дать возможность подработать старой художнице, которая очень нуждалась.

Леонтовичи уже давно стали раздавать деньги — жили они сами более чем скромно, а доходы в семье все возрастали. Кто только не брал у них денег займы — и мы брали, конечно, но особенно много занимал Игорь Евгеньевич. У него всегда до войны не хватало денег (помню, как в августе 41-го года он забежал к нам вечером до очередной бомбежки и радостно сообщил: "А вы слышали, Леонтович, по случаю войны, аннулировал все долги! И, знаете, я никогда даже не подозревал, что долги весят так много, я теперь стал совсем невесомый!" — и он даже подпрыгнул). Давали они деньги и без всякой надежды на возврат — придет в Кремешню какая-нибудь баба из соседней деревни и начнет умолять: "Татьяна Петровна, помоги Христа ради, на корову не хватает, я ведь не как-нибудь, я отдам!" — Татьяна дает. Помогали людям, попавшим в беду и по крупному. Но раздавали и просто так, потому что им нравилось раздавать.

Я помню, один раз я видела, как Леонтович собирался идти в институт; он вынул из ящика стола пачку денег и стал их рассовывать по карманам.

— Зачем тебе столько денег? — изумилась я, — ведь ты же никогда ничего не покупаешь?

— Он любит, чтобы у него в кармане были большие деньги, — с доброй улыбкой сказала Татьяна.

— Любит!! Они мне просто необходимы! — веско сказал Леонтович и обратился ко мне: — Ты понимаешь, стоит мне только выйти в коридор, как ко мне присоединится какой-нибудь молодой человек и начнет уверять, что

ему совершенно необходимо задать какой-то вопрос по науке. И вот он мне задает какой-то самый дурацкий вопрос; но я то по его глазам вижу, что ему нужно совсем не то и спрашиваю: "Сколько?" Тут он, конечно, краснеет, начинает бормотать: "Я отдам, в следующем месяце непременно отдам!" — а я вынимаю деньги, приятно улыбаюсь, и говорю: "Помогать проезжающим наша первейшая обязанность!!"

Наш Игорь Евгеньевич⁷



И.Е. ТАММ в походе и в гостях у Парийских, 60-ые годы

Когда кто-нибудь при мне называл Игоря Евгеньевича своим учителем, у меня всегда возникало внутреннее сопротивление: Игорь Евгеньевич учитель, наставник? Нет, эти понятия к нему не подходили. Я знала Игоря Евгеньевича сорок пять лет, из них двадцать пять я работала в его Отделе. И сейчас, когда я просматриваю в памяти всю бесконечную ленту своих воспоминаний о наших совместных с ним путешествиях, веселых майских лодочных походах, бесчисленных воскресных прогулок с обязательным волейболом в лесу под деревьями и в дождь, и в грязь и даже в снег — и свою работу в ФИАНе — я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы он кого-нибудь наставлял, поучал. Он мог спорить, кипятиться, возмущаться, протестовать, но он никогда не пользовался ни своим старшинством, ни своим положением.

А вот учиться сам И.Е. всегда был готов. Учился по крупному у своих учеников — услышал доклад Володи Файнберга о новой формулировке квантовой электродинамики Фейнмана — пришел в восторг, призывал всех овладеть этой методикой и сам первый сдавал Файнбергу зачет по всей форме. С тем же пылом он был готов учиться и по мелочам: чему-нибудь и у кого-нибудь. Увидел на лыжной прогулке, что встречный мальчишка подпрыгнул на лыжах и перевернулся на 180°, и вот он уже загорелся — прыгает, прыгает... Учится стоять на голове (в шестьдесят лет!), прыгает через канавы с водой...

Я вспоминаю наше первое совместное с И.Е. путешествие на Алтай в 1926 году. Это путешествие И.Е. называл своим боевым крещением — именно

⁷ Опубликовано в сб. "Воспоминания о И.Е. Тамме", М.: Физматлит, 1995, С. 230-235.

здесь, на леднике Белухи, он на всю жизнь "заболел горами". Читайте подробнейший путевой дневник, который Н.Н. Парийский вел на Алтае — и передо мной встает не только Алтай того времени — дремучий край казачьих станиц, кержацких заимок, киргизов-кочевников с их огромными стадами овец на горах, но и живой И.Е.

Молодой? Вот этого я как-то не вижу. Мне кажется, что попади И.Е. в такие же условия через десять, через тридцать лет — он был бы таким же. Все люди меняются со временем, иногда меняются неузнаваемо. Но И.Е. удалось сохранить единый образ на всю жизнь. При подготовке к семидесятилетнему юбилею И.Е. мне приходилось обращаться к десяткам людей с самыми разнообразными и, вероятно, иногда для них неожиданными просьбами. И я была тогда изумлена, что ни разу не встретила отказа. Обычно был один, до удивления стереотипный ответ:

— Для И.Е.? Какой может быть разговор?! Конечно, я сделаю все что могу!

Я как-то задумалась — чем же все-таки вызвал И.Е. к себе такое отношение? Он как-то сказал нам:

— Старички бывают двух родов — одни замыкаются в себе, а другие расплываются во все стороны. Я принадлежу ко второму роду.

Но это было неверно — неверно потому, что И.Е. вообще никогда не стал "старичком" — он сохранил свою молодость до конца жизни, и мне кажется, что именно этим своим свойством он привлекал сердца людей.

Он удивительно легко и весело мог отдыхать (а ведь эта черта совсем не так часто встречается сейчас даже среди молодых ученых). С пылом и жаром отдавался всяким играм: играл в шахматы, в "словобой", в "литературные типы". Но больше всего он любил шарады. Шарадные действия у нас расцвели особенно пышно, когда подросли и стали студентами наши дети. В них участвовали уже два поколения. И.Е. никогда не занимался постановкой, режиссурой, хотя не отказывался и сам играть, когда это было необходимо; но больше всего он любил быть зрителем, и зрителем он был восторженным, и это его качество воодушевляло артистов. А у нас среди молодежи были настоящие артисты: у меня перед глазами и сейчас стоит нахальный беспризорник в вагоне поезда, которого изобразил Женя Тамм.

Я помню, как мы ехали в машине, и И.Е. с увлечением говорил Г.С. Ландсбергу:

— Я не променяю ни один театр на эти шарадные зрелища. Ведь, понимаете, дается только наметка действия, а дальше идет живейшая импровизация! Ведь это же настоящая "Comedia del Arte!" Приходите, Вам обязательно надо это посмотреть!

В наше время, когда многие научные работники стараются как-то изолировать себя от "излишней информации", И.Е. был всегда открыт для всего; все новое его привлекало до самых последних дней его жизни. Все одержимые какими-то идеями люди шли к нему и находили у него живейший отклик. Кто

только не приходил к нему и чего только ему не рассказывали (а он потом, обыкновенно, рассказывал это нам во время воскресных прогулок — он всегда приходил набитый битком всякими новостями). Это были рассказы и о "снежном человеке", и о телепатии, и о пещерах с сокровищами, и о курганах в лесах вокруг его дачи, которые было совершенно необходимо раскапывать. Но были у него увлечения и серьезные, которым он, отвлекаясь от своей работы, отдавал и время, и силы. Это была биология, биофизика, генетика, которой он помогал всем чем возможно, и чем было невозможно — даже готов был драться за нее в самом буквальном смысле этого слова. Ведь это он первый, при огромном стечении народа — и физиков, и биологов — в Институте Физпроблем докладывал об открытии Уотсоном и Криком двойной спирали ДНК...

Наталья Васильевна как-то сказала мне:

— И.Е. был, есть и будет моим самым тяжелым ребенком!

И я хорошо понимаю ее. Как он страшно падал на лыжах с гор; один раз грохнулся спиной на какой-то пень, и у него образовалась огромная гематома; в другой раз рассек себе бровь, глаз распух, кровь лила, а он во что бы то ни стало хотел еще раз съехать с этой "ерундовой горки" — прямо силой мы увели его домой. Совершенно не умея слаломить, ездил в Бакуриани и потом смеялся и говорил нам жалобно:

— Посмотрите, я стал совсем асимметричным — мне так много приходилось падать на этот бок, а на другой я не умею!

Природа не одарила И.Е. особыми физическими данными — был он и не особенно силен, и не особенно ловок. То, что доставалось другим с легкостью, требовало от него и большой силы воли, и настойчивости, и смелости. Он не умел и не хотел рассчитывать свои силы. Жил на пределе, а иногда и выше предела своих сил (как, например, я уверена, это было при тяжелых альпинистских восхождениях).

А как он работал! Я вычисляла для него, когда он занимался разработкой своей изобарной теории, и мне часто приходилось к нему приходиться, потому что он всегда работал дома. Придешь, кабинет его полон дыма — он не успевает проветриться. Наталья Васильевна жалуется; работает до рассвета, курит, кашляет, встает в десять и опять работает — и так каждый день. Ничего невозможно сделать.

Огромный стол завален грудой бумаг, исписанных его характерным острым высоким почерком. Но грудой она кажется только на самый первый взгляд — на самом деле бумаги разложены по всему столу в виде какого-то грандиозного пасьянса. Он никогда не ищет нужного ему листа — он всегда знает, где что лежит. Счет у меня тогда был безумным — ведь электронных машин тогда не было, считали на "Мерседесах". Нужно было подыскать четыре параметра, а для каждой точки нужно было просчитать формулу протяжением (без преувеличения) на семи страницах. А точки эти должны были лежать на экспериментальной кривой резонансного рассеяния пионов. Вот приходишь к

нему — какая-нибудь точка выскакивает, не успела я над ней подработать — он смотрит на меня вопросительно:

— Может можно немножко подвинуть, а?

Он не дает никаких советов, он уважает в своих сотрудниках самостоятельность — он просто просит. Но меня просить не надо — я и так стала фанатиком, ведь это заразительно. И изобарная теория была в конце концов разработана, напечатана, доложена на международном симпозиуме. А в последние годы он хотел найти непротиворечивую квантовую теорию поля. Он сам называл эту работу "лотереей с ничтожным шансом на успех", работал над ней до последних дней своей жизни, исписывал груды бумаги — и все без ожидаемого выхода.

Мне передавали, что врачи, которые ему делали последнюю операцию, были совершенно поражены, когда он на другой же день стал требовать возможности работать. Они говорили, что даже самые здоровые психически люди обычно впадали в тяжелую депрессию после этой операции... А он шутил, когда мы приходили его навещать.

Я говорила здесь "о молодости" и "юношеском пыле", которым отличался характер И.Е. Но это совершенно не значило, что в его манере держаться было что-нибудь ребяческое. Он был превосходно воспитанным человеком (и недаром, как говорят, имел большой успех во дворе шведской королевы, когда получал Нобелевскую премию!). Мои ровесники-физики всегда за глаза называли его Игорем. Но только за глаза; как-то все чувствовали, что он не любил панибратства. Я даже не могу припомнить, был ли он с кем-нибудь на ты. А вот хамства он не выносил. Я сама видела, как он сумел справиться с юнцом в сером костюмчике, который, развалясь в кресле, предложил ему расписаться на какой-то бумаге. Он остановился перед ним и тихим (тихим!) голосом сказал:

— Встать, когда вы говорите со старшим!!!

И этот юнец буквально взвился! А И.Е. прошел мимо него и закрыл дверь. Это было великолепно.

Но этот последний эпизод был уже давно, в последние годы пребывания нашего Отдела на Миуссах. Мне же хочется еще рассказать о том времени, когда мы переехали в новое здание и заняли несколько комнат на верхних этажах и лестницу за библиотекой; когда в Отдел была принята целая группа молодых физиков, которые теперь представляют костяк Теоротдела. В это время, когда все другие Отделы и Лаборатории беспрерывно расширялись и разрастались, наш Отдел практически не рос — я думаю, это было и желанием И.Е. — только аспирантов и прикомандированных становилась все больше, и они толпились по коридорам и по лестницам.

У нас сейчас бытует некий, так сказать, образ "хорошего руководителя-начальника"; он прекрасно знает всех своих подчиненных, входит в их заботы, помогает им, опекает их, дает советы, следит за ними. Нет, И.Е. отнюдь не был таким идеальным руководителем. Организационная стихия была ему во-

обще, по моему, совершенно чужда. Конечно, он обсуждал самые важные вопросы, возникавшие в Отделе со своими ближайшими товарищами по руководству; но вряд ли он особенно был осведомлен о том, в каком положении была работа у каждого сотрудника. Да и сотрудники его были совершенно самостоятельными и ценящими свою самостоятельность людьми. Конечно, если бы кто-нибудь обратился к нему за советом, то он бы охотно ему помог, но, по моим многолетним наблюдениям, к нему редко подходили с какими-нибудь вопросами. Слишком все ценили его время и его работу. Но вот если кто-нибудь узнавал что-нибудь новенькое по науке — все равно из какой области — вот тут уж бежали к нему поскорее рассказать, зная, как радостно он встречает всякую новость.

Да, он не был "настоящим идеальным руководителем", но его честность, бескомпромиссность в важных делах, его самоотверженная, а в конце жизни по настоящему героическая работоспособность — сделали его честью и совестью Теоретдела, его душой. Нам, знавшим его много лет, забыть это невозможно, — но хотелось бы как-нибудь передать эти чувства тем молодым товарищам, которым не довелось с ним работать.

Он всегда будет самим собой⁸

Андрей Сахаров появился у нас в начале 45-го года. Его привел к нам в теоретический отдел ФИАНа Игорь Евгеньевич Тамм. Я уже слышала о нем, и мне было интересно на него посмотреть. Он был высокий, слегка картавящий, очень молодой, в зеленом военного образца костюме; негустые светлые волосы, широкий лоб, серые внимательные глаза... Мягкая улыбка почти не сходила с его лица. Он мне понравился, но меня сразу удивило во всем его облике какое-то несоответствие, какая-то дисгармония, что ли. Я вскоре поняла: его юный вид и детски доверчивая улыбка уж очень не вязались с его медлительной, даже солидной манерой двигаться и держаться. Виталий Лазаревич Гинзбург рядом с ним, порывистый и стремительный, казался совсем мальчишкой.

— Потрясающе талантлив, — сказал мне Игорь Евгеньевич, — и вы представьте, Дмитрий Иванович (его отец, известный, всеми уважаемый физик-педагог) говорил мне про сына: "Я только одно могу сказать про него — он очень любит науку".

Игорь Евгеньевич мне рассказал, что Сахаров кончил МГУ, блестяще кончил и сразу был отправлен на военный завод. Там он вскоре сделал несколько изобретений, и Игорь Евгеньевич с великим трудом перетащил его к себе... Он приехал сюда с женой и ребенком, и ему совершенно негде жить. Квартиру у родителей разбомбило, они сами ютились в маленькой комнатенке.

При моем не слишком удачном посредничестве он снял комнату на даче под Москвой. Зима была суровая, в комнате было сыро и холодно, девочка серьезно заболела почками. Он очень переживал ее болезнь. Но, кажется, его окончательно сразил запрет врача ходить ребенку босиком.

— Вы подумайте, — сказал он мне с детским ужасом, — как же ей летом жить? Всегда в обуви, не бегать утром по росе, по лужам... Вот тут-то я и подумала, что он и сам-то еще не взрослый человек. Девочка ведь действительно была серьезно больна.

Мне сразу показалось, что Сахаров чем-то отличается не только от своих товарищей, но и вообще от всех людей, которых я знала. Впервые я это обнаружила, когда услышав от кого-то, что у него есть брат, задала ему довольно глупый вопрос:

— А что, ваш брат способный?

Мне сразу стало совестно, но он посмотрел на меня и спокойно ответил:

— Не такой способный, как я.

Эту фразу нельзя читать, ее нужно было услышать. Он просто сказал то, что было на самом деле. И я поняла, что он обладал редким умением серьезно и естественно всегда говорить то, что думает. Он был предельно искренним человеком. Некоторых это просто сражало.

⁸ Опубликовано в сб. "Воспоминания о А.Д. Сахарове", М.: Практика, 1995, С. 467-478.

Я помню, к нам как-то ввалился грузный пожилой мужчина, зав. аспирантурой, кажется, и сразу очень агрессивно накинулся на Сахарова, говоря, что он совершенно не посещает философский семинар. Сахаров поднялся и сказал ему очень тихо и вежливо:

— Видите ли, в чем дело, — я не хожу на семинар, потому что меня совершенно не интересует философия.

Трудно описать, что сделалось с этим человеком — ведь это были сталинские времена: вся его амбиция мгновенно исчезла, он поднял кверху ладони и, пятясь задом, как-то выполз из комнаты. Он молчал, но вся его фигура кричала: "Свят, свят, свят..." Это было ужасно смешно, но Сахаров не засмеялся, даже не улыбнулся ему вслед. Он раздумывал. Потом повернулся ко мне и сказал:

— Вот если бы в ФИАНе был какой-нибудь хороший руководитель по международной политике, я бы, пожалуй, стал ходить. Но ведь его нет, — и он принял за работу.

Среди своих товарищей Сахаров сразу и без всяких усилий с его стороны стал признанным авторитетом. Обычно он не участвовал в дискуссиях у доски; сидел у окна и читал журналы. Но иногда эти споры привлекали его внимание, он вставал, брал мел в правую или левую руку (это было ему безразлично) и начинал писать. Все сразу смолкали, даже Рабинович обрывался на полуслове... И для всех нас, более старших товарищей, он сразу и на все времена стал Андреем Дмитриевичем.

Шла последняя военная зима. Наладилась работа в лабораториях. Женщины разводили уют — кое-где на окнах вместо надоевших синих бумажных штор затемнения появились настоящие гардины. А мы по-прежнему ютились в одной комнате; каждый день на работу утром приходила только я, другие появлялись эпизодически, приходили, уходили — сидеть было негде.

К осени институт заметно помолодел и оживился, вернулась с фронта молодежь, повеселели женщины. Сколько возможно убрались в помещениях: выбросили всякую рухлядь и ящики, соскребли многолетнюю грязь с паркета, сбросили всем осточертевшие шторы, вымыли окна. Светло и просторно стало в лабораториях. Глядеть на это было и приятно, и завидно — мы-то все так же ютились в своей тесной комнатухе. Вскоре пошли слухи, что собираются праздновать 220-летие Физического института. Мол, ассигнованы большие средства, чтобы привести в порядок здание, купить мебель; что будут иностранцы (и даже роскошный банкет!)... Хотя теоретдел был в явной немилости, но все же начальство прекрасно понимало, что если придут иностранцы, то кому же, кроме Игоря Евгеньевича, их принимать?..

Дня за два до праздника была назначена генеральная уборка. Целый день в столовой грели баки с горячей водой. Женщины в рваных халатах, в калошах на босу ногу, мужчины в драных куртках терли, мыли, скребли окна и двери. Полы коридоров, ставшие черными от пятилетней грязи, скребли ножами и щетками, ползая на коленках... А мы с Сахаровым начали мыть окно в коридоре около конференц-зала. Окно было высоченное, но Сахаров, встав

на подоконник, дотягивался до верха. Стекла были покрыты такой заматерелой грязью, что никто не решался к окну подступиться. Но Сахаров взялся: работал не спеша, методично и основательно — сначала тер стекла мочалкой с мылом, потом смывал одной водой, другой, третьей. Я еле успевала бегать по лестницам и подносить ему ведра с чистой водой. Иногда он слезал с подоконника, отходил назад и, как художник, осматривал издали свою работу то с одной стороны, то с другой.

Около часу мимо нас прошел Сергей Иванович Вавилов в безукоризненно сидящем костюме, с безукоризненным прямым пробором на черных седеющих волосах. Он посмотрел на нас, потом приоткрыл дверь в конференц-зал. Бог мой, что там творилось! По едва просохшему от мастики паркету прыгали, плясали фиановцы, кто босой, кто в рваных носках. С одной ногой, обернутой в обрывки суконной занавески, они, сталкиваясь друг с другом, плясали, скакали, растирая пол. Женщины в платках и старых халатах бегом таскали стулья в конец зала, где паркет был уже натерт. Шум стоял страшный. Два старых полотера, солидно натирающие пол, с изумлением поглядывали на этот бесноватый народ. А я им позавидовала — весело работали люди!

Сергей Иванович тихо прикрыл дверь и вернулся в коридор. Остановился около нас и вдруг спросил:

— Это вы — Сахаров?

Сахаров стоял на подоконнике и протирал верхнее стекло. Он повернулся к Вавилову и спокойно ответил:

— Да, я Сахаров.

Какое-то мгновение они стояли и смотрели друг на друга — одинаково невозмутимые и спокойные. Потом Вавилов повернулся и ушел к себе.

Было начало второго, когда мы кончили свою работу. Окно так сверкало своей первозданной чистотой, что пробегающие мимо фиановцы останавливались и произносили что-нибудь вроде: "Ну и ну!", "Вот это да!" и т. п. Сахаров тоже был доволен и все не мог оторваться от созерцания своего труда. Потом удовлетворенно сказал:

— Вот я и научился мыть окна — может, пригодится в жизни.

А мне не терпелось посмотреть, что делается в нашем Отделе — может, ребята уже привезли мебель? В коридорах — никого. Но за дверями лабораторий слышалась веселая возня и смех. Должно быть, в эти последние полчаса весь ФИАН торопился преобразиться к празднику. Я взглянула на Сахарова, который в черном халате задумчиво вышагивал рядом со мной, и с удовольствием подумала: а вот этому человеку совершенно все равно, как он одет — он всегда будет самим собой.

Помню первый аспирантский экзамен Сахарова. Обычно аспиранту у нас задавалась какая-нибудь тема, и он делал доклад. Проходили эти экзамены как правило в конференц-зале. Я сидела, как всегда, в кабинете и работала. Вдруг я услышала какие-то голоса в коридоре, дверь распахнулась, и вошли совершенно запаренный Игорь Евгеньевич и какой-то растерянный Евгений

Львович Фейнберг. Они плюхнулись на диван и посмотрели друг на друга.

— Вы что-нибудь поняли? — спросил Игорь Евгеньевич.

— Я... Знаете... Я что-то совершенно ничего не мог понять... — он был, по-моему, этим как-то убит. Они посмотрели друг на друга.

— Все-таки мы правильно сделали, что поставили ему четверку. Нельзя же было за это ставить пятерку, — сказал Игорь Евгеньевич.

— Конечно, как это ни неприятно. Странно...

Но в тот же вечер Сахаров пришел к Тамму домой и объяснил ему, что он был прав, а экзаменаторы нет. Но четверка, конечно, так и осталась, это уже никого не интересовало.

Время шло, и ФИАН понемногу менялся. Были заделаны пробоины в чугунной ограде; давно исчезла дощатая будка у ворот, появилась солидная проходная. Хмурый вахтер равнодушно проверял по утрам наши пропуска. Вместо старичка повара в деревянном флигеле на дворе появилась литерная столовая, где раздавали обеды по специальным талонам. Время было еще голодное, и все были очень рады этому дополнительному питанию.

Помдиректора по хозкадрам жил в прескверных двух комнатах в старом доме с коридорной системой. Он получил для себя с семьей новую квартиру, и одну из освободившихся комнат под большим давлением Игоря Евгеньевича отдали Сахарову. Сахаров просто сиял:

— Общий санузел и кухня на весь коридор, грязь — это такая ерунда, — говорил он, — главное — сухо и тепло.

И он широко улыбался. Кроме того, не надо было мерзнуть в электричке, и материально стало легче — дача стоила дорого.

Иногда мы ходили с ним вместе обедать. Но компаньон он был плохой: он так медленно и вдумчиво жевал свой обед, что приходилось оставлять его одного. Занимать место там долго было неудобно — столовая была переполнена.

Время бежало быстро. Как-то незаметно прошли экзамены у Сахарова, защита диссертации, и он стал нашим сотрудником. Он часто пропадал надолго, работал дома над какой-то очень серьезной темой, которая сильно заботила наше руководство. Каждый из них, входя в комнату, всегда спрашивал:

— А Сахаров не приходил?

Когда он появлялся, его тут же обступали, расспрашивали, что-то серьезно обсуждали у доски. Молодежь в этих обсуждениях участия не принимала.

Вообще скоро все у нас в Отделе изменилось. Кончилась наша безмятежная жизнь, кончились веселые истории на диване. Молодежь выселили в какой-то закуток за стеклянной перегородкой в коридоре. Наше начальство озабоченно вполголоса совещалось то на диване, то у доски. Что у нас делается, я не знала: мне не говорили, а я не спрашивала. По институту носились слухи, что у нас появился какой-то таинственный генерал (Генерал? Почему генерал? Война кончилась, а у нас генерал). Мне принесли заполнить какую-то длинную анкету.

Пока я все еще работала над старой работой Игоря Евгеньевича, но иногда меня просили сделать какие-то срочные подсчеты, стояли рядом, дожидались. Приходил Сахаров, его обступали, что-то спрашивали, куда-то уезжали с ним. Иногда приходили какие-то незнакомцы, и тогда я уходила к аспирантам. Наша молодежь почти не заходила к нам. Наверное, чувствовала, что начальству сейчас не до нее, а может, и опасалась заходить.

Я как-то увидела сцену, которая меня просто сразила. Один из аспирантов, наверное, все позабыв, распахнул дверь и весело закричал:

— Игорь Евгеньевич, знаете... — и сразу осекся (всего вернее, он узнал что-то интересное и бежал это сообщить поскорее Игорю Евгеньевичу). Игорь Евгеньевич стоял у доски с Сахаровым. Он повернулся и медленно отчеканил:

— Мы заняты.

Меня сразили не эти слова. Я знала Игоря Евгеньевича не один десяток лет. Я знала, что в конце летних путешествий, когда ему уже все надоест, он мог и вспылить, и накричать (но, бог мой, сколько он потом извинялся). Меня сразил его тон — сухой, жесткий и властный. Аспиранта как ветром сдуло, я даже не успела заметить, кто это был...

Да, изменился наш Отдел. Даже наша старая школьная доска, всегда исчерченная вкривь и вкось, вдоль и поперек всякими формулами (стирать было лень!), теперь всегда была тщательно вытерта.

Сахарова все чаще куда-то требовали. Прибегала запыхавшаяся секретарша:

— Сахарова к директору!

— Сахарова на провод, скорее, скорее!!

Приходил какой-то невзрачный человек, докладывал: "Машина для Сахарова!" Он стоял у дверей и переминался с ноги на ногу, но торопиться боялся. А Сахаров, как всегда не спеша, методично засовывал свои бумаги в старую сумку, вежливо прощался с нами и уходил.

Я чувствовала, что какой-то мощный водоворот затягивает Сахарова, а с ним вместе и наш Отдел... Он был как будто все такой же, как и раньше. Все в том же, теперь уже выцветшем защитного цвета костюме, который он привез с военного завода. Все та же у него была детская, доверчивая улыбка, только улыбался он гораздо реже. И вообще был очень задумчивый. Нет, пожалуй, не задумчивый, а какой-то отрешенный. Встанет у окна и стоит молча, долго и совершенно неподвижно. Его тогда не трогали. А потом сожмет глаза и с силой проведет ладонью от виска вниз, как будто стирает с себя что-то. Жест совершенно не свойственный его невозмутимой, спокойной натуре... Мне иногда казалось, что он смертельно устал, что его надо прогнать в какое-нибудь тихое место, и он будет спать беспробудно 10–15 часов. Но обычно он очнется, прислушается, о чем говорят, возьмет мел левой или правой рукой и начнет писать формулы своим детским почерком. И его внимательно, не прерывая, слушает наше начальство, как слушали совсем недавно его товарищи-аспиранты.

Как-то я сидела одна в комнате и работала. Вдруг вошел Игорь Евгеньевич и уселся молча на диван. Это было как-то совсем необычно — видеть молчащего Игоря Евгеньевича... Я перестала считать и посмотрела на него.

— Андрею Дмитричу квартиру дали, — вдруг сказал Игорь Евгеньевич.

— Да? — сказала я. Он помолчал.

— Как бы мы этому радовались раньше, верно?

— Очень бы радовались, — сказала я. И подумала: "Как странно я говорю. Что, а теперь я, что ли, не радуюсь? Да нет, и теперь, конечно, радуюсь, но как-то не так..." Над головами глухо, вразнобой стучали молотки. Это срочно, в три смены, надстраивался этаж, туда переедем мы и таинственный генерал.

— А правда, ведь хорошо мы здесь жили... — сказал Игорь Евгеньевич.

— Да, — сказала я, — очень хорошо жили.

Игорь Евгеньевич вздохнул и медленно пошел к двери. Это было так необычно, ведь Игорь Евгеньевич всегда трусцой вбегал и выбегал из комнаты, что я внимательно посмотрела ему вслед: белые пушистые волосы, слегка сутулая спина — это все было давно знакомо. Но вот эта какая-то старческая, шаркающая походка: неужели Игорь Евгеньевич стареет? Это казалось невероятным, невозможным. Нет, решила я, это просто он почувствовал всю тяжесть того, что на него навалилось...

Прошло немного времени, и наш закрытый филиал Георотдела переехал в 4-ый надстроенный этаж. По архитектурным соображениям окна пришлось высоко поднять, и от внешнего мира нам осталось только голубое небо. У наших дверей всегда сидели телохранители, которым нужно было непрерывно показывать пропуск и туда, и обратно. Это были спокойные доброжелательные молодые люди — фронтовики. Один из них усердно занимался — готовился поступать на юридический факультет университета.

Нас было немного: Игорь Евгеньевич, Виталий Лазаревич, Сахаров, несколько молодых физиков и нас — двое вычислителей, сидящих в отдельной комнате. Нам привезли новые немецкие машины "мерседес". Это были хорошие машины, работать на них было удобно, только шум от них стоял изрядный. Сахаров сразу же заявил, что будет иметь дело только со мной и просит остальных меня не занимать. Молодежь работала на своих местах постоянно, Сахарова все куда-то увозили. Игорь Евгеньевич бывал редко и был какой-то хмурый и озабоченный — он обычно сразу созывал своих научных сотрудников на обсуждение работы.

Сахаров работал все так же иступленно. Мне казалось часто, что он смертельно устал: то ли он еще работает ночью, то ли плохо спит. Однажды он пришел поздно. Я сразу зашла к нему с работой. Но он посмотрел на меня такими опустошенными глазами, что я только спросила: "Что с Вами?" Он помолчал. И вдруг стиснул с силой голову обеими руками и прошептал: "Вы же не понимаете!! Это ужас, ужас! Что я делаю!?" — и потом сказал совсем тихо: "Вы знаете, у меня внутренняя истерика. Я ничего не могу..." Вот тут я сказала ему: "Идите сейчас же домой и ложитесь спать. Уходите!" Он по-

думал, согласился и ушел. Пришел на другой день, сказал мне с торжеством: "Вы знаете, а я проспал 13 часов подряд..."

Вспоминая сейчас многие месяцы тесного общения с Сахаровым, я удивляюсь, что совершенно не могу вспомнить его за столом, заполняющего листы бесконечными выкладками, как это делают почти все теоретики. У Игоря Евгеньевича, например, весь громадный стол был покрыт веерами листов с вычислениями. Его товарищи заполняли формулами одну конторскую книгу за другой. Он же вряд ли заполнил половину своей тетради. Я его помню сидящим на диване, окруженным молодыми людьми и что-то им объясняющим или пишущим им на доске. Но главное, что я помню — как он думал: или стоя у окна, или около меня на кресле, или прохаживаясь по коридору.

Много лет подряд по ФИАНу ходила история, которая была рассказана секретаршей нашего знаменитого зам. директора по общим вопросам М.Г. Кривоносова. В те далекие времена он только что появился у нас в Институте. Мы его называли "маленький Хрущ". В нем было достаточно набито и плохого, и хорошего, но подойти к научным работникам он никак не мог. Он считал, что все решает железная дисциплина — сиди на своем месте и работай, не разговаривай, не ходи из комнаты в комнату. А его подопечные были непослушные, он злился, и они на него злились. Зато уборщицы его обожали: он всякими правдами и неправдами доставал места в ясли и детские сады, доставал даже жилплощадь. Нас Кривоносов совершенно не касался — над нами был "таинственный генерал" (которого мы так и не увидели ни разу). Но все-таки для порядка заглядывал в наш пустынный коридор и видел там гуляющего Сахарова.

Вот его рассказ секретарше Института много лет спустя: "Вы понимаете, захожу я к ним в коридор и вижу: гуляет человек по коридору. Один раз вижу, другой раз вижу. Говорю ему: "А что Вы здесь делаете, молодой человек?" А он посмотрел на меня так серьезно и отвечает: "А я работаю". И вот, подумайте — Сахаров получился!"

Молодой физик Володя Ритус, который работал с ним на объекте, а затем перешел к нам в Теоротдел, рассказывал потом: "Хотя Сахаров на объекте не занимал высоких административных постов, но мы все, теоретики, считали его нашим главным руководителем, даже не руководителем, а настоящим богом физики. Нас поражало, что он всегда знал наперед, что у кого должно получиться. И если у нас не получалось нужного ответа, он брал наши расчеты и прямо указывал: "Вот здесь у вас ошибка, разберитесь".

Один раз мы обсуждали нашу работу и наткнулись на вопрос, который следовало решить. Вскоре он отключился от обсуждения, подошел к окну, постоял там и потом сказал: "Я решил эту задачу. Вот что получается", — и написал на доске решение. Может быть, эта способность делать в голове сложнейшие выкладки и мешала ему когда-то писать статьи "доступные для дураков", как его просил Игорь Евгеньевич.

Когда наша жизнь как-то утряслась — все вдруг порвалось. Совершенно

неожиданно для меня И.Е. объявил мне, что через неделю он с Сахаровым переезжает на объект. Работали мы после их отъезда так же напряженно, но жизнь без этих двух людей стала у нас серая. Но время шло. Я не физик, я совершенно ничего не понимаю в той работе, в которой участвую. Но у меня начало создаваться впечатление, что работа вошла в стадию разработки, когда он мог уже сдвинуться с лидирующего положения — включилось в работу много крупных людей, да и не только людей, а целых институтов и учреждений. И Сахарову стало полегче и поспокойнее. Работа как работа!

За это время я уверилась в том, что он был очень одинокий человек. Со своими сверстниками он не сходил. Пожалуй, в это время он больше всего общался со мной. В редкие минуты отдыха мы сидели на диване и разговаривали. Что было у нас общего? Очень трудно сказать: он был весь в науке; музыка, театры, искусство, литература — все было от него далеко. А вот люди его интересовали, и меня тоже. Сам он был немногословен. Иногда говорил, улыбаясь, несколько слов о дочке, редко говорил об отце: я поняла, что он горячо его любил и, наверное, очень страдал, что видит его редко... Сахарову очень нравился Игорь Евгеньевич, и он с удовольствием слушал о нем мои рассказы.

Совершенно неожиданным для меня оказалось то, что Андрей Дмитриевич очень любил и ценил всякую хохму. Под Новый год я быстренько нарисовала на большом листе картона стенгазету "Использование тягловой силы в Т. О." Там я изобразила себя в виде лохматой скачущей лошади, на которой с полным комфортом восседал Сахаров, а рядом бежали наши молодые люди, один схватился за хвост, другой — за стремя. Сахарову очень понравилась эта картинка — он сейчас же схватил карандаш и стал подрисовывать. Там был, например, изображен один наш, хоть и талантливый, но на редкость невоспитанный и развязный юноша; любил он сидеть, развалясь, на креслах, задрав ноги повыше (за что получил однажды хорошую взбучку от И.Е.). На картинке он лежал, запрокинувшись на санях, изо всех сил сдерживая борзую лошадь и кричал: "Тпру!! Не туда заехали!" Сахаров сейчас же перед мордой лошади нарисовал стенку. Каждый день, приходя на работу, он сначала подходил к этой несчастной картинке и что-нибудь подрисовывал. Рисовать он совершенно не умел, но чем больше он ее портил, тем она ему больше нравилась. Когда кто-нибудь из больших людей приходил к нам (а к нам приходили только большие люди), он хватал его за рукав, подводил к картинке, заставлял ее хвалить, а сам говорил с гордостью: "Вот какие у нас есть таланты!" Снимать ее не позволял, но я без него сдернула ее и засунула за шкаф.

Восьмого марта он подошел ко мне и на полях моей шнурованной перештампованной тетради стал рисовать горшочек с цветами. Из цветов вылезали какие-то существа, не то жучки, не то человечки. Много лет спустя, когда отмечалось 70-летие Игоря Евгеньевича, он написал в газете целый подвал об Игоре Евгеньевиче и восторженный отзыв о грандиозном капустнике, который мы устроили.

Теор. Отдел ФИАН в 1944–1947 годах⁹

В последний год войны, в самый канун ноябрьских праздников, я поступила вычислителем в Теор. Отдел — к Игорю Евгеньевичу Тамму. Я была с ним знакома много лет и он пригласил меня на праздничный вечер в ФИАН.

Он вел нас с Натальей Васильевной по каким-то незнакомым мне пустынным переулкам и с увлечением рассказывал о своих друзьях-физиках, которых я сейчас увижу. Мы немножко опаздывали и было совсем темно, когда мы подошли к высокой чугунной ограде на Миуссах. Сторож в проходной будке, в рваном полушубке, колдовал у своей печурки и не обратил на нас никакого внимания. По протоптанной по снегу дорожке мы пробрались к темному зданию в глубине сада, открыли массивную дверь. Огромный, совершенно пустой вестибюль утонул во мраке — затемнения на окнах не было, только крохотная лампочка на верхней площадке чуть освещала мутным лиловатым светом широкие ступени. Откуда-то сверху доносился веселый шум и смех. Мы поднялись по лестнице, открыли дверь — и сразу очутились в другом мире. Небольшой уютный конференц-зал был ярко освещен и полон народу. Нас окружили радостные лица, веселая праздничная суматоха — такое все забытое за долгие годы войны...

Меня сразу охватила удивительная дружеская обстановка в зале: сидели по отделам и лабораториям с родными и близкими. Все были хорошо знакомы между собой, вероятно со времен эвакуации в Казани. У меня тоже здесь нашлись знакомые — напротив сидел Блохинцев со своей милой женой Шифрой; за соседним столом сидел Григорий Самуилович Ландсберг, он приветственно помахал мне рукой; подальше я разглядела Мандельштама с женой.

Лабораторные столы, сдвинутые вместе и покрытые бумагой, представляли живописный натюрморт: самая разнообразная посуда — великолепный старинный фарфор, стеклянные банки и жестяные кружки — перемежались с поистине роскошным угощением, салатами, винегретом, картофельными пирогами, какой-то соленой рыбешкой, грибами и, конечно, бутылками с водкой, которые научные работники получали по своим пайкам. Между столами, весело распорядясь, ходила живая черноволосая женщина с удивительно приятной улыбкой.

— Августина Иосифовна — к нам, садитесь к нам! — кричали ей отовсюду.

Шум и смех стоял невероятный — у всех было приподнятое настроение и первый тост, провозглашенный Сергеем Ивановичем Вавиловым, никто у нас даже не расслышал. Зато оглушительное "Ура!" было подхвачено всеми, ведь первый тост, конечно, был за победу! Каждый день гремели победные марши, и, кажется, сам воздух вокруг нас был полон близкой победой...

Все, за нашим столом, стали упрашивать И.Е. быть нашим тамадой: должно быть, и здесь все знали, каким непревзойденным тамадой был Игорь

⁹В несколько другой редакции опубликовано в журнале "Техника-молодежи", 1989, 3 и 4

Тамм — он выдумывал такие замысловатые тосты, что невозможно было до самого конца догадаться, кому он предназначался. Только мы его упросили, как встал Григорий Самуилович Ландсберг и потребовал общего внимания (тут И.Е. подтолкнул меня: "Сейчас он будет рифмовать — пусто, капуста, Августа"). И действительно, в его торжественном спиче была и капуста, и Августа, и этот тост был бурно подхвачен всеми. Очевидно, она была душой всех этих праздников.

Эта Августина Иосифовна Корниенко, с которой я познакомилась позже, была человеком поистине потрясающей энергии. На ней, в сущности, держался в те времена весь ФИАН. Она доставала научное оборудование и материалы, ведала грудями всяких карточек — продовольственных, промтоварных, литературных. Она разыскала где-то старичка-повара, и он со своей старухой умудрялся готовить дополнительные обеды для сотрудников — супы из соленой рыбы, каши из какого-то суфле, оладьи из мороженой картошки. Она организовала поездки на машинах в "глубинку", и оттуда привозили сотрудникам овощи, рыбу, картошку. И несмотря на, так сказать, "утробный интерес" и нервность голодных людей — я не помню ни одного скандала, ни одной обиды. Все знали — если тебе не дали сегодня, обязательно дадут через неделю.

(Забегая вперед, могу сказать, что внезапная смерть С.И. Вавилова, с которым она работала долгие годы, так потрясла ее, что она заболела — и тут же, мгновенно, была уволена. Нет сомнения, что у нее было много недругов среди хозяйственников. Кто мог с ней сравниться? После ее увольнения ее стали замещать не то что несколько человек, а, по-моему, несколько отделов).

На другой день после праздников я пришла на работу. Мне указали, где находится Теоротдел. Это была небольшая комната на верхнем этаже, с одним окном, плиточным полом и такой узкой дверью, что мне сразу пришло в голову, что это помещение предназначалось когда-то под туалетную комнату. В комнате находился маленький шкафчик, несколько расшатанных стульев и больше ничего... Впрочем, на стене еще висела потертая школьная доска, вся исписанная формулами, а в углу валялась тряпка. Я подошла к окну: большой сад, запорошенный снегом, был завален железным ломом, битым кирпичом; массивная чугунная ограда во многих местах проломлена — в общем, невеселая, но обычная для тех времен картина...

В коридоре послышались быстрые шаги, и в комнату ворвался Виталий Лазаревич. Пышные, черные кудри его растрепались, озорные глаза сверкали, он закричал: "О, Вы уже пришли, — прекрасно!" Он сбросил на стул пальто, открыл шкафчик и торжественно вручил мне стареньким арифмометр.

— Вот что я достал, — сказал он с гордостью, потом оглянулся, — стола у нас пока нет. Но ведь это неважно. Можно прекрасно работать на подоконнике — видите, какой он широкий. Игорь Евгеньевич сейчас придёт — у него тьма вычислительной работы.

Виталий Лазаревич схватил под мышку свое пальто и убежал, а я осталась одна. Я спустилась по лестнице на первый этаж — вода была только внизу — вымыла тряпку, вытерла доску. Потом решила пойти в путешествие по ФИАНу разыскать хоть какое-нибудь подобие стола. Удивительное здание построил Лебедев для своего Института — высокие, просторные лаборатории, огромный величественный вестибюль в центре здания с двумя широкими лестницами по сторонам. Сейчас это здание было замызгано и грязно до последней степени, отсюда только недавно выселили заводик радиодеталей, в котором работали в основном подростки. Впрочем, эта грязь никого не могла смутить — люди привыкли ко всему. Самое главное — здание отапливалось.

Коридоры были завалены всяким хламом, ящиками, досками, бумагой — еще не все лаборатории обжились после переезда из Казани. Я заглядывала в лаборатории; в одной грохали молотки, в других монтировали установки, спорили над чертежами. Но во многих лабораториях стояла тишина, мелькали голубые огоньки на приборах. В основном работали женщины и пожилые физики; много было и отвоевавших фронтовиков, наверное, механиков и лаборантов.

Только я подумала — до чего же все-таки мало молодежи! — как мимо меня вихрем промчался худущий длинный молодой человек в старой офицерской шинели нараспашку — полы шинели развевались по всему коридору. Я успела разглядеть только его нос... Это был Прохоров (я вскоре ближе узнала его, когда стала его профоргом, а он был тогда председателем Месткома. Это был изумительный председатель — он умел повернуть профсоюзное собрание за десять минут — никто даже не садился, все стояли и улыбались).

Я спустилась в подвал и среди всякой рухляди и поломанных стульев откопала старенький стол. Паршивенький, конечно, стол, но три ножки у него были совсем целы, а четвертая шаталась. Я зашла в соседнюю мастерскую и попросила молоток и гвозди. Пожилой человек в выцветшей гимнастерке отстранил меня и, прихрамывая, вышел в коридор. Он взвесил в руке молоток и двумя меткими ударами всадил гвоздь — как, наверное, его умелые руки соскучились по мирному труду! Потом помог дотащить стол вверх в нашу комнату. Только я подвинула его к окну и торжественно уселась, как вбежал Игорь Евгеньевич:

— Ого, у нас уже есть стол!! — радостно закричал он, — ну, это просто замечательно!

Он вынул из портфеля листики задания, написанные его характерным, валящимся на бок почерком — и моя работа началась.

В это время сотрудников в Отделе было очень мало. Игорь Евгеньевич — не начальник, а душа Отдела; его зам. — Виталий Лазаревич Гинзбург, блестящий молодой физик (в 24 года был уже доктор), — его голосу и темпераменту было тесновато в нашей комнатке! Затем его друг, Евгений Львович Фейнберг, тоже доктор, но постарше — совершенная противоположность Гинзбургу — это был человек эрудированный не только в физике, вы-

держанный, превосходно воспитанный (М.А. Марков и Д.И. Блохинцев вскоре перешли на другую работу, и о них говорить не буду).

Еще был докторант — Семен Захарович Беленький, кажется, удивительно талантливый человек, к которому Виталий Лазаревич относился с большой нежностью. Когда-то он был, вероятно, совсем черненьким, но рано облысел, и только вокруг головы была черная как смоль бахрома. У него было очень бледное лицо и узкие живые насмешливые глаза. (Вспоминаю, как он защищал докторскую диссертацию — отговорил, уселся в кресло у доски, закинул ногу на ногу, закурил, и, попыхивая папиросой, с насмешливым интересом слушал, как его расхваливают). Я только потом узнала, что он был смертельно болен. Он умер совсем молодым.

В комнате, собственно, работала только я. Но у доски постоянно толпилось много народу — аспиранты из нашего Отдела, молодые экспериментаторы из других лабораторий, приходящие к нашим аспирантам — все знающим теоретикам — за советом. Что они отвечали, я не знаю, но что-то всегда отвечали, я отказов не слышала.

Наши аспиранты — Рабинович, Таксар, Немировский, Кунин — были совершенно разными людьми. Все они толпились, кричали, спорили, писали сразу в разных местах доски. Особенно агрессивным и настырным был Рабинович, так называемый "Муся Рабинович". Он так просто накидывался на своего собеседника, как будто это был его самый заклятый враг. Немировского, с его тоненьким бабьим голоском, совсем не было слышно; он что-то пищал и только отмахивался своими пухлыми ручками; а Таксар только бунчал про себя и обиженно надувал губы. Зато Кунин — вежливый и вкрадчивый — вел себя совсем по-другому. Всегда прекрасно одетый, подтянутый, он подходил к доске и слушал спорящих, всегда только слушал... ("Гигант мысли — Кунин" — как, говорят, прозвал его в Университете Шкловский). Зато несколько лет спустя, когда Игорь Евгеньевич дал ему тему для диссертации, то он дал жизни мне — вычислителю. Куда девались его вкрадчивые манеры? Он стал жестким, придирчивым, он мне не доверял, сидел рядом, все боялся, что я отвлекусь. Когда он заболел, его мать умолила меня приехать к нему, показать свои вычисления. Я поехала. Ко мне вышла его мамаша, роскошная женщина в атласном халате, вынесла мне на кухню чашку чаю со сладкой булочкой:

— Для Петеньки испекла, — сказала она и под села поближе, — а скажите, кто у вас из аспирантов самый талантливый?

Я, не без злорадства, мгновенно ответила:

— Конечно, Сахаров!!!

Очень она была возмущена. Ушла и оставила меня одну доедать петенькину булочку.

В ФИАНе в это время появилось новое лицо, которое сразу же приобрело всеобщую известность. Это была Софья Петровна Семенова-Тянь-Шанская, какая-то близкая родственница знаменитого путешественника. Сергей Ивано-

вич, узнав, что она находится в бедственном положении, старая и одинокая, устроил ее в Институте вахтером. Однако, хотя она была "старая и одинокая", она вовсе не имела несчастного вида; наоборот, высокая, с горделивой осанкой женщина, всегда в черном платье, вероятно, когда-то красивая, с копной черно-седых волос. Я встречала таких пожилых женщин только в горных аулах, в Сванетии. По моему, не прошло и недели, как она узнала все о каждом и принимала во всех нас самое горячее участие.

Например: в лаборатории Сергея Ивановича работал молодой механик — мастер золотые руки. На фронте он потерял глаз, зато другой его глаз сверкал веселым озорством. Каждое утро, ровно в 9 часов он поднимался на верхний этаж с оглушительной арией; он пел военные песни, каждый день новые, и сразу кончал, когда доходил до последней ступени. Так начинался каждый рабочий день в ФИАНе. Ему запрещали петь, его уговаривали петь хоть немножко потише — ничего не помогало. Софья Петровна сразу узаконила его выступления:

— Человек потерял глаз: другой бы на его месте плакал, а он поет. Молодец! Радоваться за него надо!

Сама она обладала в свои 80 лет таким голосом, что ей в пору было командовать эскадромом. Один раз, утром, я проходила мимо нее и вдруг услышала:

— Парийская, пойдите сейчас же ко мне!

Я подошла.

— Пейте молоко, немедленно!! — и она подала мне стакан молока. Я сказала испуганно:

— Что вы, что вы!

— А то, что у вас трое детей!!! Не рассуждайте! Один нос торчит. Грохочет тут своим сапожищами — глядеть тошно!

Я не рассуждала, а сомневалась: ведь это ей кто-то молоко принес! Но разве с ней поспоришь! И вот, я пью божественно-вкусное холодное молоко и гляжу на свои "сапожищи". Это были старые альпинистские ботинки моего мужа, подбитые триконями. Я их носила вторую зиму и очень была ими довольна — и тепло, и не протекают, и не рвутся; но грохочут, правда, здорово.

А голос Софьи Петровны уже доносился откуда-то из коридора:

— Я слышала, вы Воробьеву строгий выговор хотите вклеить за опоздание? Да знаете ли вы, что ему четыре пересадки приходится делать — четыре!! Сами-то вы сели на трамвайчик и докатили, а то и на машине подвезут!

И выговор отменяется.

Но вскоре наша заступница исчезла из института. Нам выдали пропуска, и Софье Петровне вменили в обязанности проверять их при входе. Это привело ее в исступление:

— Да вы что?! — гремел ее голос в отделе кадров, — я еще буду у них пропуска спрашивать! Это вы их не знаете, а я их как облупленных всех знаю!

Это казалось ей такой бессмыслицей, что Вавилову пришлось ее перевести в другой институт, куда-то в библиотеку. Говорят, он при этом сказал:

— У нее слишком много здравого смысла, чтобы быть вахтером!

В апреле, хорошо помню, в ночь с субботы на воскресенье меня назначили дежурить в Институте. Какой-то дяденька из отдела кадров привел меня после работы в комнату дежурных, небольшую пропахшую куревом комнату. Там стоял потертый кожаный диван и стол.

— Вот телефон, — сказал он, — в случае чего, звоните сторожу у ворот. Звоните покрепче, он дрыхнет как медведь. Про штору, конечно, не забудьте. Замок в парадной двери испорчен, так вы половой щеткой подоприте — еще крепче замка будет. Да, вот еще что — ежели вам что почудится, что в коридоре кто-то ходит, так это просто крысы бегают. Вы что, испугались? Так они на людей не кидаются. Вот кошку приبلудную, правда, всю сожрали, только хвост остался.

После всех этих утешительных слов он отправился домой. Я проводила его по длинному коридору, чуть освещенному лиловой лампочкой, приперла дверь щеткой и осталась одна. Вернулась в комнату. Уже смеркалось. Он сказал: "Не забудьте про шторы". Ох, уж эти шторы! Гроза матерей. Придет какой-нибудь мальчишка домой, темно, щелк выключателем, опомнится, тут же потушит, но поздно — уж идет по лестнице всевидящий, неумолимый патруль: "Гражданки, платите штраф". Сколько я сама этих штрафов заплатила...

Я подошла к окну, потянула за веревку — тихонько потянула — и вдруг штора с грохотом сорвалась с карниза... Я не из трусливых — но... крысы и полная тьма. Что тут можно сделать? Вместо молотка можно, конечно, подобрать булыжник во дворе, но все равно мне не достать до карниза, даже если поставить стул на стол — окно высоченное. Я нашла в шкафу настольную лампу — горит. Поставила лампу под стол, накрыла сверху шторой со всех сторон так, чтобы чуть-чуть освещался пол у самого дивана. Вот тебе и почитала — а ведь у меня в сумке лежали Форсайты! Дома невозможно читать, приходишь поздно, выходных нет.

Завернулась в шубу и легла на диван. Все тихо. Надо бы поспать, что ли, все равно не высыпаешься никогда. Закрыла глаза, поплыли в памяти последние события. Темнота в метро!! Что может быть страшнее и невероятнее? Метро ведь для москвичей было последней эмблемой незыблемости. И вот вспомнилось.

Мне достали билет на Рихтера. Нечего говорить, какое это было событие после всего, что мы пережили. Полная ожиданий, я села в метро на Кировской. Между Дзержинской и площадью Свердлова вдруг погас свет. Поезд медленно остановился. Чуть мерцала где-то аварийная лампочка. Ко всему привыкший народ молчал. Была какая-то могильная тишина. Потом где-то заплакал ребенок и опять стихло. Вдоль поезда по туннелю прошли люди с фонарями и опять затихло... Потом поезд медленно, медленно пополз вперед и

доехал до станции. "На аккумуляторах едем", — сказал кто-то сзади. Взошли по эскалатору, никто ничего не говорил, только мои подкованные башмаки цокали на ступеньках. На улице был полный мрак. Темно всегда было, но все-таки чуть освещали затемненные светофоры, лиловые фонари на домах.

— Даже в Кремле темно, — сказал кто-то рядом.

И правда, в воротах стояла охрана с фонариками. Я представила, что Сталин сидит в Кремле со свечкой... Что случилось? Я пошла по улице Герцена, прохожих было совсем мало. Вошла в консерваторию, в Малый зал, там толпились люди. В вестибюле горела в стеклянной банке свечка.

— Проходите, проходите в зал, какое тут раздевание, — повторяла старая гардеробщица. Расселись как попало, в темном зале. На рояле тоже стояла свечка. Неужели все-таки концерт состоится?

Но вот появился Рихтер, сел на стул, задумался. И начал играть Баха. Я сидела с закрытыми глазами — слушала. Открыла глаза — вижу, в люстре засветились красные ниточки. Постепенно они разгорались все ярче и ярче. Они становились ослепительными и страшными: казалось, вот-вот стекло не выдержит и вся люстра рассыпется... А Рихтер все играл Баха. Но вот свет начал затухать и опять стало темно. Потом опять разгорелось и так несколько раз, пока все не успокоилось на слабом свете.

Мы так и не узнали подробностей этой грандиозной аварии; ходили слухи, что она захватила огромный район, не только Москву, но и все пригороды, что были катастрофы на железных дорогах — потухли все светофоры, не работали стрелки, а кроме застывших на путях электричек ходили дальние паровые поезда...

Потом я, наверное, задремала... Но вдруг что-то услышала в коридоре... Шаги... кто-то осторожно крался... Дотронулся до двери... Я вскочила, распахнула дверь, затопала! Целая свора лиловых существ метнулась из-под моих ног и исчезла где-то вдали... "Топают как лошади, это верно", — подумала я. Сон прошел, но и страх тоже. Досидела до утра. Светлело рано. Потом начал сходитьсь фиановский народ на воскресник. Все были такие веселые, что мне стало завидно и я тоже осталась. Наконец-то убрали из сада весь этот надоевший железный лом и кирпичи.

Убрали мы наш двор и сад прямо к великому празднику — ко дню Победы. Отгремели салюты, осветились улицы, возвращались фронтовики. Всюду, на улицах, скверах, метро, на эскалаторах, встречались и обнимались счастливые люди и плакали от радости. Народ смотрел на них и радовался. Было много и таких, которые тайком утирали горькие слезы...

Все же для всех начиналась какая-то новая жизнь, хотя было все так же голодно и еще оставались карточки. Но появились выходные дни и отпуска, о которых все забыли. Опять возобновились наши веселые воскресные прогулки за город, с кострами и волейболом. Ездили Таммы, Леонтовичи, Новиковы и наши подростки. За неделю Игорь Евгеньевич прямо переполнялся новостями из всех областей науки, и как только мы вваливались в вагон

электрички, с азартом начинал их выкладывать; он умел подавать все так доходчиво и увлекательно, что постепенно весь вагон затихал и слушал вместе с нами. А один раз его даже поблагодарили за "интересную информацию".

Началось с орденов — вдруг, как из рога изобилия, посыпались на головы фиановцев ордена. Все завы и замы получили орден, да какой! — орден Ленина. А вот Теоротдел обошли. Игорь Евгеньевич, правда, получил орден Красного Знамени (только один из завов), а вот Виталий Лазаревич и вовсе ничего не получил и ходил мрачнее тучи (потом он мне сказал: "И чего я тогда переживал — просто каким-то круглым дураком был, что ли?"). Игорь Евгеньевич, наоборот, совсем не переживал; рассказал мне очень весело, что в Президиуме кто-то (он его даже не знает) решил его утешить и сказал:

— Знаете, орден Трудового Знамени как-то гораздо больше идет ученому. Он, очевидно, хотел, чтобы я воспринял орден как галстук... идет, не идет... Мы еще долго были в немилости.

Но вернемся к юбилейным торжествам. Наш помдиректора по хозяйству, столяр-выдвиженец Чуприн, облачился в солидную шубу и разъезжал на машине по комиссионным магазинам — мебель во время войны не производили. Наконец прошел слух — Чуприн купил двенадцать стульев для Президиума! Все бегали смотреть. Эти двенадцать стульев, вернее кресел, ярко-желтого канареечного цвета невольно так напоминали Ильфа и Петрова, что вызывали смех. Сам Чуприн был от них в восторге и всем говорил:

— Уж поверьте мне — эта вещь на сто лет.

Но Сергей Иванович, увидев их, пришел в ужас; т.е. он ничего не произнес, но, как говорила его секретарша Анна Ларионовна, поднял руки — вот так и ушел в свой кабинет.

Хотя Теоротдел был в явной немилости, но все же начальство прекрасно понимало, что если приедут иностранцы, то кому же, кроме Игоря Евгеньевича, их принимать? И Чуприн стал искать для Теоротдела "приличный" письменный стол, диван и кресла. Время шло, уж был назначен день торжества, а Чуприн, мрачный, забросив все дела, ездил и ездил по Москве, но ничего "приличного" не находил.

Дня за два до праздника Августина Иосифовна ходила по Отделам, просила принести из дома тряпки, раздавала мыло — была назначена генеральная уборка. Целый день в столовой грели баки с горячей водой, женщины в рваных халатах, в калошах на босу ногу, мужчины в драных куртках, терли, мыли, скоблили окна и двери. Полы коридоров, черные от пятилетней грязи, ползая на коленках, скребли ножами и щетками. Мы с Сахаровым убрались в своей комнатке скоро и помогали убирать коридоры.

В последнее утро вдруг пронесся слух — Чуприн наконец купил для Теоротдела и стол, и диван, и кресла, и что ребята поехали их грузить. Около нашей комнаты толпились сияющие, приодетые теоротдельцы; но нашего начальства не было видно — должно быть, они встречали иностранных гостей. Нас явно ждали и с торжеством открыли дверь в "кабинет"...

Бог ты мой!!! 1001 ночь! Вот это метаморфоза! Три часа назад это была затрапезная, пустая комнатенка, а сейчас!!! Третью комнаты занимал старинный письменный стол красного дерева, покрытый зеленым сукном, возле него два глубоких мягких кресла. Слева расположился просторный широкий диван... Но мало этого! На окнах висели шелковые гардины, стол украшала бронзовая настольная лампа и даже кафельный пол был стыдливо покрыт, правда, не новым, но вполне приличным ковром. Оказывается, мы с Сахаровым пропустили совершенно феерическое зрелище. Вся эта мебель — и стол, и диван, и кресла — была втащена с помощью пожарных через окно; через нашу узенькую дверь она не проходила.

Я смотрела на всю эту роскошь, и у меня мелькнула мысль — а не перестарался ли Чуприн? Впрочем, в самом скором времени Игорю Евгеньевичу этот "кабинет" понадобится. А мне самой еще нужно было ко всем этим переменам привыкнуть. Из старого в кабинете осталась висеть на стене школьная доска — прямо напротив дивана — и маленький шкафчик в углу. Я взяла наши грязные халаты, вынула из шкафчика сверток с легкими туфлями и пошла искать пристанища, чтобы переодеться. Я постучала в соседнюю дверь — в ответ испуганный вопль: "Нельзя!!!" Потом какой-то голосок пропищал: "Если женщина, то можно!"

Я вошла. Около груды сброшенных рваных халатов суетились женщины всех возрастов — молодые, пожилые. Кто раздевался, кто одевался, кто натягивал давно забытые шелковые чулочки, туфельки на каблуках; рассматривали нарядные платья друг у друга, восхищались, охали, ахали, искали булавки, разглядывали себя в маленькие зеркальца... Я сбросила в общую кучу свои халаты, одела свои туфли, которые пролежали ненадеванными всю эвакуацию, и вышла.

Мне хотелось посмотреть еще на конференц-зал, пока туда не набрался народ. Открыла тяжелую массивную дверь. Тишина — никого нет. Только чуть заметный запах мастики напоминал, какой тут был ералаш час назад... Через высокие окна лился скупой зимний свет и освещал аккуратные ряды стульев. На эстраде был установлен длинный стол, покрытый зеленым сукном. За столом чинным рядом стояли как-то присмирившие здесь желтые кресла. Большая удобная доска. Никакой роскоши — только две хрустальные вазы с цветами стояли на столе, а вдоль были опять развешаны ряды великолепных крупных гравюр Невских набережных — ведь история Физического института исчислялась с Петровских времен... Спокойный деловой зал создал Лебедев для работы.

Было около двух. Я вышла на верхнюю площадку лестницы — отсюда все хорошо будет видно. Оказывается, и здесь была наведена красота — балюстрада начищена, медные бляшки прямо сияли. По всем ступеням были протянуты ковровые дорожки. Послышался шум машин. Мимо меня вниз по лестнице, не спеша, прошел Сергей Иванович со своей свитой. По коридорам побежали фиановцы; разодетые женщины, смеясь и перешептываясь, выстраи-

вались вдоль балюстрады; мужчины выглядывали сзади: многие ведь вообще в жизни не видели иностранцев.

Машины все прибывали, и вот, наконец, по широкой лестнице пошли вверх приглашенные. Впереди Жолио-Кюри — такой знакомый по портретам. Живое смуглое лицо; он, мягко грассируя, что-то оживленно говорил Сергею Ивановичу. Рядом шла Ирэн Кюри — ею занимался Игорь Евгеньевич — известный "дамский угодник". Дальше шла большая группа иностранцев, среди них оживленное лицо Евгения Львовича и живописная шевелюра Виталия Лазаревича. Но меня больше всех заинтересовала Ирэн Кюри. Одета она была скромно, более чем скромно, совсем не по банкетному. На ее красивом выразительном лице в ответ на любезности Игоря Евгеньевича появилась иногда сдержанная улыбка. Показалась она мне невеселой, а может быть очень усталой. Когда она усаживалась за стол президиума, она что-то шепнула мужу — он кивнул головой — и села на самом краю. Начались торжественные речи. Мне стало скучно, должно быть, Ирэн Кюри тоже — во всяком случае она тихонько встала и вышла в коридор. Я тоже сидела сбоку и вышла за ней — подумала, что в коридоре никого нет. Она меня спросила, где библиотека, и я провела ее туда. Она взяла какой-то английский журнал, полистала его и углубилась в чтение.

Мне не захотелось возвращаться в зал; что-то стало муторно слушать торжественные речи после веселой утренней суматохи. Я прошла в наш роскошный "кабинет", уселась в мягкое кресло и задумалась. Ведь, по существу, ничего радостного для нас не произошло. Игорь Евгеньевич в этом "кабинете" работать не будет. Он любит работать дома, сейчас у него, слава богу, квартира есть; а остальным все равно работать негде. Игорю Евгеньевичу обещали, правда, всякие блага, когда построят новое здание для ФИАН, и место уже отвели где-то за городом, на картофельных полях. Но когда-то его построят? Очень хотелось есть. Столовая два дня не работала, а из дома много не принесешь.

Но вот послышался шум, голоса — заседание окончилось. Я поскорее выскользнула из кабинета. По коридору шествовало все наше начальство во главе с Игорем Евгеньевичем и несколько иностранцев. Игорь Евгеньевич шел очень уверенно, и я решила, что кто-нибудь хоть знаком дал ему понять, что у нас все в порядке, все о-кэй! По-моему, они недурно провели там время — во всяком случае часто были слышны взрывы веселого смеха. И им на подносе даже приносили черный кофе с печеньем. А мы, все остальные, голодные как волки, слонялись по коридорам. Наконец, долгожданный час наступил и двери банкетного зала открылись.

Долго же мы вспоминали этот банкет! Уж не Августина Иосифовна тут распоряжалась — все было отдано в лапы роскошного ресторана. На эстраде усадили "элиту" — президиум Академии — академиков, иностранцев, коекого из завов, и все наше теоретическое начальство туда попало — я думаю, для увеселения иностранцев. На всех столах белоснежные скатерти, хрусталь,

цветы... Но еда, где же еда??? На нашем столе немного тощих бутербродов с сыром и колбасой, пара бутылок вина, сидро. Подали блюдо с салатами, хватило по ложке. И это все?!.. А на стол президиума важные официанты в черных фраках вереницей несли и несли блюда с розовой телятиной, всякие заливные, жареных кур, уток. Один молодой загорелый фиановец, наверное, недавний фронтовик, схватил проходящего официанта за фалду:

— Эй, друг, оставь-ка это блюдо у нас! Ведь туда уже и ставить некуда! Сейчас же угодливая морда официанта превратилась в хамскую и он прошипел:

— Куда приказано, туда и несу! Тебя что ли слушать буду!

Фиановец в ярости вскочил, но его остановили. Мимо пробежала вконец расстроенная Августина Иосифовна:

— Ничего не могу поделать. Они говорят: "Не ваше дело, нам все поручили, не мешайте работать!" — она чуть не плакала — ведь денег столько ухлопали!

Мы стали ее утешать и сами развеселились. Начали петь озорные песни и вскоре разошлись. А в президиуме застолье — по-моему, не очень веселое — все продолжалось. Но хотя и наши академики, да вероятно и иностранные ученые тех времен были не слишком сытые — съесть все это изобилие было просто невозможно. Финал банкета был понятен: фиановцы, задержавшиеся в институте, видели, как часа через два за стол уселась вся ресторанный банда и пиоровала в свое удовольствие.

Но юбилейная сессия кончилась и наступили долгожданные будни. Ковер у нас убрали, но вся остальная роскошь осталась. Я по-прежнему сидела в кабинете одна, только теперь восседала на кресле и за роскошным столом. Общественные семинары (т.н. большие трепы) проходили в конференц-зале, а малые "трепы" всегда в кабинете. На нашем новом диване то сидела молодежь (как приятно было, развальясь, подавать оттуда громогласные реплики), то на нем устраивалось наше веселое руководство.

Игорь Евгеньевич был всегда переполнен забавными историями из всех областей науки и жизни, и с удовольствием их рассказывал. Вот, например, одна из этих историй: история о 30-х годах и о Дираке. Передаю ее такой, какой она осталась в моей памяти.

Жили мы тогда в маленьком старом флигельке в переулочке, недалеко от Университета. Он был такой древний, что его давно бы снесли, если бы было куда нас переселить. У этого флигелька были свои странности: во-первых, у него не было сеней, и дверь из коридора выходила прямо во двор. Во-вторых, там не было ни крылечка, ни ступенек, была только вот такая маленькая приступочка и через нее в коридор пробивался и дождь, и снег. И всю зиму у двери держался лед, и мы всех гостей предупреждали — не поскользнитесь! Водопровод там, однако, был, за водой мы не бегали. И крысы были огромные — вот такие — очень, знаете, умные животные. Они один раз из ящика с овощами всю картошку в свою нору перетаскали — я полночи наблюдал.

Ну так вот — вода у нас была, а вот насчет других удобств... далековаты они были, во дворе. Впрочем, были у нас не только минусы, был и плюс, и при этом большой: в эту нашу развалюху никто не хотел к нам подселиться, и жили мы там одни — как в отдельной квартире. В общем жили, как говорится, не тужили.

Но вдруг приехал к нам в Россию Дирак — я очень с ним подружился за границей — и он захотел у меня остановиться. Ну я, конечно, рад. Пообедали мы, поговорили, повспоминали, а как перешли на науку, так я все забыл. Спыхватился — а на дворе уже ночь. Вот тут и заскребли у меня на сердце кошки: как же поведу я его на двор? Ведь "удобства" наши — это самый что ни на есть заваливающий российский "сортир" (прошу прощения) — кто захочет с улицы, тот и зайдет. И поведу я в это злачное место человека на всю Европу известного, да еще англичанина, такого чистюлю, наглаженного, накрахмаленного, у него даже ботинки так начищены, что сияют как солнце.

Бросился я в кухню, шепчу: "Фонарик, дайте фонарик!", а мне испуганно отвечают: "Не горит фонарик, испортился". Я схватил свечку, вышел к нему и предлагаю ему "прогуляться". Провожая его со свечечкой по темному двору, а сам все клянусь ему, все божусь, что никогда это безобразие не повторится, все в самом скором времени изменится, вы только приезжайте... А он шлепает по грязи и помалкивает.

И вот, прошло года три, а мы все в своем флигелечке живем. И вдруг опять звонок — Дирак приехал и опять к нам просится и, представьте себе, говорит: "Мне у вас очень понравилось". Я, конечно, говорю, рад, душевно рад. Я и правда рад. Дирак был милейший человек; и опять мы с ним так хорошо поговорили, и он мне много интересного рассказал. Но как только начало смеркаться, мое сердце не то что кошки, тигры терзать стали... И вот, вывел я его на наш грязный двор, повернулся к нему и говорю:

— Бейте меня, я клятвопреступник! Нет у нас никаких перемен!

А он мне говорит:

— Э, нет, Игорь Евгеньевич. Это вы не правы: перемены есть. Вы меня тогда со свечкой провожали, а теперь там лампочка горит.

Игорь Евгеньевич с удовольствием рассказывал — и то слышался оглушительный хохот Виталия Лазаревича, то дробный низкий рокоток Беленького. Но чаще всего они оживленно обсуждали у доски какую-нибудь идею, иногда закрывали ее, и тогда Виталий Лазаревич, кроша мел, энергично писал на доске опровержения. Бывало, что в этих дискуссиях участвовала и наша молодежь, и ее всегда выслушивали с полным вниманием. Почему-то все эти научные споры мне совершенно не мешали — я в них не вникала, я не физик; наоборот, мне как-то очень хорошо, спокойно тогда работалось.

Но вскоре Виталий Лазаревич решил, должно быть, заняться своими аспирантами всерьез и задал Таксару и Рабиновичу задание, где много было вычислительной работы. Сначала они поспорили у доски о методике работы, вывели формулы, раздобыли себе арифмометры и уселись за мой стол. Я си-

дела посредине, Рабинович у правого торца, Таксар у левого. Недели две по несколько часов они сидели рядом со мной и надоели мне ужасно. Не тем, что их старенькие арифмометры тарахтели, звенели и даже скрипели, но своими беспрерывными схватками. Почти каждое число они сверяли, причем оба постоянно ошибались. Коли ошибался Рабинович и Таксар скромно указывал на это, то Рабинович мгновенно проглатывал его замечание и делал вид, что ничего не произошло. Но уж если ошибался Таксар, то Рабинович осыпал его такими язвительными и дурацкими насмешками, что я не могла удержаться от смеха, а Таксар, очень напоминающий мне добродушного щеночка, только обиженно выпячивал губы и что-то бурчал себе под нос.

Но вот работа их, наконец, кончилась, была переписана и торжественно вручена Виталию Лазаревичу. Виталий Лазаревич взглянул на нее и эдак небрежно сказал:

— Ну что же, кончили? Это хорошо. А теперь полистайте немножко назад тот сборник, из которого вы брали исходные данные. Там есть статья на ту же тему, — Виталий Лазаревич взглянул на меня, и его глаза озорно блеснули. Что тут сделалось с Рабиновичем! Сначала он остолбенел, потом стал пыхтеть от ярости, потом схватил сборник и стал ожесточенно листать его ("Две недели собаке под хвост, две недели дурацкой работы, две драгоценные недели..."). Таксар вытягивал шею, заглядывал через его плечо. Виталий Лазаревич спросил:

— Ну и как?

— Сошлось, конечно, — мрачно сказал Рабинович, — а что же еще может быть?!

— В пределах точности сошлось, — добавил Таксар.

Тут в комнату вошел Игорь Евгеньевич. Он сразу оценил обстановку и задумчиво сказал:

— А я люблю, когда результаты повторяются. Особенно люблю, когда к решению удастся подойти разными путями. Есть такое приятное чувство — значит, мы пришли к истине.

Ну, нет. Рабинович таких чувств не мог понять. Что-то шепча, он забросил работу в свой портфель и вылетел из комнаты (впрочем, дверью все-таки не хлопнул).

К нам "на огонёк", посидеть на нашем диване, заходило много народу. Зашел как-то наш бывший аспирант Немировский, недавно защитивший диссертацию. Был он такой розовенький, благополучный, в новом костюме. Устроился в хорошем институте, мало того — даже получил комнату. Что еще надо человеку? Но зашедшая к нам Любовь Ефремовна Лазарева сразу поняла — ему нужна была жена. И вот она усадила его рядом с собой на диван и своим чарующим ангельским голосом стала описывать ему своих незамужних приятельниц. Особенно она хвалила какую-то Беллочку — Беллочка представляла из себя целое скопище добродетелей:

— У нее есть только один недостаток — она была женой Альберта...

Немировский сидел смущенный, красный, отмахивался своими пухлыми ручками — но явно прислушивался. И вот прошло немного времени и мы услышали — Немировский женился и именно на той самой Беллочке с ее единственным недостатком...

А однажды я услышала, как Игорь Евгеньевич терпеливо внушал Сахарову:

— Я прочел вашу статью, Андрей Дмитриевич, и, знаете, я должен вам сказать: нельзя так писать, совершенно невозможно. Над каждой фразой я сидел как над ребусом. Вам просто надо представить себе, что вас окружают полные круглые дураки и вот для них вам приходится писать.

Сахаров растерянно пожал плечами. Он совершенно не мог понять, что было в его статье неясного.

Как-то, когда я была одна, в кабинет вошла пожилая женщина.

— Скажите, пожалуйста, Сахаров — аспирант вашего Отдела?

— Да, — говорю я, — да вы садитесь, вот кресло.

— Видите ли, я преподаватель немецкого языка, — сказала она и замолчала — она явно была смущена. Такая пожилая, наверное, опытная преподавательница.

— А что, — спросила я, чтобы ей помочь, — он не ходит на занятия, вы чем-нибудь недовольны?

— Да нет, что вы, — оживилась она, — я вот сейчас вижу, что очень даже трудно определить, что я хотела бы сказать. Понимаете, он какой-то очень самобытный человек, даже в немецком языке это проявляется...

Она замолчала. Задумалась. Потом извинилась и ушла.

Я хочу закончить свои воспоминания о Сахарове этого времени историей, которая дошла до меня в виде слухов, и, по всей вероятности, весьма преувеличенных. Сахарову материально жилось очень трудно, и ему устроили чтение лекций в МЭИ. Он читал их сколько-то времени, и я уверена, что он относился к ним так же серьезно, как ко всему, над чем работал. Но кончились его эти занятия бурными выступлениями студентов: огромное их большинство требовало его немедленного изгнания.

— Что это за преподаватель, которого мы совершенно и абсолютно не можем понять, — кричали они, — дошли же мы до 4-го курса? Что мы, совсем идиоты, что ли?!

— Да, вы идиоты, кретины несчастные, — вопили другие, — ничего вы не понимаете, ведь он талант, он гений!!!

Кончились все эти бурные споры настоящей потасовкой, где даже были поломаны стулья... А Сахарову пришлось уйти. Больше, как будто, в свои молодые годы он не брался за преподавание.

Иногда мы ходили с ним вместе обедать. Но он так медленно и вдумчиво жевал, что приходилось оставлять его одного: занимать место долго было неудобно, столовая была переполнена. Зато если я ходила с Виталием Лазаревичем — все было наоборот. Он поглощал еду с феноменальной быстротой.

”Кто быстро ест, тот быстро работает” — гласит русская пословица. На Виталии Лазаревиче это прекрасно оправдывалось — он многие годы держал в Академии первенство по самому большому числу печатных работ в год.

Как-то с Виталием Лазаревичем в этой столовой случился смешной эпизод, который доставил фиановцам много веселых минут. Мы с Виталием Лазаревичем пришли в столовую и сели за стол. Надо сказать, что эти литературные обеды привозили из ресторана ”Якорь” и обслуживали нас ресторанные официанты. Это были роскошные откормленные девы. Ходили они по всем правилам, усердно виляя задом, шуршали шелковыми юбками. Мы, женщины ФИАНа, худые как выдры, глядели на них с изумлением. Держались они с нами нагло — злились, что их заставляют обслуживать эту нищую братию — привыкли в ресторане к чаевым.

Так вот, пришли мы с Виталием Лазаревичем в столовую и сели за стол. Рядом был свободный стул. Кто-то хотел его занять, но вдруг одна официантка рванулась к нам, бесцеремонно оттолкнула этого человека и уселась сама. Она села против Виталия Лазаревича, покрашенная пышная блондинка, и стала глядеть на него замороченными глазами. И вдруг сказала:

— Мне снилось, что мы плывем с вами вдвоем на пароходе... На белом пароходе в Америку...

Виталий Лазаревич с изумлением уставился на нее (я заметила, что вся кухонная братва столпилась в дверях, да и в зале стало тихо). А она продолжала придушенным голосом:

— Мне снилось, что мы с вами сидим в креслах и пьем из таких трубочек... крюшон, море ужас какое синее и музыка играет... а на вас костюм такой белый, белый...

Тут к ней подбежала ее напарница и, хохоча, потащила ее на кухню. Одной рукой она волочила свою подругу, а другой усердно крутила у своего виска. Но та переступала ногами как сомнамбула, не видя, что кругом смеются, и все хотела обернуться и еще раз посмотреть на героя своего сна — чернокудрого красавца в ослепительно белом костюме, который вез её в сказочную Америку... Виталий Лазаревич, красный и смущенный, не поднимая глаз, стремительно съел свой обед и под дружный смех выбежал из столовой.

Каждую среду мы смотрели кинофильмы, которые Сергей Иванович отбирал для себя и потом передавал ФИАНу. В основном это были кинофильмы, не идущие на наших экранах. В то время за границей шло много фильмов с участием Дины Дурбин. Надо полагать, что Сергею Ивановичу (как и нам) очень нравилась эта молодая прелестная артистка. Очень часто они шли на английском языке. Тогда к экрану в качестве переводчика подходила жена Евгения Львовича, известный музыковед. Как сейчас помню ее крупное выразительное лицо, освещенное голубоватым светом экрана, иссиня-черные, коротко стриженные волосы, темный румянец и слегка насмешливая улыбка... Ее перевод и немножко иронические комментарии очень нравились нам и мы всегда провожали ее аплодисментами.

О Ефиме Фрадкине

В.Л. Гинзбург один раз приехал в институт особенно оживленный и сразу стал рассказывать, что прочитал в каком-то журнале одну статью и был просто поражен эрудицией неизвестного автора из Минска. Он наводил справки и узнал, что никто до сих пор этими темами там не занимался. Мало того, оказалось, что автором был совсем молодой военный, лейтенант, который после войны остался на военной службе. И что он в два года экстерном закончил там Университет и по физике работал совершенно самостоятельно. Игорь Евгеньевич, конечно, тоже сразу им заинтересовался и они с Виталием Лазаревичем решили воспользоваться своими возможностями и перетащить его на наш закрытый семинар.

Виталий Лазаревич, как всегда, стремительно и энергично начал действовать. И вот прошло совсем немного времени, как у нас появился новый сотрудник — Фима Фрадкин. Настоящий самородок! Вы подумайте — вышел из семьи еврейского колхозника, прошел всю войну и без всякой помощи и руководства подобрался к самым высотам теоретической физики!

У него была написана какая-то статья, и он хотел ее доложить. Игорь Евгеньевич пригласил всех в свой кабинет. Тема работы была открытая и я решила тоже пойти. Села в дальний уголок на кресло. Я не физик и даже не предполагала, что смогу что-нибудь понять. Просто мне хотелось посмотреть, как он будет докладывать — и это стоило посмотреть.

Фима со страшной быстротой стал писать вкривь и вкось на доске какие-то мельчайшие, ни на что не похожие знаки. Он метался по комнате, упруго поворачиваясь на углах, сверкая узкими щелками глаз, говорил скороговоркой, проглатывая окончания и перевертая слова: казалось, язык не поспевал за быстро несущейся вперед мыслью. Но когда его о чем-нибудь спрашивали, он сразу стихал и внимательно выслушивал возражения. И его быстрый ум мгновенно находил выход из тяжелого положения, вызывая улыбку одобрения у товарищей.

Когда все разошлись и он остался вытирать исписанную доску, я подошла и спросила (уж очень я была поражена его каракулями), как он учился в школе. Он посмотрел на доску, грустно улыбнулся и сказал: "А знаете, я ведь когда-то был отличником в младшей школе!" — "И даже по чистописанию?" — поразила я. "Я был первым учеником по чистописанию", — с гордостью сказал он. Потом он аккуратно вытер всю доску и медленно и истово стал выводить какие-то тонкие изящные витиеватые фигурки. "Это старо-еврейские письмена", — пояснил он, — "Знаете, я ведь до пятого класса учился в еврейской школе, а потом перешел в русскую. В нашем местечке никто не говорил по-русски. И я чуть только мог объясняться. Ох, как мне было трудно в русской школе! Но я очень старался, очень, и выучился все-таки. Даже потом и по литературе получал неплохие отметки. А вот хорошо писать — на это не хватило времени. Я, знаете, ведь и думал по-еврейски очень долго, даже в армии. А вот по физике сразу стал думать только по-русски"...

О Петре Ивановиче Живаго

П.И. Живаго с семьей поселился в доме ЖТНД по Большому Харитоньевскому переулку в начале 20-ых годов. Это был великолепный добротный трехэтажный дом, выходящий на три переулка, с эркерами по углам, с роскошной внутренней лестницей, с высоченными потолками и зеркальными окнами. В каждом этаже было по одной квартире площадью не меньше 300 кв.м. По северной стороне вдоль Большого Харитоньевского переулка тянулась анфилада парадных зал — чтобы не выцветали штофные обои! По южной — комнаты для прислуги. До революции в бельэтаже жил сам хозяин — фабрикант Грибов. Это был старый холостяк. И жил он в этой огромной квартире один с двумя лакеями и поваром: женской прислуги, говорили, он не терпел. Не любил он и новшеств: в огромной кухне находилась большая плита и громадная изразцовая печь, русская печь, которую убрали только тогда, когда провели газ.

После революции в залах были поставлены перегородки, так что в каждой зале жило по семейству и население квартиры иногда доходило до 30 человек. Семья Живаго занимала прекрасную комнату с балконом, с лепными карнизами и дубовыми панелями. Это был, вероятно, кабинет хозяина. Комната была перегороджена пополам и сверху донизу завешена картинами и фотографиями. П.И. был искуснейшим мастером фотографии. В молодости он был в Италии и привез оттуда великолепные снимки дворцов, скульптур и картин. Фотография была, по-моему, его хобби всю его жизнь. У него были чудесные снимки и нашей природы — лесов, перелесков, вечерних полей... По его комнатам можно было ходить часами, как по музею.

У них всегда было уютно, спокойно и тихо. Любовь Семеновна, приветливая и спокойная, сохранившая до самых преклонных лет обаятельную женственность, была прекрасная хозяйка, мастерица на все руки. Всю свою жизнь она отдала, чтобы обеспечить мужу возможность спокойно заниматься любимым делом. Когда мы в 1931 году переехали в эту квартиру, там жили солидные пожилые люди и въезд молодых с тремя маленькими детьми не очень их устраивал. Только Живаго встретили нас приветливо и дружелюбно. И у нас сразу установились с ними дружественные отношения, которые сохранились на долгие годы.

П.И., всегда занятый, все-таки находил время пошутить с детьми. Както, я помню, он услышал, что я внушаю своим ребятам, что нельзя бегать по коридорам, что они всем мешают. Он подошел и сказал мне с укоризной: "Ну зачем Вы им мешаете? Ведь это же так интересно — бегать кругом по коридорам!" (в 30–60-ые годы в квартире жило до 48 человек). Один раз, когда дети были еще маленькими, он пришел к нам и преподнес им огромную французскую книгу с роскошными иллюстрациями. "Обо всем на свете!" — сказал он с гордостью, — "это была моя книга, я очень любил ее!"

И П.И., и Л.С. очень любили животных. П.И. относился к ним совершенно как к человеческим существам. Я помню, когда в последнее время у них не

было своей кошки, он очень привязался к нашему молодому коту. Один раз я зашла к ним и с изумлением увидела, что Л.С. и П.Л. сидят за столом, пьют чай, а наш Кит возлежит тут же на столе и, прищулив свои зеленые глаза, наблюдает за нами. "Это что такое?! — с возмущением сказала я, — брысь со стола!" Но кот даже не пошевелился. "Я совершенно не знаю, что с ним случилось", — растерянно сказала я, — "ведь он же такой умный кот, он все понимает". "А вот потому-то он и не слушается Вас", — хитро улыбаясь, сказал П.И., — "он прекрасно понимает, что не Вы тут хозяйка".

У нас в квартире много лет работала уборщица. Это была старая, но мощная женщина с живыми темными глазами и живописными седыми волосами, которые постоянно вылезали у нее из-под платка. П.И. всегда перекидывался с нею шутками. Один раз он мне сказал: "Какой все-таки неггибаемый, неунывающий у нас народ: вот смотрите — наша Григорьевна. Незавидная у нее судьба, она даже неграмотна. А сколько в ней юмора и внутренней настоящей интеллигентности". Когда П.И. умер, кто-то, я помню, сказал на гражданской панихиде, что П.И. удивительно был демократичен по своей натуре. И это была истинная правда.

П.И. близко к сердцу принимал события нашей жизни, читал журналы, слушал радио. Однажды, услышав его поспешные грузные шаги, я испугалась, думая, что что-то случилось. Но он еще издали закричал: "Вы слышали сейчас радио?" Я сказала, что нет. "Ах я дурак! Я хотел Вас позвать, но, понимаете, просто не мог оторваться! Передавали новый вальс Хачатуряна. Это шедевр! Это будет мировой классикой!!" Ему очень нравился Паустовский, стихи Твардовского. Когда передавали "Василия Теркина", он никогда не пропускал передач и всегда приходил к нам потом в восторге.

П.И. работал очень много, а здоровье его все ухудшалось (П.И. Живаго был известным цитологом. После "победы" Лысенко в августе 1948 года с работы его изгнали, и он скончался через несколько месяцев в возрасте 65 лет). И чем хуже становилось его здоровье, тем одержимее он работал. За полтора года до его смерти с ним был тяжелейший сердечный приступ. Но уже через день я застала его за работой и ужаснулась. "Вы знаете", — сказал он мне, — "у меня такое чувство, что человеческий разум неисчерпаем: чем больше пишешь, тем больше остается... А мне, знаете, надо спешить..."

Когда он уже не мог сидеть, он заказал столяру специальную подставку на постели и продолжал писать, стремясь оставить людям все продуманное. Мне посчастливилось знать многих замечательных наших ученых. Они сейчас умерли. Но я должна сказать, что никто так самоотверженно, так героически не боролся со смертью, не забывая о науке до самой последней минуты. Даже последние его слова были о работе...

Хроника некоторых путешествий

Игорь Евгеньевич, мы и Алтай в 1926 году

Передо мной лежит подробнейший путевой дневник, который Н.Н. Парийский вел во время нашего первого совместного с И.Е. путешествия на Алтай в 1926 году. Я листаю эти истертые и уже пожелтевшие от времени листочки, и передо мной встает не только Алтайский край того времени — край дремучих лесов, казачьих станиц, кержацких заимок и пасек, киргизов-кочевников с их огромными стадами овец на горах, но и живой И.Е., и все мы — еще такие молодые. И мне захотелось дать здесь не описание, а некоторые картинки из этого путешествия, которое И.Е. всегда называл своим боевым крещением, и где в пустынных ледниках Белухи он "заболел горами" на всю жизнь.

Первые числа июня 1926 года. Штаб-квартира у нас. На полу навалены горы ящиков, веревок, брезента, мешков с продовольствием. Мы готовимся к путешествию на Алтай. Мы — это аспиранты МГУ М.А. Леонтович, Н.Н. Парийский, П.С. Новиков, Е.Л. Старокадомская и В.Л. Грановский, аспирант консерватории М.Л. Старокадомский, и мы — студентки разных ВУЗов: жена Леонтовича, я, сестры Свешниковы. Всего 10 человек.

Уже Парийский изучил от корки до корки "Пути по Русскому Алтаю" Сапожникова, после яростных споров утрясен маршрут, нашему путешествию присвоено звание "Экспедиции ЦКУБУ", и наши физики должны будут делать всякие измерения — высоты, температуры, ионизации воздуха и радиоактивности источников, и еще чего-то. Из Дома Ученых к нам напрашивалось несколько человек, но нам удалось от них отвязаться, протащив их в 40-верстный поход под Москвой, да еще под дождем. Этот поход, да еще страшные рассказы о горных алтайских дорогах и переправах через бурные потоки из книги Сапожникова заставили отступить самых настойчивых. Мы были этому рады, потому что уж очень не хотелось брать в заведомо трудное путешествие совершенно незнакомых людей.

И вот, когда, сидя на полу, мы шили палатку, вдруг в дверь всунулась голова Леонтовича и сказала:

— С нами просится ехать Тамм. Ну как его — брать??

Одно мгновение мы смотрели друг на друга, и потом раздался на редкость единодушный крик:

— Конечно, брат, конечно!

— Тогда я пошел. Он просил завтра приехать к нему во Влажернскую. Я ему позвоню.

И он ушел. Мы, женщины, никогда еще не встречались с И.Е. Но наслышаны были достаточно. Он был уже профессором в МГУ, на его лекциях было многолюдно и шумно, и он всегда рассказывал разные интересные вещи. Я не знаю как другие, но я стала ожидать от нашего путешествия еще чего-то большего, хотя, кажется, уж большего ожидать было невозможно.

И вот воскресным утром мы едем к И.Е... Мы совсем замотались со сборами и давно не были за городом. Дождь прошел, пахнет травой, цветут

одуванчики... Подошли к старой дачке, окруженной мелким соснячком. Маленький человечек скатился со ступенек терраски, подбежал к нам (ходить он, очевидно, не умел), пожимал нам руки, говорил какие-то комплименты...

Мы, молодые женщины двадцатых годов, совершенно не привыкшие к такому галантному обхождению, были сразу и очарованы и смущены. И.Е. долго суетился, усаживал нас на табуретках и досках вокруг старого дощатого стола под деревом. Наконец, когда все уселись, И.Е. замолчал, оглядел нас всех по очереди и вдруг схватился за голову:

— Боже мой! — закричал он, — какие же вы все молодые и какой я старый!!

И все дружным хором ответили:

— Что вы, что вы!! Вы же моложе всех нас!! (И удивительнее всего то, что это ощущение сохранилось у нас на всю жизнь, хотя он действительно был лет на 6–10 старше и был ему тогда 31 год).

Пока Парийский раскладывал на столе свои карты, И.Е. начал благодарить нас, что мы "позволили ему ехать с нами", когда он совершенно никуда не ездил, ничего не знает, ничего не умеет, что он просто совсем "необученный щеночек", но что он будет очень стараться, будет учиться и костер разводить, и дрова рубить, и кашу варить!

Наталья Васильевна в это время подошла к нам с маленьким Женькой на руках, и я заметила, как при этих его словах дрогнули в улыбке ее губы. (Она была права: нет, не научился И.Е. варить кашу, и с топором в руках он мне как-то не запомнился. А вот грузить, разгружать, носить мешки, таскать хворост — это все он делал с великим рвением и всегда рысцой).

Парийский, которого И.Е. сразу уважительно стал звать "товарищ начальник", хотя начальником его больше никто не считал, ибо у нас процветала полнейшая демократия, коротко сообщил И.Е. наш маршрут: по железной дороге до Семипалатинска, затем по Иртышу до Н. Красноярки, затем лошаадьми до Като-Карачая; отсюда верхом через перевалы на Арасан ("Рахмановские горячие ключи"), затем к истокам Катуня, взойти сколько будет возможно на вершину Алтая — Белуху, затем на Верхний Уймон, откуда подняться на высокогорное Кочурлинское озеро, затем через ряд перевалов к реке Бухтарме в село Быково. Отсюда на плотах по Бухтарме к Иртышу до Семипалатинска. Итого 500 км верхом и столько же на плотах.

Но тут И.Е. неожиданно взбунтовался:

— Во-первых, вы говорите "взойти на Белуху сколько возможно" — а почему не на самую вершину?! Ведь там после Сапожникова в 1911 году, наверное, никого не было? Во-вторых, там же есть прекрасное Телецкое озеро — почему нам не поехать на Телецкое озеро? В-третьих, там интереснейшие Бийские пороги! Почему нам не сплавится по Бийским порогам??

Парийский коротко ответил:

— У нас есть только полтора месяца. Ведь у Вас тоже?

И.Е. с грустью согласился. Выезд был назначен через две недели.

Дел на эти две недели у нас набралось по горло. Шили спальные мешки, переметные сумы для лошадей, из тяжеленного брезента сварганили неуклюжую палатку-кишку сразу на 11 человек. По какому-то спецрецепту пекли галеты, делали лапшу, сушили сухари — ведь Сапожников писал, что может быть неделями придется ехать по ненаселенным местам. Физики мыкались по разным институтам, разыскивая всякие приборы для наблюдений; удалось достать, естественно, самые завалящие.

Наконец, 25 июня погрузились на извозчиков и поехали на вокзал. Билеты у нас, конечно, без плацкарт, сэкономили мы вовсю. На перроне возле каждого вагона столпотворение. С бою занимаем два купе. Победа! Все три полки наши — значит, будем спать спокойно. Да еще, кроме этого, эти два купе отделены перегородкой от других пассажиров. Нам просто неслыханно повезло! Еле живые от усталости, распахиваем свои мешки и ящики под лавки и сразу заваливаемся спать.

Ехать нам целую неделю — обживаемся, заводим свои порядки. Днем и ночью у нас окна настежь — гуляет ветер. Леонтович с огромным чайником ходит за кипятком, потом залезает с ним на лавку и привязывает его к крюку на потолке. Он считает, что так удобнее. И.Е. осыпает нас фейерверком своих рассказов. Мы, женщины, поем. Поем мы разное: начиная от "Вечернего звона" и кончая Карманьолой ("На фонари буржуев вздернем мы"). И.Е. был, по моему, равнодушен к серьезной музыке, но песни он очень любил, особенно задорные, зажигательные. Тут он прихлопывал руками, притоптывал ногами, но больше всего ему нравился торжественный студенческий гимн "Gaudeamus igitur" и мы, воодушевленные, пели его громовыми голосами.

Пассажиры пробирались по нашему отделению с опаской. Я слышала, как они говорили в сторонке: "Едут какие-то, совсем не в себе; днем пойдешь — чайник с кипятком мотается по всему вагону, того гляди ошпаришься; песни орут какие-то страшные, ничего не поймешь. А ночью то — холод у них собачий, хоть шубу надевай и везде проводники с ними ничего поделать не могут". А мы лежим себе в своих теплых спальных мешках; мимо проносятся пустынные сибирские леса, болота, старый вагон скрипит, огонек в фонаре мигает от ветра... Засыпаешь и думаешь: "Ну до чего же хорошо! И завтра будет еще такой же день и послезавтра"...

Впрочем, все на свете кончается. Мы съезжаем с Великого Сибирского пути на тихую Семипалатинскую ветку. Едем медленно, стоим подолгу на каждой станции. Пассажиры счастливы, пассажиры обедают, и мы тоже. Базарчики завалены всякой снедью — жареными курами, гусями, огромными кусками поросят с хрустящей жареной корочкой, пирогами, кулебяками — с рыбой, с потрохами, с ягодами. В жизни мы ничего подобного не видели. Забыты и песни, и рассказы — сидим целый день и жуем, и жуем... Все мы голодали в свое время — это не забывается.

Наконец, утром приехали в Семипалатинск. Это пыльный, утопающий в песке городок с маленькими домишками, мечетями и церквями. На стенах

во многих местах висят самодельные полинявшие плакаты, вроде: "Есть такая арифметика — кто больше работает, тот больше ест!" Или: "Советская власть платит за труд натурой — поддержим Советскую власть, ура!" Пока мы бродили по городу, закупаая продукты — сахар, крупу, сапоги для верховой езды (на большом киргизском базаре купили войлочные шляпы и кошмы на дно нашей палатки) — Парийский и И.Е. достали пропуска из ГПУ и, главное, разыскали старого лесничего, о котором упоминал Сапожников. Он дал им много ценных советов и указал старого проводника в Катон-Карагае, который ездил по горам с Сапожниковым. Причем предупредил, что с ними надо "лихо" торговаться.

К вечеру перетащились на пристань. Жара сменилась морозящим дождем. На пристани толкучка (пароходы ходят редко). Когда он пришел, еле отыскивали себе место на широких нарах в самом низу. Темно, сверху откуда-то капает, над головой грохочет цепь... Но капитан любезно разрешил нам сидеть наверху в салоне с большими окнами.

Фары освещали стремительно несущуюся нам навстречу воду Иртыша, выхватывали при поворотах из темноты то скалистый утес, то корявые сосны. И.Е., приунывший было от тоскливой обстановки в трюме, сразу ожил, и, найдя в седом капитане хорошего (и главное нового!) слушателя, засыпал его рассказами о своих похождениях на юге России во время гражданской войны. С пристани Малая Красноярка мы удачно нашли три попутные парные повозки, и они нас лихо доставили к вечеру на другой день в Катон-Карагай — правда, совершенно избитых от каменистой дороги.

Остановились в школе. Катон-Карагай — богатейшее казачье село на реке Сарым, с большими, просторными, часто двухэтажными домами и дворами. На другой день разыскали старого проводника Сапожникова: Александра Игнатьевича Воробьева. Это был пожилой, но крепкий и сильный человек, с курчавой бородой и насмешливыми глазами. Держался с достоинством и, видно, цену себе знал. Сказал, что с Сапожниковым ходил до Уймона, дорогу знает, дорога тяжелая. Ничего не обещая, подыскал еще двух проводников, подыскал лошадей, но все повторял: "Еще надо все обговорить"...

Наконец, были назначены "торги". В избу к Ал.Игн. стали сходить бородатые мужики, хозяева лошадей. Подходили солидно, рассаживались на скамейках. С нашей стороны "торги" должен был вести Парийский. Хоть ему и было только 25 лет, но нам он казался человеком бывалым, был в экспедициях Курской Магнитной Аномалии, по характеру был невозмутим и терпения у него вроде было достаточно. Но когда вдруг И.Е. выразил свое неременное желание тоже присутствовать на торгах — мы всполошились. Вот на его терпение, при его сверхживом темпераменте, мы никак не могли рассчитывать. Но он дал клятву, что будет "нем как рыба", и они вошли в избу вдвоем. Мы украдкой заглядывали в окна: сквозь дым махорки еле просвечивали бороды.

— Ну, что??

— Молчат... Сидят и молчат...

Торги длились три часа. Наконец, вдруг все заговорили, загалдели, стали хлопать друг друга по плечам. И.Е. выкатился первый, измученный, потный, как из бани, уверял, что никогда в жизни так не страдал — за три часа не произнес ни одного слова!

Написали договор: за лошадь с седлом — 20 руб. (из них три вьючных), за проводника с лошадейю — молодым по 30 руб., Ал.Игн. — 40 руб. И еще проводники записали в договоре, что если кто-нибудь из нас поедет своей дорогой и лошадь "убьется" — мы за нее платим... Итак, у нас будет целый караван — 17 лошадей. Лошади паслись в горах, они там ходили в киргизских табунах. Пока молодые проводники поехали в горы, Ал.Игн. нашел у соседей большие вьюки, приказал выкинуть наши ящики, пересыпать продукты в мешки, мешки паковать во вьюки, все переметные сумы для многих вещей перешить.

Мы возились с этими делами, а физики проверяли свои приборы, делали первые измерения. Впрочем, успели и покупаться, и погулять, даже верхом покатались на лошади Ал.Игн. — и все остались недовольны; всем хотелось хорошенько поскакать (особенно И.Е.), а она идет только довольно противной трусцой. Ал.Игн. сидел на скамеечке, покуривал и усмехался:

— Лошадь то ведь не дура — она, небось, видит, что это все пустое ба-ловство.

Наконец, привели с гор лошадей. Ал.Игн. по-хозяйски просмотрел их всех, прощупал ноги, копыта, велел подковать, придирчиво осмотрел седла и сбрую.

Последний день, последние приготовления. Разыгрываем лошадей — все недовольны, но жребий есть жребий. Делаем последние закупки — хлеб, масло, мясо, бегаем по селению. Наконец, ложимся спать. Что-то будет завтра? Погода, вроде, собирается портиться.

Встаем рано. Погода пасмурная. Проводники седлают лошадей, грузят вьючных, сгружают, что-то подправляют, подтягивают. Нас провожает все селение — все что-нибудь советуют, что-то кричат, взбудораженные собаки лают... Наконец, садимся на коней. Ал.Игн. делает нам последнее внушение: лошадей не гнать, на спусках, на подъемах и бродах не дергать — лошадь лучше вас знает, куда ей ступать — не отставать, ехать гуськом. Да, похоже это будет не просто веселенькая прогулка. Выезжаем из села. Впереди Ал.Игн. на своей гнедой кобыле, за ним трусит его огненно-рыжая собачка Шарик, за ним "товарищ-начальник" с картой в руках и с сачком за спиной (он собирает алтайских жуков), за ним И.Е. на своей белой лошадке, за ним все остальные; сзади тащатся вьючные лошади.

Вид у нашей "экспедиции" не очень презентабельный. Все одеты кто во что горазд — в платишки, в старые кожаные куртки, в брезентовые плащи; только Леонтович обрядил свою жену в дедовский шерстяной "Leiden-Mantel" с капюшоном и с ружьем за спиной, у нее поистине великолепный вид.

Сначала дорога идет ровная; не дорога, а настоящий тракт. Народ начинает бунтовать, хочет ехать рысью. Но вьючные лошади могут идти только

шагом и все постепенно смирятся. Тем более, что торная дорога скоро кончается и превращается именно в ту дорогу, которую Ал.Игн. назвал "тяжелой". Да это и не дорога, а тропа, иногда еле заметная, но Ал.Игн. уверенно ведет караван. Кругом глухая тайга с редкими просветами. Огромные ели, лиственницы обросли мхом, внизу шумит поток, сумрачно, да и погода мрачная, то и дело начинает моросить дождь.

Перевалы невысокие, лесные, но очень крутые. Лошади взбираются вверх по каменным грядкам рывками, с силой сотрясая всадника, сползают вниз прямо на хвостах. Иногда тропа пропадает, идет прямо по ручью, лошади пробираются между валунов, каким-то чудом не ломая себе ноги. Наверху на перевалах высокая трава и часто очень сыро — бывают такие топкие болота, что приходится сходить с лошади и прыгать по кочкам.

Некоторое разнообразие вносят переправы через горные потоки и реки. Иногда мы переезжаем их верхом, держа на руках вьюки с вещами, чтобы они не подмокли; иногда переплавляемся на лодках — люди и вещи. К лодке привязываем одну лошадь, а других загоняем в воду, и они переплывают реку, хотя и очень неохотно. В общем, дорога, конечно, очень утомительная — едем по 8–9 часов в сутки, проезжаем по 40–50 км. Особенно трудно было вначале, но потом постепенно все втянулись.

Днем останавливаемся на короткий привал. Обычно Парийский, который едет впереди с картой, предлагает остановку — и мгновенно пышно расцветает наша "демократия". Боевая оппозиция сыпет возражения: и рано еще, и мало проехали, и место сырое, и место жаркое и т.д. Проводников все это ужасно забавляло.

— Ну, — говорили они, — началась обедня, можно покурить...

Они слезали с лошадей и закуривали, к ним обычно присоединялся и И.Е. Впрочем, как правило, на этом же месте и останавливались и дежурные быстро разводили костер и варили что-нибудь немудрое. Личной посуды у нас не было. Это "пански вытребенки". У нас четыре огромных миски: одну мы отдали проводникам, из второй ели "неперчащие", из третьей — "слабоперчащие", из четвертой — "сильноперчащие". Здесь царствовал И.Е. и всегда перчил сам; делал он это торжественно, со вкусом, протестовать здесь не разрешалось — глотай и мучайся.

Вечером, в сумерки, останавливаемся уже без всяких дискуссий. Слезаем с трудом с лошадей и начинается общий аврал. Проводники расседлывают, стреноживают лошадей, дежурные берутся у костра, варят похлебку, остальные ставят палатку, таскают на ночь хворост. Ужинаем мы, вернее обедаем, плотно. И не спешим. Совсем темно, в лесу пофыркивают лошади, Шарик, сытый и довольный, греется у огня.

Все утихомиривается; мы, женщины, стоим у костра, сушим свои вещи, поем что-нибудь тихое: "Во субботу, день ненастный", "Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно"... Мужчины покуривают, слушают Ал.Игн. Эпически спокойно, он рассказывает о поистине братоубийственной граждан-

ской войне здесь, на Алтае, когда часто сражались между собой соседние села; о каком-то легендарном молодом бандите Кайгородове, который делал налеты из Монголии, убивать не убивал, но грабил и уводил за границу целые стада лошадей и овец.

Однако иногда к ночи Ал. Игн. начинал беспокоиться. Поглядывал на Шарика, который жался к его ногам, вставал, брал у Татьяны Леонтович ружье и стрелял несколько раз в воздух. Гулкое эхо мощно раздавалось в горах. Тогда он стелил свою кошму у костра, закрывался тулупом и засыпал спокойно. Кого он боялся? Он никогда не говорил, но мы решили, что боялся он медведей.

А один раз, когда не только Шарик, но и лошади не хотели уходить от людей, проводники уже все встревожились и о чем-то тихо совещались. Мы уже совсем стали засыпать в своей палатке, когда услышали какой-то незнакомый ровный сильный гул, и даже сквозь наш толстенный брезент палатки заиграли яркие сполохи. Что случилось?? Мы вскочили и, толкаясь, выскочили наружу.

На обрыве, под огромной елью пылал грандиозный костер; огонь со всех сторон лизал ее мощный ствол... И вдруг это могучее смолистое дерево вспыхнуло сразу, сверху донизу, как огромный факел. Мы ахнули, стало светло как днем; лошади заржали и, ломая кусты, рванулись в лес, Шарик бросался на всех и лалял как бешеный. Мы были в ужасе (и в восторге, конечно!), кричали Ал.Игн. — да разве так можно, да ведь лес может загореться??

— А зачем ему загораться? — совершенно невозмутимо ответил Ал. Игн. — все надо умеючи делать...

Довольные проводники укладывались спать у костра. Наутро от ели остался только черный мрачный остов и обгорелая трава кругом...

Тучи ушли, ярко сияло солнце, которое нас совсем забыло. Все довольны и веселы. Нам остается последний, самый высокий перевал до Арасана. Мрачный хвойный лес кончился. Стали появляться кедры — великолепные могучие деревья. Среди пышной травы огненно сияют "жарки" и какие-то небольшие ярко синие цветочки. Пологий легкий подъем, и мы на границе леса. Выезжаем к перевалу. На перевале широко раскинулись роскошные луга; вдали видны юрты и стада овец. Парийский с И.Е. и молодым проводником отделиются от нас и едут к киргизам закупать барана — у нас кончилось мясо.

Останавливаемся, смотрим им вслед. И.Е. вырывается вперед и скачет по высокой траве — наконец-то ему удастся погарцевать! Недалеко от нас холмик. На вершине его врыта сухая елка. Она так обработана ветрами и солнцем, что кажется белой как слонобая кость. На ней болтаются цветные тряпочки, некоторые совсем рваные, выцветшие. Ал.Игн. говорит пренебрежительно:

— Это язычники навешали, богов своих молят, чтоб их больные на ключах поправились.

Мы, конечно, тоже повесили свою тряпочку, но Ал.Игн. этому явно не сочув-

ствовал.

Въезжаем на последнюю гряду перевала и останавливаемся в изумлении — перед нами открылась, горящая в вечернем свете солнца, двугорбая вершина Алтая — Белуха. Далеко внизу, под крутейшим спуском блестит, как осколок зеркала, Арасанское озеро. Ал.Игн. осторожно начинает спуск, мы гуськом за ним. Здорово страшно — такой крутизны, да еще на такой высоте мы до сих пор не видывали. Думаю, что каждому из нас хотелось бы слезть с лошади — да вроде неудобно, проводники-то едут. Вижу, как лошадь впереди меня буквально на хвосте сползает вниз и как дрожат от напряжения ее ноги.

Тропа круто сворачивает влево и мы въезжаем в лес. Странные, чудовищной высоты, полужасохшие ели. Почва почему-то под ними опустилась и обнажились корни деревьев, причудливо переплетенные, как какие-то гигантские змеи. Лошади переползали через поваленные деревья прямо на брюхе. Ну и дорога, такой мы еще не видывали. Наконец спуск закончен, и мы въезжаем на "курорт". Стоит туман, горячие источники парят. Уже смеркается. В тумане находим старый барак, на котором написано "столовая".

Из сторожки рядом выходит сгорбленный старикашка. Это сторож, единственная администрация на курорте "Рахмановские ключи". Говорит, сейчас на курорте пусто — начинается сенокос, а бывает, приезжают много, особенно киргизов, больных возят целыми семьями. Вид "курорта" не слишком приятный — деревья кругом порублены, везде кострища, следы юрт.

Мы останавливаемся в "столовой". Грязный дощатый пол, два стола, посреди плита, на которой можно готовить. Из щелей дует, но погода явно портится и мы рады и такому укрытию. Растапливаем печь, готовим ужин. Беспokoимся о наших: уже ночь, и дождь пошел, и такой головоломный спуск. Старик равнодушно говорит — да чего там, доедут. Тут больных по такой дороге возят, паралитиков. На двух лошадях; сетку сплетут из веревок и везут.

Вдруг послышался топот лошадей, смех И.Е. Вваливаются оба — мокрые и страшно веселые. Перебивая друг друга, с восторгом рассказывают, как они пировали на киргизском празднике, где ни один человек не говорил по-русски. Как их усадили на кошму и дали сначала по огромному куску баранины, и они отрезали от него своими ножами, потом они пили великолепный айран, который пенился как пиво, как они отказались от превосходного бульона, потому что видели, как хозяйка наводила чистоту на половник, облизывая его со всех сторон; как потом все киргизы молились и они не знали что делать, и как вдруг все вскочили и бросились из юрты наружу — оказывается, начались скачки — девчонки и мальчишки скакали на неоседланных лошадях, причем они несколько раз кувыркались вместе с лошадьми через голову, и эти маленькие происшествия встречали самый жизнерадостный смех у стариков и старушек. Проводником с ними киргизы отправили маленького киргизенка, нагрузив его бараном. Мы хотели оставить его ночевать, но он уехал назад один в темень и дождь.

Утром вышли — туман и холод, наверху даже выпал снег. До чего нам повезло с погодой вчера! Под морозящим дождем идем осматривать курорт. Около озера три дощатых сарайчика — из щелей валит пар. Заходим в один: в середине большая яма с песчаным дном. Вода беловатая, как будто кипит. Вниз в яму спускается лесенка. Под водой есть скамейка. Больной садится на скамейку и сидит по горло в воде сколько вытерпит. Вода в источнике 38–42°. Лечатся здесь от всех болезней (кроме Парийского, никому лечиться не захотелось!).

Физики делают все доступные для них измерения, мы посмотрели на туманное озеро и пошли домой. Там благодать, тепло, жарко — плита полыхает вовсю. Охотник ждет нас с медвежатиной. Купили огромную ногу — кутить, так кутить! Ал.Игн. с энтузиазмом хозяйничает: разрубает барана, из бараньих потрохов готовит "каурдак", жарит медвежью ногу. Великолепное вкусное мясо — однако проводники есть его дружно отказались — отчего бы это?? (Потом узнали — опасно, медведь учует — отплатит). К вечеру дождь перестал, мы пошли прогуляться. В лесу сыро, сумрачно, с деревьев капает. И непривычно тихо, без лошадей, без собаки. Нашли следы — вроде медвежьи. Оглядываемся. Пошли потихоньку домой.

В бараке жара и суета — готовятся "буерсаки". Все проводники включились встряпню. Один раскатывает крутейшее тесто, другой режет его на мелкие кубики. Ал.Игн. колдует у чугунного котла, вмазанного в плиту. В котле кипит баранье сало. Кубик взрывается и пулей стреляет в потолок. Ал.Игн. загоразживается, как щитом, чугунной крышкой и кидает горстями кусочки теста.

Наконец, хрустящие буерсаки готовы. Завариваем кофе и наслаждаемся — ничего вкуснее мы не ели! В самом веселом настроении стали укладываться спать. Так тепло, что не хочется залезать в спальные мешки. Но скоро к веселому говору примешиваются жалобные стоны. Один из наших мужчин стал "раздуваться". Живот у него распухал прямо на глазах. То ли он слишком налег на буерсаки, то ли его желудок не выдержал необычной смеси кофе и бараньего сала... В нынешнее время даже молодежь возит с собой ворох всяких лекарств, молодежь же того времени совершенно легкомысленно относилась к болезням (впрочем, и самый "старый" из нас точно также). Несчастного страдальца мы просто выгнали наружу и заставили бегать. Он грузно бегал вокруг барака и тяжело ухал, а ему весело кричали: "Живей бегай, живей!!" Вдруг раздался замогильный голос Петра Новикова:

— Если лошадь обожретса зеленым овсом и раздуется — ей протыкают брюхо шилом...

Наступила тишина.

— А что-же делать?..

— Клистир, — сказал Грановский.

— Что??

— У нас есть клистир, — твердо сказал Грановский.

— Я поняла, — сказала радостно Катя Старокадомская, — это мой прибор по радиоактивности. Обжора был спасен.

На утро разъяснило, хотя и было холодно. Рваные тучи проносились над горами. Лошади далеко разбрелись, и проводники их долго искали. Выехали поздно. Теперь нам предстояло через несколько перевалов спуститься к Катуню и подняться по ней до ее истоков у подножья Белухи. Подъем начался сразу. Перевал взяли легко. На другой стороне все стало иным — кругом ясно, зелено, весело. Горы все в сочных цветистых лугах, поросли огромными кедрами и лиственницами.

На коротком привале все подбирают себе палки для подъема на Белуху — почему-то считается, что чем длиннее, тем лучше. Начался спуск; дорога хорошая, торная, но наши смиренные лошадки что-то раздражены. Первым лошадь начала трепать Петра Новикова — он вцепился за луку седла, а лошадь мотала его из стороны в сторону, пока он не свалился в траву; лошадь Парийского вдруг свернула к дереву, и его сбilo веткой. Мишу Старокадомского лошадь сбрасывала несколько раз, даже вставала на дыбы. Непонятно, почему они стали так нервничать — может, потому, что каждый из нас везет огромную саженную палку? Забегая вперед, скажу, что ларчик открывался просто — дьявольский Арсанский спуск дался лошадям тяжело — подхвостник, который держит седло при спуске, натер некоторым лошадям кожу до крови...

Впрочем, вид у нас с палками был, действительно, очень воинственный и Ал.Игн. сказал, что нас обязательно примут за повстанцев, если кто встретит. Однако вскоре мы сделали последний перевал и спустились вниз к самой Катуню — здесь уже ни тропы и никаких следов человека. Горы каменистые, со скудной травой и редкими деревьями. Уже ясно видны впереди ледники Белухи. Едем по мелкой гальке, перебираясь с одной стороны потока на другую. Катунь здесь не глубокая, но несется стремительно. Броды не легкие, лошади пробираются между валунов. К вечеру подъезжаем к границе леса и у последних лиственниц останавливаемся станом. Ледники совсем близко.

Утро прекрасное. Доедаем остатки медвежатины, надеваем на наши дубинки острые наконечники и отправляемся на разведку — идем все. Перед нами скалистый цирк — сверху заманчиво сияют ослепительные белые вершины Белухи, потом видны крутые голубые ледопады, идущие к седлу; ниже верхний ледник рассекает утес причудливой формы, который Сапожников называет "раздельным гребнем". С обеих его сторон круто спускаются ледники, переходя в ледовое поле.

Пройдя сначала по гальке вдоль потока, доходим до ледника. Идти по леднику прекрасно, совсем легко. И.Е. в восторге от всяких "стаканчиков", "столов", идут дискуссии об их образовании. Находим ледяной туннель "Жерло Катуню", из которого с грохотом вырывается поток. Дальше ледник становится круче и мы решаем перейти на длинную морену, которая образует как

бы хребет между ледниками. Сначала идти легко, но морена поднимается все выше. Идем по самому гребню, камни сыплются в обе стороны далеко вниз. Гребень иногда становится таким острым, что приходится ставить ногу поперек. Народ начинает отсеиваться — у кого кружится голова, кто боится за того, у кого кружится голова; у кого болит нога... Передняя группа успевает пройти только до верхнего ледника, а хотели пройти до гребня. Но уже поздно и надо еще спускаться по этой проклятой морене... Сияющий день кончается неважно — по небу протянулись четкие полосы циркусов.

Вечером выясняется — на Белуху завтра хотят идти только шестеро. Это мы, Парийские, И.Е., Старокадомские и Грановский. Остальные уже сыты горами и моренами, хотят просто погулять. Стоим у костра, совещаемся, что с собою брать. Нам предстоит ночевка на льду. Решаем: наши тяжелые спальные мешки не брать. Взять на всех два одеяла, три тулупа (дают проводники) и кошму. Из еды — мешок сухарей, масло, вареную баранину, по плитке шоколада и фляжку с водкой. Из снаряжения — палки, веревки и топор... Еще решили взять маленькую охалку хвороста.

Встаем в три часа. Погода совсем дрянь. Все заволочло. Начинает моросить мелкий дождь. Мы сомневаемся, колеблемся, раздается даже мрачный голос — это просто безумие... Гор не видно — Белуха закрыта. Однако лошади оседланы и Ал.Игн. уверяет нас, что погода разойдется, а он все-таки человек надежный. Едем! Подъезжаем на лошадях к самому леднику. Нагружаемся — рюкзаки довольно увесистые. Ледник со вчерашнего дня не узнаваем — по нему текут ручьи и, главное, очень скользко, а мы в кожаных сапогах — то один, то другой падает.

Благополучно проходим морену и выходим на второй ледник. Погода все портится — злое черные тучи переваливают через хребты, совсем потемнело. Только успели мы пройти до раздельного гребня, как вдруг налетела гроза — все закрылось тучей, молнии сверкают вокруг нас, оглушительный гром отдается в горах и крупный град так бьет в лицо, что приходится закрываться руками. Мы сбились в кучу. Непонятно, что делать. Дальше идти — это вроде, действительно, безумие...

Но вдруг (в горах всегда бывает это "вдруг"), туча пронеслась, облака разорвались, и над нами засияла Белуха... Неужели Ал.Игн. оказался прав? Настроение у нас сразу поднялось. Решили оставить здесь рюкзаки и подниматься сегодня, пока погода, и лезть докуда возможно. А ночевать здесь, у "раздельного гребня".

Связываемся веревкой и начинаем подъем. Ледник становится все круче, появляются трещины и мостики. Парийский идет впереди, ощупывает каждый шаг, вырубает топором ступени. Так, шаг в шаг, поднимаемся два часа. Наконец, подходим вплотную к ледопаду. Огромные глыбы льда нагромождены друг на друга, образуют какие-то фантастические гроты и мосты. Останавливаемся — нет, этот ледопад не для нас... Ну что ж. Мы ведь и не собирались подниматься на вершину, которая далеко сверкает над нами.

Дальше, чем казалось снизу.

Стоим, смотрим вниз и едим шоколад. Под ногами ледники, ледники, долина Катуня с ленточкой реки. Там внизу журчат ручьи, гремят потоки, а здесь тишина. Удивительная горная тишина... Легкие белые облачка уходят за Кату́нские хребты.

Осторожно начинаем спуск. Он потруднее подъема. Очень скользко. Первая срывается Катя Старокадомская. Веревка рывком срывает И.Е., который идет за ней последним. Он падает на спину, и, быстро наращивая скорость, скользит мимо Кати, перелетает с разлета через трещину и несется дальше вниз. Но Кате удалось успешно воткнуть палку и остановить обоих. И.Е. вскакивает на ноги, прыгает от восторга — боевое крещение!! Летел через трещину! И мы все повеселели. С веревкой ничего не страшно, веревка-матушка всех вытянет. И мы уже бежим, прыгая по нашим следам, а замыкающий И.Е. прокрикивает браваурную шотландскую песенку: "Six old montaneers"!

Начинает темнеть. Над нами густое синее небо, на закатном солнце горят две очень, очень далекие вершины, а кругом здесь, среди скал, голубой сумрак. Подходим к нашим вещам у Раздельного гребня. Начинается бурная деятельность. Вытаскиваем кошму; по ее размерам из плоских плит выкладываем пол, покрываем его кошмой. Кругом из камней выстраиваем стены с маленьким проходом. Получается вполне уютный домик. До чего, оказывается, интересно строить домик. С наслаждением едим, запиваем глоточками водки, и тесно укладываемся на кошму. Сверху покрываемся одеялами и тулупами. Чудно хорошо и совершенно тепло. Над нами черное бархатное небо с огромными звездами. Засыпаем мгновенно.

На другой день просыпаемся, кипятим на нашем хворосте три кружки кофе. Солнце уже припекает. Собираемся и лениво начинаем спускаться. По ледникам журчат ручьи, белоснежные облачка плывут где-то совсем высоко. Под ледниками внизу находим озерки — купаемся. Вода почти ледяная, но до чего хорошо. В стане нас ждет обед, но никого нет. Ушли на водопад. Мы, отдохнув, идем на конец ледника искать отметку Сапожникова. К великой радости находим: ПС-1911. Ставим свою отметку в конце ледника. Выясняем, что ледник отходит в среднем за год на 1.5 м.

Утром седлаем коней, едем вниз по Катуня. Перебираясь вброд, белая лошадка И.Е. упала, он свалился в воду, и его понес бурный поток. Поскакали за ним его спасать. Но он вылез сам, зацепился за кусты, отделался легкими ушибами; проводники же долго возились с лошастью, она никак не могла встать. Вода ледяная — И.Е. переодели во все сухое и заставили выпить водки. Пришлось сделать привал и сушить вещи. Вечером, после небольшого перевала, выехали в прелестную долину Берели. Дорога здесь набитая, торная. Веселые березовые рощи сменялись кедровыми, горы сверху до низу поросли цветущей травой.

Погода установилась чудесная. Стали ночевать, не раскладывая палатки,

прямо на траве. Надоела нам наша палатка-кишка до смерти. Хоть в ней было и тепло, но душно; нужно вылезти — ползешь в крошечной тьме, перелезая через груды спящих тел... А здесь благодать: постелили кошмы, залезем в спальные мешки, а от росы покрываемся сверху палаткой. Лежишь и видишь над собой звездное небо.

Проводники спешили — хотели попасть в Уймон на праздник. Ал.Игн. говорил, что привезет нас к хорошему человеку — он узнал его, когда жил у него вместе с Сапожниковым. "Хороший человек" оказался пожилым крепким кержаком. У него большая семья, ребята, внуки, все живут вместе. Но и дом большой, двухэтажный, с большим двором и постройками. Встретили нас радушно. Провели в большую темноватую избу, усадили за праздничный стол — жареный баран, молодая картошка (наша давняя мечта!), большие караваи хлеба. В углу стояла бочка с "медовухой" — чудесным напитком из свежего меда. После жаркого дня и пыльной дороги нам страшно хотелось пить и мы пили его с наслаждением, по много стаканов. Однако напиток этот был все-таки легким винцом, и нас обуяло буйное веселье. И.Е. был в особом ударе, говорил тосты хозяевам, проводникам, нам всем по очереди, декламировал на семи языках (как говорит путевой журнал!).

Вскоре нам стало душно — отвыкли мы от закрытых помещений — и мы устроились рядком на широком крыльце. Уже наступала туманная лунная ночь. Ал.Игн. подтолкнул нас — ну чего ж? Теперь бы и запеть пора... Мы взглянули друг на друга и грянули во всю мощь свой *Gaudeamus!* Этот громовой "Gaudeamus" произвел целый переполох в праздничном селении. Первые во двор вихрем, через ворота, через забор, влетели мальчишки, за ними растрепанные девчонки, за ними девки в цветастых сарафанах, а там потащились и бабы, и старики с палками. Просторный двор сразу наполнился людьми. Пришли две балалайки, гармошка, уселись на бревнах. К ним примостился наш музыкант, Миша Старокадомский, с деревянными ложками вместо кастаньет, и этот оркестр принялся дружно наяривать "Барыню", "Светит месяц". Все начали плясать кто во что горазд — зрители нас совсем не смущали.

Жена Леонтовича, рослая, видная женщина в здоровых сапожищах отплясывала с Ал.Игн. русскую, мы с И.Е. плясали польку, которой я, по моему мнению, с успехом, только что обучила И.Е. (впрочем, он плясал за даму — так нам показалось удобнее). Парийский на потеху мальчишкам выделял какие-то замысловатые пируэты и пояснял всем, что он танцует как Румнев в Камерном театре. Но больше всех осталась у нас всех в памяти Катя Старокадомская. С блаженным лицом, воздев кверху руки, она плавно, в одиночестве, кружилась в туманном лунном свете... Наконец, мы выдохлись и отправились спать. Нам отвели наверху две светелки.

— Товарищ начальник, — сказал И.Е. — запишите: 25 июля проведена смычка города с деревней.

Только мы угомонились, как неожиданно оказалось, что нам предстоял еще

один номер: дверь из соседней светелки медленно открылась и из нее, извиваясь, на четвереньках выползло длинное тощее тело в трусах. Это был Леонтович. Весь освещенный ярким лунным светом, он медленно повернул к нам голову, ухмыльнулся, лязгнул зубами, хрюкнул и уполз назад... Этот последний номер вызвал у нас совершенно разные эмоции — от громового хохота до ужаса — может, он сошел с ума?

На другой день оказалось, что праздник продолжался еще очень долго. Старые казаки состязались в пляске — дольше всех плясал наш Ал.Игн. Молодые же проводники перепились и спали, что называется, без задних ног. Утром же выяснилось, что тропа на Верхнее Кочурлинское озеро завалена огромным обвалом и нам туда не попасть. Ал.Игн. явно рад — наверное, он несколько страшился неизвестного ему похода в эти далекие места. Итак, теперь нам осталось только сделать несколько небольших перевалов до села Быково на Бухтарме, и наше верховое путешествие окончится. Остаемся в Уймоне на дневку, купаемся, моемся в бане, закупаем продукты.

Погода совсем установилась; дни стоят жаркие, ночи прохладные. Едем по цветущим долинам. Кое-где начались покосы — сладко пахнет сеном. В долинах у ручьев попадаются уютные маленькие заимки с пасеками. Вместо дневных привалов заезжаем на пасеку, закусываем хлебом с душистым свежим медом и молоком. Несколько перевалов из одной долины в другую сделали шутя — везде находились легкие тропы. Но на последний лесистый хребтик не могли найти даже следов дороги.

Ал.Игн. после Уймо́на перестал быть нашим вожаком. Он здесь не бывал. Сейчас, когда уже был близок конец этого муторного для наших проводников похода, единственным их стремлением было как угодно, только поскорей, добраться до Быково. И никто из них не возражал, что мы решили лезть в гору без дороги. Кругом березовый лес, трава по пояс. В траве камни, лошади все время спотыкаются. Взобрались на хребетик. Вниз идет травянистый крутой откос, где-то внизу журчит ручеек. Поискали более пологий спуск, но по хребту везде такая чащоба, что человеку не пролезть, не то что лошади с вьюком. Придется спускаться по откосу. Привожу дальше выдержку из дневника Парийского:

”Берем инициативу на себя. Едем вниз по крутому косо́гору, поросшему высокой травой: склон так крут, что лошадь, того гляди, оборвется вниз в ручей. Падает на колени лошадь под Лидой, но с трудом поднимается. Падает под Мишей и скользит вниз на боку по траве, за ней тем же манером следуют вьючные лошади, уже по собственной инициативе. Весьма опасно. Под Мишей лошадь сильно оступается, падает, перевертывается как-то вверх ногами и вниз головой скользит вместе с Мишей, подмяв его под себя. Вижу ноги лошади, потом слышу с радостью голос Миши. Лошадь брыкается и катится к ручью вниз головой, оставив Мишу в глубокой траве. Здорово Миша отделался! Лошадей подняли. Ясное небо, солнце, ручей течет по темно-красному ложу. Рядом с ручьем еле заметная тропка. По ней и пойдём.

Становится сразу всем приятно и радостно за этот интересный день”.

Ночуем на ручье в конце леса. Встаем рано. Сегодня последний день нашего верхового пути. Дорога идет уже по более населенной местности. То и дело попадаются селения, везде косят, возят сено. Дорога широкая — можно ехать в два и три ряда — значит, можно поиграть в ”Литературные типы”. Леонтович, который вообще презирает эту ”дурацкую игру”, а здесь на Алтае (на природе!!) он ее яростно презирает, всегда уезжает вперед. И.Е. до сих пор был одним из самых пылких игроков, однако, в этот раз он молча уезжает вслед за Леонтовичем. Все это как-то немного озадачило, и с игрой скоро покончили. Всем как-то припомнилось, что И.Е. с утра был уже молчалив. Молчащий И.Е. — в этом было что-то странное. Мы уже привыкли к его неунывающему оживленному голосу, к веселому тихому смеху горошком. А что, собственно, случилось? Все наше путешествие — сплошная удача: нашли такого проводника как Ал.Игн.; никто не потопился на бурных реках; никакая лошадь не ”убилась” на спусках (а следовательно, и ее седок тоже), никто не сломал себе шею в трещинах и ледопадах. И подъезжаем мы в Быково вовремя. Все, вроде, в полном порядке — а И.Е. едет все впереди и молчит.

Наконец, въезжаем в большое селение Быково, останавливаемся у чайной, сходим с лошадей. Кто-то сказал:

— Надо сбегать на реку, посмотреть, нет ли там плотов!

И вот тут И.Е. взорвался: он рывком сбросил с лошади свою сумку, схватил рюкзак и начал заталкивать в него кулаками рубашки, брюки и яростно приговаривать:

— Никаких плотов!! С меня хватит! Я сыт — всем, всем!! Беру лошадь, еду на станцию... Сейчас же, немедленно!! Вы можете понять. Меня дома работа ждет. У меня семья!!

Он напялил на себя рюкзак, схватил под мышку куртку и убежал... Мы все стояли и молчали. А что мы могли сказать? Одно мы знали совершенно твердо — никаких лошадей он сейчас не найдет, сенокосная страда, все мужики в лугах.

И.Е. пропал три часа. Вернулся тихенький. Смиренно просил прощения за свою ”безобразную, возмутительную выходку”. И сейчас же с увлечением включился в нашу работу. А работа у нас кипела вовсю. Нам опять сказочно повезло: нашли старого, так сказать, кадрового плотовщика, который гнал бревна на продажу в Семипалатинск. Заехал сюда за хлебом.

Мы таскали на плот сено, расстилали на сено кошму, носили вещи, которые подвозили нам проводники. Попрошались с проводниками и с нашими лошадами, которые нам показались вначале такими неказистыми и так безотказно нам послужили по этой тяжелой дороге. Плот был великолепный, сложен из двух рядов огромных сосновых бревен. Спереди и сзади были прикреплены большие бревенчатые рули. Впереди на железном листе было сделано кострище и заготовлены дрова. Этим же вечером мы отплыли от Быкова.

Бухтарма после Быкова река глубокая, без порогов, но очень быстрая. Днем мы плыли, на ночь причаливали к берегу. Обычно наш плотовщик справлялся с рулем сам, только иногда звал на второй руль кого-нибудь из мужчин. Был он человек веселый, покуривал, балагурил. Но как-то, уже к вечеру, он посерьезнел и сказал строго:

— Ну, теперь нам надо держаться. Будет такой сворот, что половина плотов погибает. Николай, вставай на задний руль, слушай мою команду. От себя ничего не начинай. Все к рулям!!

Мы вскочили — женщины, конечно, тоже. Но вдруг он нас как кнутом огрел:

— А вы, бабье, куда? Садитесь посередине, и чтобы мужикам не мешать! И чтобы у меня смирно сидели, без писку и визгу!!

Мы все — "бабье" — уселись надутые, спиной друг к другу, и замолчали. Ну и ну!! Где же равноправие?! Ведь мы все делали наравне с мужчинами, и тяжести таскали (а иные даже больше иных мужчин!), и всякую другую работу. Но тут не покричишь, это мы понимали.

Однако, мы скоро отвлеклись от наших обид — впереди был слышен нарастающий гул. Река стремительно неслась прямо на огромную скалу. Кругом торчком были понатыканы бревна от погибших плотов. Река делала поворот градусов на 120. Вода кругом бурлила водоворотами, плот сотрясался, плотовщик кричал, но команды его в этом грохоте еле были слышны. Плот все-таки удалось свернуть в нужном месте, и все осталось позади.

Плотовщик, с которого пот лил градом, повернулся к нам и сказал:

— Ну, бабы, а вы чего нахохлились как мокрые курицы? Радоваться надо. Я баб возил; правда пицать им тоже не давал, так они головы подолом закроют и крестятся "господи пронеси!" Да оно и понятно. Они ведь местные — знают, сколько здесь на плотах народу погибло. Вы лучше мужикам своим спасибо скажите, здорово они поработали, с понятием! И я им скажу — теперь я свои бревнышки как по маслу доведу!

Наше дальнейшее путешествие оставило во мне какое-то лучезарное воспоминание — другого слова я не могу найти. Лучшего отдыха невозможно было себе представить — а отдых нам все-таки был нужен. Как мы не были молоды и здоровы, но трехнедельное путешествие по тяжелой дороге, верхом по 8–10 часов в сутки сказалось на всех. Все загорели, но и похудели здорово. На плоту же ели целый день — кроме сытнейших обедов и ужинов, которые мы варили тут же на плоту. Для особых обжор всегда стояли ведра с крутыми яйцами и ягодами — благо все было баснословно дешево. Погода стояла удивительная — солнце сияло целый день, но на реке всегда дул прохладный ветерок. Иногда проходил веселый грибной дождь — тогда мы проворно забирались под палатку. Купались прямо с плота, а потом нежились на солнце.

Пока ехали по Бухтарме, ночевать приставали к берегу, а по Иртышу плыли и ночами. Помню эти звездные ночи — лежишь на мягком душистом сене, от бревен пахнет смолой, и в сладостной полудреме слышишь голос плотовщика... Это был какой-то удивительный старик — он знал бесконечное

количество алтайских сказов и легенд. Наши мужчины вокруг него сидят, покуривают, слушают; потом тоже ложатся. Но И.Е. был самым неутомимым и увлеченным слушателем ... Может оттого плотовщик так охотно и много нам рассказывал — ведь не всегда попадаются такие слушатели...

На этом я кончаю. Я очень сомневаюсь, что эти "картинки" будут кому-нибудь интересны, кроме участников этого путешествия. Но я убеждена в том, что И.Е. они доставили бы большое удовольствие — в последние годы жизни у него ослабела память, и когда я ему что-нибудь рассказывала из наших путешествий, в памяти его, очевидно, оживали эти сценки, и он с восторгом повторял: "Да, да, помню, помню!!"

Я очень жалею, что не написала всего этого при его жизни.

Маленькое эссе об алтайской травке (для Журочки...)

...И вот уже позади мрачные ледопады Белухи и неприятные ущелья истоков Катуня — мы делаем последний перевал. Он нетрудный, хотя и довольно высокий. Кругом корявые карликовые березки, лиловатые рододендроны, валуны, покрытые разноцветными мхами. Переходим последнюю каменистую гряду, и перед нами открывается широкий вид на прелестную, утопающую в зелени долину реки Берели. Утро чудесное — прохладно, легкие прозрачные облачка поднимаются из долины и тают на глазах. Наконец-то установилась хорошая погода — солнце нас не очень-то баловало до сих пор. Дорога торная, под легким уклоном. Лошади наши, уставшие от подъема, взбодрились и идут ходкой тропотой.

Начались кедровые рощи и под ними, как всегда, огненно-оранжевые "жарки" и вперемежку с ними яркие "синецветы": они похожи на наши лютики, только покрупнее. Но скоро кедряч кончился, долина раскинулась широко, начался лиственный лес — мощные березы, липы, клены образовывали живописные куртины, едешь как по парку; и все кругом покрыто веселым цветущим ковром сочной травы.

Но чем дальше мы опускаемся вниз, тем выше поднимаются кругом травы. Широкая торная дорога куда-то исчезла. Мы пробираемся гуськом по еле заметной тропе по узкому темному коридору: веселый цветущий ковер превратился в море, в океан дремучей буйной травы. Мы утопаем в нем, он поглощает и лошадей и нас с головой... Ничего кругом не видно. Только впереди мелькнет иногда то меховая ушанка проводников, то войлочная алтайская шапка наших мужчин.

Но удивительнее всего было то, что, если взглядеться, в этих джунглях не было никаких экзотических растений — так, вроде бы, обыкновенные наши подмосковные травы и цветы. Но какой же они были удивительной величины — колокольчики с кулак, ромашки в ладонь, даже мята и клевер вытянулись метра на два... Ехать стало томительно и нудно — ничего кругом не видишь; солнце печет, одуряюще пахнут цветы. Наталья впереди, на своей гнедой кобыле "Эсмеральде", совсем ссутулилась и мотается во все стороны — должно быть, ее совсем сморило. Только наш "товарищ-начальник" неумоимо машет где-то далеко впереди своим белым сачком и иногда издает победные крики — это значит, что в его сачок попала какая-нибудь интересная живность. А живности этой вокруг нас великое множество — все кругом звенит, стрекочет и жужжит, лезет в глаза и уши.

Лошади наши совсем присмирели, уткнулись друг другу в хвосты и тревожно пофыркивают. Они боятся — то и дело наш путь пересекают мощные водопойные звериные тропы к реке. И я думаю — не слишком было бы приятно оказаться одной в таком глухом коридоре — тут, глядишь, и с медведем можно нос к носу столкнуться. Уже солнце скоро зайдет за горный хребет, а мы все едем и едем... Наверное, Александру Игнатьевичу тоже не больно

нравятся эти дремучие джунгли, и он хочет их поскорее проехать, но что-то им конца-края нет...

Наконец, он сворачивает к реке по какому-то звериному проходу. Подъезжаем! Проводники сапогами уминают траву для кострища. Слезаем с лошадей, разминаем ноги — восемь долгих часов верхом. Дежурные возятся у костра, готовят ужин, посуду. Едим наспех и без обычного веселья и песен. Сидим у своих мисок впрытык к костру, нас окружает стена травяного леса, сидим как на дне колодца. Лошадей даже не стреножили — они жмутся к людям, прямо над нашими головами хрупают траву, фыркают. И Шарик с каким-то виноватым видом трется у наших ног. Александр Игнатьевич явно озабочен — не нравится ему эта стоянка. Проводники даже свой ужин отложили — валят где-то рядом деревья для ночного кострища — тут хворостом не обойдешься. Я не сомневалась, что будь бы здесь рядом какое-нибудь хвойное дерево, он обязательно бы устроил опять ночную иллюминацию — поджег бы это дерево — но кругом были только липы, березы да ольха по берегу реки.

За ужином мы — на редкость дружно — решаем не ставить на ночь палатку. Надоела нам до смерти эта длинная темная кишка, где мы — одиннадцать человек — спали поперек. Было в ней, конечно, тепло и от дождя она спасала, но как муторно было ночью перелезть через груды спящих тел! Вытащили из вьюка длинную кошму — пол нашей палатки — и разложили ее поверх травы: но она и не думала прижиматься под тяжелым толстым войлоком: мы колотили по кошме кулаками, палками — ничего не помогало. Меня вдруг осенило — куда только девалась усталость! — я вспрыгнула на кошму и закричала: "Держите по углам крепче!" — и начала носиться по кошме вдоль и поперек, скакать и прыгать. Могучие упругие стебли подкидывали меня вверх — это было восхитительно! Наши стояли кругом и улыбались, проводники у костра хохотали. Впрочем, меня скоро согнали — нашлись недовольные. Минька решительно забросил на кошму свой спальный мешок и прошипел:

— Тоже — нашла себе детскую забаву... Спать надо!

И Наталья со своим мешком тоже недовольно ворчала. Мы расстелили свои мешки и стали укладываться. Трава немного поддалась, но все равно было мягко и покачивало как в люльке, и не было под боком ни острых камней, ни корневищ. Александр Игнатьевич укрыл нас сверху палаткой от утренней росы.

Здорово похолодало; вся летучая живность исчезла, даже комары пропали. До чего же хорошо!! Дышишь полной грудью, не надышишься; над нами черное бархатное небо и звезды мерцают. Пахнет дымком от костра и свежей мятой травой. Только бы полежать так подольше, и понаслаждаться, и не спать... Да какое там! Глаза сами закрылись... И я проснулась только от зычного голоса Александра Игнатьевича:

— Эй, господа-товарищи!! Проспите царство небесное! Вот уже где солнце и все ведра кипят!

Проспавшие дежурные живо скатились к костру и стали засыпать крупу. А я, налегке, хоть и холодно было, пробралась к ручью в укромное местечко и окунулась в ледяную кристально-чистую воду. Блаженство!

Прибежала вся мокрая от росы. Ну ничего, высохну — уж солнце к нам пришло. А еда-то уж готова и разложена по мискам — от гречневой каши, приправленной свежим бараньим салом, валит душистый пар. Бегу к своим "сильно перчащим". Они, вроде, меня мирно ждут — Игорь Евгеньевич и Миша Старокадомский — только ложками постукивают. В нашей тройке с Игорем Евгеньевичем не соскучишься — да и в соседней "слабо перчащей" команде тоже не скучают; то Петр съязвит и Коля грохочет на весь лес, то Веня Грановский своим тихим вкрадчивым голосом увеселяет своих соседей, и все смеются. Только Леонтовичи-Свешниковы насыщаются степенно, молча, по хозяйски... Хватаю ложку и с наслаждением набрасываюсь на обжигающую нутро наперченную кашу.

Погода чудная, ни облачка — опять будет жара. Въезжаем опять гуськом на эту бесконечную, да к тому же еще хлещущую мокрыми ветками тропу. Когда же она кончится? Смотрю на это потрясающее травяное богатство и не могу понять, почему оно совсем не используется — ни косы оно не знало, ни стада. Ведь наверху, на альпийских лугах, где трава иногда совсем неважная, пасутся огромные стада овец; и на других высокогорных долинах бродят табуны лошадей — а здесь? Какое-то заколдованное место. Звериное царство. Боятся его люди? Ведь даже наши проводники наотрез отказались есть медвежатину... Может и боятся... Но мало-помалу трава начинает снижаться — кругом стали видны деревья, веселые рощицы берез... Да и звериные тропы стали попадаться реже, а потом и совсем исчезли... Дорога расширилась и трава кое-где была потоптана скотом. Вдали послышался собачий лай...

Солнце стояло совсем высоко, когда мы подъехали к маленькой заимке с пчельником и с почерневшей от времени избушкой с мхом на крыше. К нам вышла совсем высохшая старушонка, как будто высеченная из темного мореного дуба — впрочем, двигалась она очень бодренько, прямо рысцой. Все ее морщинки лучились от радости — видно, она давно не видела человеческих лиц. Мы попросили у нее хлеба — надоело нам до смерти грызть сухари, привезенные еще из Москвы. Она радостно закивала головой и вынесла из избушки два больших пышных каравая. Потом на столик, сколоченный из почерневших бревен, она поставила большую миску с медом и кринки с молоком и простоквашей. Все свое богатство! Мы быстренько спешились, достали свои кружки — мы уже давно знали, что кержаки не дают своей посуды — и набросились на эти редкие лакомства. Макали в мед огромные ломти хлеба, которые накромсал Минька своим охотничьим ножом, и запивали молоком. Мы так наслаждались этой едой, что старушка совсем умилилась глядя на нас.

— А хозяина что не видно? — спросил Игорь Евгеньич.

— Да он, батюшка, чуть свет, уехал к соседу. И кадушку меда ему повез.

Он никаких праздников не пропустит. И меня все тащил — грех, говорит, не отметить такого большого праздника. А куда я от скотины уеду — совсем сдурел старик!

— А какой же сегодня праздник? — своим тихим голосом спросила Катя Старокадомская.

— Да ты что, девонька! — изумилась старуха, даже руками всплеснула, — дак ведь нынче Петров день!!

Так вот оно что, Петров день! Теперь понятно, почему Александр Игнатьич так торопился к своему "хорошему человеку", у которого он останавливался с Сапожниковым (он, мне кажется, даже забыл, как его зовут!). И ведь нам ничего не сказал! Мы все, как-то сразу повеселевшие после этого короткого привала, забрались на своих лошадей и поехали дальше. Сразу после заимки дорога пошла проезжая, да еще под горку.

— Ну, авось и мы поспеем на "большой праздник"! На Алтае всем гостям рады..

В делях Кавказского хребта
(Из путешествий по Центральному Кавказу летом 1927 г.)



Л.В. ПАРИЙСКАЯ — встреча в горах Кавказа, 20-ые годы

Пыльная, душная, летняя Москва, суета сборов, железнодорожные мытарства из-за разлива Кубани, долгий переход с вещами попеременно на лошадях, ишаках и волах — все позади. Мы в верховьях Баксана, в 120 верстах от Нальчика, в ауле верхний Баксан (Урусбиеве), и снова среди гор, солнца и воздуха. Здесь, в школе, мы оставляем свой багаж — палатки, высокогорное снаряжение, провизию — и в одиннадцать часов утра, налегке, трогаемся в путь. Мы хотим взобраться на г.Андырги (высота около 4000 метров), которая отсюда верстах в тридцати и лежит между долиной Баксана и Адыл-Су. Она мало исследована в смысле восхождения, как будто довольна трудна и расположена против Главного Кавказского хребта. Подняться решили в два дня, в виде тренировки перед нашей главной целью — Эльбрусом.

Все в прекрасном настроении. Ноги, отвыкшие за последние дни от быстрой ходьбы, идут сами собой. Два слова об участниках: нас, москвичей, пять человек, и двое грузин, членов Грузинского Горного общества, примкнувших к нам для восхождения. Пять мужчин, двое женщин. Народ все молодой, веселый, в путешествиях бывалый.

Погода в это время стоит хорошая, хоть дожди и перепадают каждый день в это беспримерно-дождливое лето. Днем жарко, ночью холодно. Смены температур основательные, но горцы приспособились: днем и ночью, бесменно, носят они теплую суконную одежду. Мы в своих легчайших костюмах, многие в трусиках, представляем для горцев целое зрелище. Когда мы проходим по аулу, молодежь (особенно женская) откровенно фыркает, а старики подходят, тычут пальцами на голые руки и, насупив брови, кидают свое "аман" (стыдно). Мы смеемся — еще бы! Здесь даже ребятишек с году одевают в длинную в талию одежду, с шароварами по щиколотки. А наши грузины рассказывают, что в одном из путешествий по Хевсурии не только женщин, но и мужчин заставили силой опустить рукава — вид голых рук даже по локоть приводил их в страшное негодование.

Идем вверх по долине Баксана. Справа невысокие, в осыпях, горы, слева несколько выше, они поросли редким хвойным лесом. Каменистая дорога вьется рядом с мутно-желтой, стремительно бегущей водой Баксана. Пустынно. Изредка встречаются скрипучие арбы с волами, горцы верхом. Голую, накаленную солнцем местность несколько оживляют кустики краснеющего барбариса. Это вся ее растительность. Унылая долина. Тем более манящими кажутся вдали снежные вершины Донгуз-Оруна; с него тянет приятным прохладным ветерком. Вдруг слева лежащая гряда гор расступилась ущельем, и мы увидели скалистую вершину Андырги. Здесь пришлось остановиться. Возник спор, как идти дальше. Лезть ли прямо напролом вверх, преодолевая крупнейшие осыпи, в полной неизвестности, что встретим дальше наверху (может, спуск вниз). Мудро ли обойти по ущелью Адыл-Су на ту сторону вершины, где склон положе и осыпей кажется нет. Вооружившись половиной бинокля — вторая отсутствует для экономии веса — в продолжении получаса изучаем вершину. В конце концов решаем за Адыл-Су.

Пошли. После легких сандалий тяжесть подкованных гвоздями башмаков приятно размеривает шаг. Мешки же одно удовольствие. Наш багаж невелик — несколько фунтов рису, свиное сало, сухари и шоколад. Двухдневный минимум. Из одежды — бурки на ночь. Десять верст прошли незаметно. Вскоре начинает попадаться мелкий соснячок, постепенно превращаясь в хороший сосновый бор. Наслаждаемся его видом — полтора верст не видели настоящего дерева вблизи.

Устье Адыл-Су. Здесь уже совсем недурно. И строится санаторий — первый в этой глухой округе. Когда он выстроится, это, конечно, вопрос, принимаемая во внимание восточный темп работы — но фундамент выложен. Камни, нужные для стройки, выковыривают из земли тут же рядом, в двух шагах. Пара волов, к постромкам которых прицеплено здоровенное бревно, волоком волокут его по пням и корневищам. Смуглый худощавый погонщик изредка лениво награждает их ударами по морде, на что они флегматично помахивают хвостами. Редкое туканье топора прекращается с нашим появлением.

По дрожавшим круглякам моста переходим быстрый, ставший узким Бак-

сан. Начинается ущелье Адыл-Су — и оно чудесно! Крупнейшие скалистые склоны с ревущим потоком внизу поросли роскошным хвойным лесом. Маленькая ишачья тропа, для нас совершенно неожиданная, вьется рядом с потоком. А впереди сверкающие снега Главного Хребта... По новому мосту переходим на левую сторону. Подъем становится круче. Ленточкой бежит тропа, то по осыпи, то скрываясь среди камней. Местность дичает. Громадные, голые, обглоданные водой стволы, преграждают поток, образуя мосты и плотины. Вода здесь бурлит и кипит крутящими водоворотами. Мельчайшие брызги радужно сверкают на солнце. Рев потока разлит в воздухе. Остановившись, не можешь глаз оторвать от стремительно несущейся воды.

Маленький привал. Уже четыре часа. Завтракаем — сухари и чудесная прозрачная горная вода. Яркий сверкающий день мрачнеет. Набегают облака, и сразу становится холодно. Надеваем фуфайки и двигаемся дальше. Лес внезапно обрывается, начинаются травянистые откосы. Между камнями пробивается малина, но останавливаться невозможно — рвем ее на ходу. Погода все более угрожает дождем. Становится сумрачно и неприветно. Мы озабочены — леса нет, как остановиться на ночь без дров? Однако за поворотом место меняется: снова лес, но уже лиственный.

Вдруг справа, по ту сторону ущелья, показался ледник Кашкатау. Зеленовато-синий, совершенно прозрачный, он висячими порогами обрывается вниз, оставляя за собой моренные россыпи. А рядом с нами березка, осина, ромашка... — все вместе какая-то дикая смесь. Смеркается. Мы прошли верст двадцать пять. Нужно останавливаться, да и дождь начинает накрапывать. Прыгая по камням, перебираемся через ручей, и слышим свист. Спешим — место для ночлега найдено. Громадный, нависший, метров в семь камень образует естественный навес. Внизу под ним совершенно сухая почва. След от костра, остатки сена, даже примитивный плетень сбоку — очевидно, здесь останавливались или жили когда-нибудь горцы. Вся эта благодать окружена высоченной, в сажень, крапивой. Беря ее с бою палками, оказываемся обладателями этого роскошного убежища. Все в восторге — еще бы! Вместо мокрой травы — сухая почва, вместо дождя — веселый костер.

Быстро закипает работа: рубятся дрова, разводится костер, и наш присяжный водонос бежит впотьмах вниз к потоку. Вскоре начинает приятно бурлить кипящая рисовая каша с салом. Найденные грибы (их тут масса) кидаем туда же — для навару. Под скалой у огонька уютно и тепло. А кругом — дождь, дико ревет поток, глушь... Оттого еще веселее и шумнее у костра. За кружками с чаем нашим водоносом произносятся тосты.

— За Эльбрус!

— Тра-та-та-та... — подхватывают тушем грузины.

Однако нужно спать. Завертываемся в бурки, а кое-кто понежнее подкладывает себе под бок крапивы. Все таки некоторый комфорт. Костер медленно догорает, и черная сырая мгла окутывает нас. Дождь моросит. В тишине наступившей ночи — только мрачный гул потока и как бы отдаленные пушеч-

ные выстрелы от передвигаемых им стопудовых валунов... Мы засыпаем...

Утро встречает нас весьма неприятно. Дождь не переставал всю ночь, и низкие клочья облаков тянутся, закрывая вершины гор ущелья. Над потоком стоит туман; сыро и промозгло. А по нашей наклонной скале начинает ручейками стекать вода — всюду капает. Уже восемь часов и никакого просвета впереди. Однако, публика почему-то настроена превесело. Один из наших спутников (все тот же водонос) горячо уверяет всех, что он предчувствует хорошую погоду через два часа. Мы смеемся, но верить хочется. Положение же на самом деле неважное; восхождение и спуск до скалы займет минимум двенадцать часов. Нужно выйти в шесть, чтобы дойти до темноты. А сейчас девять. Ждать следующего дня? Невозможно. Время на восхождение заранее и твердо определено нами в два дня. Больше мы пожертвовать на Андырги не можем. Слишком все заняты, а впереди большая цель — Эльбрус. Итак, или сегодня, или никогда. Будем ждать.

Погода изменилась, как всегда в горных долинах, внезапно. Вдруг показался глазок синего неба, тучи разлохматились, раздались, и выглянуло солнце. Все стало неузнаваемо. Туман, поднявшись и рассеявшись, открыл поток. Солнце сверкало в мокрых листьях и траве; лес оживился и повеселел. Быстро теплело; только под нашей скалой, в тени, все также холодно и сыро. Мы засутились — снаряжались, складывались. Смазывали бараньим салом башмаки — от сырости. Через четверть часа все готовы. Вещи — бурки, кастрюли, кружки — решили оставить в коше. По некоторым признакам он должен быть близко.

Пошли. Лес становится все своеобразней. Всюду, куда ни взгляни — огромные валуны в разноцветном мху. Между ними, корчась, лезут серые стволы деревьев. Тропа почти незаметна. Переплетаясь узором, она вьется между камней. Лес опять хвойный и высокий. Сумрачно даже сейчас. Скоро ущелье раздвинулось, лес поредел и мы вышли на небольшую ровную долину. Река разлилась, журча и играя, на несколько рукавов. На сыром болотистом берегу стоял кош. Рядом с ним — молчаливо наблюдающие нас худые женщины. Толстые коровы бродят вокруг. Выходит старик. Наши грузины показывают ему знаками в чем дело. Несмотря на полное незнание балкарского языка, они гораздо лучше умеют с ними объясняться. Старик кивает головой, мы складываем вещи, а женщины выносят айран. Восхитительный напиток! Несколько похожий на кефир, подкрепляющий, чуть алкогольный, он особенно хорош в таких далеких, заброшенных кошах. В городках, даже аулах, это совсем не то.

В одиннадцать часов начинаем восхождение. Выбираем направление от коша прямо вверх. Строго говоря на авось, т.к. вершины не видно. Темп берем быстрый, хоть он и не рекомендуется при больших подъемах. Но ничего не поделаешь, надо спешить. Склон крут, но идти не трудно: трава, камни и гвозди на башмаках не дают ноге скользить. Переходим границу леса. Низкорослые коренастые сосенки провожают нас, постепенно редая. Перед глазами

встают мощные алтайские красавцы — высоченные кедры. Среди ярко синих и огненно желтых альпийских лугов, были они великолепны.

Крутой травянистый откос. На минуту останавливаемся и считаем пульс — в среднем 120. Ужасно хочется влезть на гребень этой горы и посмотреть, где же вершина. Однако, не так то это просто. За первым видимым гребнем оказывается небольшая терраса и следующий гребень, за ним еще терраса, еще гребень и т.д. Видно, нужно запастись терпением. Уклон все круче. После небольших измерений приходим к заключению, что в некоторых местах он доходит до 60 градусов. Цифра чрезвычайно большая. Правда, восхождение становится возможным ввиду исключительно благоприятной поверхности — идешь как по ступенькам.

Мы уже высоко. Долина с кошем, трудно различимым отсюда, узкие ленточки реки и ершики леса — игрушечны. Даже ледник Кашкатау далеко внизу. Зато величавая картина Главного Хребта с каждым шагом становится грандиознее. Все шире и необъятнее разливаются горные просторы. Мрачные скалы и ослепительные снега застыли в вековом спокойствии. Справа и слева, ограниченная склонами Андырги, перед нами непрерывная цепь снежных великанов: Шхельда, Джан-Туган, Бжедук, Улукара... — сколько их... А любая могла бы составить гордость Швейцарии. А вот двуглавая гордая вершина, острая и снежная. Это знаменитая недоступная красавица Ушба, мечта альпинистов. Она далеко, по ту сторону хребта, в Сванетии.

А нашей вершины еще нет. Трава внизу, идем по каменистым звонким россыпям. Дэви, один из грузин, уходит вперед. Он прекрасный альпинист, ему не терпится определить правильность дороги. На небольшой, покрытой щебнем площадке останавливаемся — ждем фотографов. Приятно растянуться. Тихо. Говорить никому не хочется. Лежу, смотрю вверх. Горное солнце припекает. Синее, синее небо... И немного странное. Нет знакомой водянистой прозрачности, темный свод кажется плотным, ограниченным — и низким. Догоняют остальные. Закусываем сухарями. Воды нет, придется ждать до ледников. Трогаемся дальше.

Поднявшись на маленький холмик, наконец видим вершину Андырги. Она отсюда не привлекательна: за гребнями морен высится конус, скудно покрытый снегом. Зато путь взяли удивительно удачно, ни зигзагов, ни вынужденного спуска, но идти еще порядочно. Между тем три часа. Дэви исчез — свистели и звали его безрезультатно. Впрочем, он не пропадет, конечно.

Идем по морене. Наши фотографы остановились, я ухожу вперед. Чудесно здесь, более чем чудесно! Справа под длинной осыпью в полверсте внизу застыла ледниковая долина, слева красновато-серая, вся в россыпях каменистая вершина Джапырталя. А сзади, куда глаз хватает, сверкающие снега и вершины. В ста метрах внизу букашки копошатся, это наши люди... Тишиной покрыто все. Особенной, горной, ни с чем не сравнимой. Не нарушая ее, чуть лепечет где-то далеко внизу невидимый ручеек. Простор на сотни верст. Вокруг горный мир, веками неизменный, нечеловечески спокойный.

Погиб человек, побывавший в нем: он захватывает и покоряет на всю жизнь. Эту горную могучую и спокойную красоту уже не может заменить ничто — ни наши родные леса и перелески, ни солнечный, блестящий красками Крым, даже море, чудно сверкающее беспредельное море бессильно. А как часто во время повседневной, будничной работы вдруг перед глазами властно встают эти картины — и забываешь обо всем на свете...

Однако справа, за вершиной Улу-Кара, что-то неладно. Черно-синие мрачные тучи налегают на ее массивную вершину. Скоро они переползут через хребет и этому сверкающему благополучию будет конец. Дело скверно. Скоро возможна гроза, снег, в лучшем случае нас закроет облаками. Поджидаю остальных. Совещаемся. Уже четыре часа, до вершины порядочно, а нам предстоит еще спуск вниз на полторы тысячи метров, да еще по какой крутизне. Оставлять его до темноты слишком рискованно. Вдруг странный, неизвестно откуда идущий крик прорезал воздух. Быстро и в недоумении оглядываемся вокруг. На небе ярким силуэтом вырисовывается конус вершины, на ней точка, движется. Это Дэви.

— Дэви на вершине!

— Ура!..

Все в диком восторге кричат, машут шапками, палками. Поразительно, как долетел до нас его голос — отсюда до него никак не меньше версты.

Решаем подняться до "седла", гребня цепи гор, разделяющих долину Баксана и Адыл-Су. По этому гребню идет подъем на конус вершины. С него должен открыться вид на ту сторону, на долину Баксана. Наш путь все время по морене. Ее обычная картина — осыпь справа, осыпь слева, посередине гребень, иногда очень узкий. На Алтае, при восхождении на Белуху, нам пришлось подниматься в продолжении часа по морене шириной в человеческую ступню. С обеих сторон глубоко уходящие вниз осыпи с непрерывно катящимися камушками. Здесь морена широкая, основательная. Идти удобно. Зато гребень стал так прихотливо изгибаться вверх и вниз, что пришлось пробираться сбоку, по косогору.

Избрав несколько другой путь, чем остальные, вдруг попадаю в очень неприятное положение. По крутому наклону, почти под предельным углом, напелены звонкие камни. Звонкие от полной своей неустойчивости. Чувствую это, иду осторожно, напряженно. Сажени две такое место, дальше склон, отложе, камни мельче. Вдруг при одном шаге камень под одной ногой сдвинулся чуть заметно. Застываю на месте. Чувствую ясно, что если сделаю сейчас хоть одно движение, то при малейшем сдвиге любого камня лавина обрушится до самого ледника. На полверсты вниз. На лбу выступил пот, стало немного жутко. Однако спокойствие. Осматриваюсь. Замечаю в полуметре от своей руки выступающий край массивного камня. Может, выдержит. Надо дотянуться. Осторожно, стараясь не перемещать центра тяжести своего тела, дотрагиваюсь до него двумя пальцами — он не двинулся. Теперь выбраться уже пустяки.

Такие случаи полезны — из них составляется опыт. Быстро пробежало, чуть касаясь земли и обдавая мельчайшими брызгами дождя, первое облако. Скоро мы будем совсем в тумане. Справа снизу, между нами и ледником, выгнулась радуга, яркая, близкая. И такая осязательная — вот спустишься вниз и потрогаешь. И что поразительнее всего — горизонтальная.

Солнце скрылось, стало холодно, сурово и мрачно. Кажется нигде солнце не меняет картину, как на этих высотах. Спешим, сколько возможно, по этим проклятым осыпям. Идти по ним довольно нудно. Вот и седло. Мы примерно на высоте 3500–3600 метров. Сейчас пять, значит всего 6 часов подъема. Навстречу идет Дэви. Рассказывает, что до вершины путь прост, но довольно долог. Вершина плоская, образует целое большое поле. Теперь можно отметить, что вопреки описаниям Андырги в Москве, восхождение на нее никаких трудностей не представляет. Подъем крут — но и только.

На седле же холодно, бешено холодно. Пронзительный ледяной ветер пронизывает насквозь. Осматриваемся. По ту сторону Баксана не видно. Там почти замкнутый отвесными мрачными иглами скал спускается небольшой ледник. Сужаясь к выходу, он падает порогами и исчезает. Этого ледника на карте нет, также как и лежащего у нас по эту сторону справа под ногами. Жадно пьем ледниковую, талую воду, черпая ее понемножку, наполовину со снегом. Напиться невозможно.

Поворачиваем назад, двигаемся опять по морене. Дэви впереди. Скоро оказываемся в сплошном, но довольно редком тумане. Внезапно Дэви предлагает по осыпи спуститься вниз, на ледник. Взглянув на него несколько круглыми глазами — соглашаемся. Сначала осторожно, откинувшись всем корпусом назад и тормозя сзади палкой, затем все ускоряя и дойдя до огромных прыжков, мы несемся вместе с потоком песка и щебня. Стремительно в несколько минут опускаемся метров на 300. Вот это спуск!

Внизу такой же туман, но тихо. Идем вдоль ледника, по глыбам камней. На первом же бугорке реденькой травки останавливаемся закусить: съесть шоколада и выпить глоток водки. Алкоголь удивительно действует — буквально двух глотков оказалось достаточным, чтобы мы почувствовали себя опьяневшими. По крайней мере настолько, "что всякое море по колено". Впрочем, это состояние скоро прошло, не отразившись на успешности спуска. Разъяснилось. Ключьями летели цветные на закате облака. Выглянуло солнце. Лиловые и красные краски заиграли на вершинах, на зеленоватом фоне неба. Ровная пелена тумана у нас под ногами. Долина Адыл-Су и маленький кош — все скрыто. Небо, солнце, облака и горы, горы без конца. Воздух свеж и чист до предельности.

Начинает смеркаться. Бесперывно спускаемся по крупнейшему травянистому склону. Проходим полосу тумана. Спешим. Вдруг сверху, у отставших раздается вопль и мимо нас со страшным грохотом проносится громадный камень. Один из товарищей внизу инстинктивно делает огромный прыжок в сторону, и в тот же момент в его ледоруб со страшным треском ударяется

камень, высекая в полусумраке целый сноп искр. Счастливо отделался!

Вскоре черная мгла окутывает нас. Из темноты выныривают перед носом черные пятна кустов, мохнатые лапы деревьев. Неопределенно мерцают пятна валунов. Но привыкшие к одному движению, мускулы уверенно и механически делают свое дело. По большой мокрой траве, ямам, между громадных корневищ и камней, почти инстинктивно, не падая, мы выбираем дорогу. Бесперывно перекликаясь, чтобы не растеряться, мы к девяти часам достигаем мерцающего огонька коша. Итого четыре часа спуска.

В коше от костра тепло, уютно. Приветливо потрескивает огонь и дым, облизывая черные глянцевые бревна стен, улетает сквозь щели наружу. Бедно и скудно, но веселые прыгающие тени костра оживляют все кругом. А хозяйка уже месит кукурузные лепешки-чуреки, и из кожаных, страшного вида бурдюков наливают пенящийся айран. Чудесно сидеть у огня, вытянув ноги. Мускулы приятно гудят, а голова бодрa и свежа, как никогда. Айран, чуреки (как жаль, что без соли), свежее, только что сбитое сладковатое масло — все удивительно вкусно. Горцы улыбаются, глядя на нас, мы знаками выражаем свое удовольствие. Пар валит от наших сырых ног и одежды — мы мокры насквозь. Подсушились сколько возможно, но, конечно, относительно. Ну да завернемся в бурку, не беда. Расплачиваемся с гостеприимными хозяевами и выходим наружу.

Дивная ночь. Лукаво высунувшись из-за ледника Кашкатау яркая луна освещает зеленоватым светом его льды. Ни облачка на небе. Прозрачно, холодно и тихо. Мы входим в лес. Что за фантастика! Всюду на земле, в хаосе валунов, на стволах деревьев и в листве — блестящие лунные блески, пятнистые тени стирают рельеф. Трудно идти. Мне вспоминается сказка Киплинга, где в некие далекие первобытные времена некоторые животные, забравшись в удивительный, темный, пятнисто-играющий лес, окрасились в его защитный цвет и водили за нос тигра. Этот лес был, вероятно, таким же. А мы чуть было не заблудились в этих лунных бликах.

Подшли к нашей скале — и замерли. Скрытый до сих пор облаками, перед нами стоял Эльбрус. Его великолепная двугорбая вершина светилась на черно-синем фоне неба. Отлогие ровные склоны окутаны сплошным мерцающим покровом снега. Склоны потухшего вулкана, застывшего, спокойного... А вокруг необъятные снежные поля, ледяные пространства... Цепь мрачных кавказских великанов рядом снижается, спадает... Эльбрус один. Могучий, окруженный легендами всех племен и народов Кавказа, застыл он в своем одиноком величии... Ты спокоен, Эльбрус? Даешь полюбоваться своей безмятежностью? Или забыл о своих ужасных ураганах, метелях, о страшных двадцатиградусных морозах. Многие боролись с ними, упорно, со скрежетом в зубах — и отступили... Людям не под силу твои забавы, это верно. Ох, Эльбрус, Минге-Тау, как-то ты встретишь нас, грешных.¹⁰

¹⁰Спустя несколько дней Н.П. Свешникова дошла до вершины (и стала первой женщиной, покорившей Эльбрус); И.Е. Тамм, Н.Н. и Л.В. Парийские поднялись до седла.

Повести и рассказы

Сон

Огромный заброшенный дом среди парка; облезлая штукатурка, большие каменные плиты пола. Тускло горят лампы, сладостно и щемяще пахнет елочной хвоей... почему елочной?

Сегодня Карнавальная ночь. Из залы слышен молодой смех. Это "мой" дом и "мой" молодые гости, и я должна сделать все, чтобы они были счастливы. Я одна сама с собой, со своим внутренним голосом... Я спрашиваю его, и он мне отвечает, но никто не слышит этого разговора самой с собой. Это совсем, как в фильме "Красное и черное".

Я вхожу в зал. На столе охапки цветов, крупных южных цветов. Слышен приглушенный смех и говор, некоторые гости в причудливых костюмах... Ведь карнавал!! Но меня никто не видит. В центре одной группы легкий сухощавый молодой человек, с такой знакомой угловатой грацией. Но где его обычная скованность и сдержанность? Он весел и бодр, он оживленно что-то говорит, и все кругом дружно смеются. Но я не слышу что он говорит, это немой фильм.

— Неужели это Давид?

— Да, это Давид...

— Но почему он такой молодой и веселый? И что он может так говорить? Я никогда не видела его таким. И где же Рада?

— Рады еще нет. Разве ты не видишь, ведь это еще "тот" карнавал!

— Так может быть и "та" девушка здесь?

— Может быть...

— Я хочу ее видеть. Покажи ее мне.

— Узнай ее сама.

— Но, может быть, он и меня еще не знает?

— А как ты думаешь?

— Нет, он не может меня не узнать. Но если я подойду, я что-то нарушу, ведь правда? А я ничего не должна нарушать... Нет. Я пойду к своей Асе. Но где же она? Вот она, моя Ася... У нее сияющие глаза; какой-то бледно-желтый цветок заткнут в ее волосах. Она так насквозь пронизана ощущением молодости и будущего счастья, что у меня радостно бьется сердце... Она такая, как была в шестнадцать лет. Она бежит ко мне:

— Мама, мама, да где же ты? Ведь ты же главный постановщик — ты забыла?..

— Да, я главный постановщик огромной карнавальной парады, где все должны быть счастливые. Но почему я до сих пор не одета? На мне жалкое платье и я босиком. Скорей, скорей бежать переодеваться. Я живу где-то в парке в маленьком домике. Я бегу вниз по каменным ступеням веранды.

Какая ночь! Какие причудливые лунные тени на заросших дорожках, какой бесшумный тревожный ветер! "Она насквозь тревожная..."

— Кто это оказал?

— Это Давид сказал.

— Да, я была так зла на него за Баха! Я ему сказала: "Это тоже Вас успокаивает?" Но он горячо ответил: "Нет, нет — ведь она насквозь тревожная". "Как ночной ветер" — добавила я про себя. И мне сразу стало радостно.

— Почему, ведь это же был Бетховен?

— Но ведь это и я сделала его "насквозь тревожным". Почему же мне не радоваться?

Но где же мой дом? Как странно, я не могу найти своего собственного дома — я заблудилась в своем собственном саду...

— Но ведь это же сон — разве ты этого не знаешь?

— Да, конечно, я знаю, но все-таки...

Здесь кругом все как-то странно знакомо, но я не могу понять, когда и с кем я здесь была. Вот сейчас тропинка должна пойти вниз и откроется река. Да, так и есть — лунная широкая река. С черными деревьями на берегу. Что это за река?

Но вдруг где-то близко раздается хриплый голос диктора:

— Гражданка — внимание — внимание! Гражданка — внимание. Сейчас возможно воздушное нападение — воздушное нападение!! Спасайте черную лодку! Спасайте черную...

Какую черную лодку? Что за чушь! Но что это? Прямо, передо мной, по реке, бесшумно несется катерок и две лодки — белая и черная. Черная лодка? Та самая черная лодка?! Какие бессмысленные вещи снятся иногда во сне! Но почему мне так страшно и так холодна та скала, к которой я прислонилась.

— Вы боитесь умереть?

— Я не хочу сейчас умирать...

— Но вспомни, ты же сама хотела... Но разве тебе сейчас плохо жить?

— Нет, нет, мне не плохо жить!

— Разве ты не сейчас по настоящему узнала, какие чудесные люди вокруг тебя? И твой муж и твои дети и твои друзья...

— Да, да — это правда! Это огромное, хоть и горькое счастье.

— И разве ты бы хотела сейчас спокойной жизни, самой обыкновенной спокойной жизни?

— Нет, нет!..

Но чья это рука так упорно гладит меня по голове? Такая знакомая, жесткая, сильная рука, и я слышу его голос:

— Вставай, вставай — уже без четверти восемь!

Я открываю глаза... Что за удивительный сон, какая дикая романтика! (Да впрочем, ведь и сама жизнь?..) Вот он передо мной — мой главный романтик. Переломал все вокруг, а теперь стоит рядом и гладит мои волосы... А Давид? И он, должно быть, не без этого греха. Иначе почему бы ему пришлось читать эти строчки. Да и были ли они вообще — написаны?..

Два часа жизни

Час первый

Был поздний вечер, когда Оксана вошла в почти пустой автобус. Она забилась в теплый угол и закрыла глаза. И сейчас же, как грибнику мерещатся в темноте грибы, прелые листья и мох — так и в ее голове, еще не остывшей от напряженнейшей работы, потянулись длинные ряды пятизначных чисел. И какой-то внутренний глаз был вынужден следить за их закономерностью. Что это были за числа, и какая в них должна быть закономерность? Кто знает. Но только с этим невозможно было бороться. Да и не к чему. Хорошо, что дети спят. И хорошо, что никто не знает, что она так поздно работает, а то поднялся бы шум.

Было тихо, все дремали, и кондуктор тоже клевал носом... "Но вы же настоящая чудесница, Оксана Николаевна!!.." — вдруг возник в ее голове такой знакомый, чуть хрипловатый, радостный голос. И она так живо увидела "Лавренчика" — свое начальство, всю его напористую, азартно подпрыгивающую задорную фигурку, что губы ее невольно улыбнулись. Эх, Лаврентий Сергеевич, милый человек. Он умел так неподдельно изумляться быстроте ее работы, что, кажется, можно было вывернуться наизнанку. Но ни к чему ее сейчас было подхлестывать. Ей самой была необходима вот такая работа, поглощающая все мысли. Когда осталась численная проверка теории, и знаешь, что теперь все зависит только от тебя, и считаешь дни до конференции, и все в тебе так напряжено, что уже нет места физическому утомлению. И вот так можно жить. А что будет дальше — не стоит думать.

Была гололедица, шел снег, автобус тащился бесконечно долго. Постепенно мысли Оксаны стали мешаться, и она крепко заснула. Но когда кондуктор назвал ее остановку, она вскочила — какая-то вся освеженная — спрыгнула с подножки и сразу провалилась в пушистый легкий снег. Колючая снежная пыль обожгла ей лицо и захватила дыхание. Метель неслась по пустынной магистрали, то наметая сугробы, то вылизывая дочиста черный зеркальный лед асфальта.

Несколько секунд Оксана стояла, с наслаждением вдыхая живительный свежий воздух, и вдруг, неожиданно для себя, побежала домой дальней дорогой через старый парк. Фонари качались и горели каким-то ослепительным зеленоватым светом. Ветер с неистовой силой гнал навстречу сверкающие тучи снега. Он пригибал тополя и с треском ломал обледеневшие ветки ясеня. Он принес давно забытый ею запах лесов и полей и выветрил не только напряжение работы, но даже и то глубоко запрятанное и запретное, о чем нельзя было ни думать, ни забыть. И от этого стало так непривычно легко, что ее охватила беспутная мальчишеская радость, она то шла, то бежала, высоко поднимая ноги, по пушистому легкому снегу, радостно дыша и всем телом сопротивляясь ветру. И не видела ни фонарей, ни красно-бурого низкого городского неба. Ее мир, уже давно жестко ограниченный стенами института,

улицами города, кухней, и всякой мелочной возней, вдруг широко раздвинулся и она почувствовала над собой необъятное темное небо. Вьюжные тучи неслись над шумящими лесами и глухими ночными полями и засыпали и дороги, и лесные тропинки, и бесконечные, во все стороны идущие лыжные тропы...

И вдруг выплыло из памяти. Глубокая ночь. И они стоят втроем на чуть видной лыжне. Кругом скованный морозный лес. Тихо так, что слышно, как глухо бьется после быстрого бега сердце. И сквозь белые вершины могучих елей мерцает ясное звездное небо... Или высокий крутой берег какой-то большой реки. Вечереет. Впереди длинный неведомый спуск, и от этого немного страшно. И там внизу уже голубые темные сумерки. А наверху еще все розово и бело, и неподвижно стоят на горе два огромных белых дуба, обросших мохнатым инеем... Или весенний мартовский день. Солнце и синее небо. Кругом ослепительно-сверкающий наст полей. Стоишь зажмурясь, без шапки, и солнце пригревает, и свежий ветер шевелит волосы. Стоишь и смеешься чему-то, и ничего больше тебе не нужно. Как можно жить без этого так долго?!

Поземка закрутилась вокруг и налетела на нее с такой силой, что Оксана на мгновение застыла на месте и спрятала лицо руками... Метель, метель. Когда была такая же вьюжная ночь? Пятнадцать, нет шестнадцать лет назад. Когда она, "та тоненькая девочка с блестящими глазами", внезапно поняла что-то такое, от чего у нее закружилась голова и она вся наполнилась озорством и лукавством. Потому что опять "случайно" (в который раз!) встретила у дверей консерватории смущенного Глеба и вдруг, неожиданно для себя, предложила ему вот сейчас, в ночь, ехать на лыжах... Почему она это предложила?!.. Она и ездить тогда на лыжах почти не умела. А он вдруг восторженно и покорно согласился, такой взрослый и во всем положительный, ехать куда-то в ночь, в пургу... И они поехали, и, конечно, скоро потеряли лыжню и сбились с дороги. И Глеб, заботливый и восторженный, останавливался и отогревал ее руки и боялся за них... Нет, тогда была другая, весенняя, легкая метель. Сквозь рваные тучи глядела луна, а с деревьев сыпался снег и все мерцало каким-то голубым светом.

Где же она, эта девочка, которую, как на крыльях, носило по лестницам консерватории? И где же вообще весь тот мир веселых людей, которые почему-то всегда улыбались ей? Или в ней самой было столько счастья, что его хватало на всех окружающих? Это было и счастье, и гордость, потому что Глеб был самый талантливый аспирант и композитор. Самый умный, самый благородный (самый красивый!) и вообще "самый, самый", от которого "сходили с ума" все девушки консерватории. И он почему-то предпочел ее всем. Был ли у нее все-таки талант? Трудно сказать. Когда человек так счастлив, может ли у него быть в чем-нибудь неудача, чем бы он ни занимался? А может быть все-таки был?..

...И вдруг на нее обрушилось, как лавина, мощное вступление оркестра и стремительный поток звуков оглушил ее и уничтожил. И она сидит у рояля,

чуть дыша, замерзшая и потерянная... Она ждет. И вот последний строгий разрешающий взгляд Толи, их лучшего дирижера, и наконец она вступает, робко, и новые звуки — легкие рассыпающиеся звуки рояля вливаются в общий, стремительно нарастающий поток... "Неужели это я? Как хорошо"... — но и эта мгновенная мысль исчезает, и она вырывается вперед, и уже за ней покорно и радостно ведет свой оркестр Толя... И вот последние мгновения этого напряженного самозабвения, последние мощные финальные аккорды, и откуда-то издали врывается в сознание гул аплодисментов, и чья-то сильная рука берет ее руку, и она видит кругом блеск восторженных глаз и кланяется неловко и убегает, и ее окружает шумная толпа друзей, но это все не то... Главное было найти там, где-то сзади, серьезные и радостные глаза Глеба, которые говорили: "Да, все было так, все хорошо!"... Было это? Было. Как же получилось, что и это все забыто? Война? Нет, война могла быть только досадной отсрочкой.

У нее было столько сил и желания, что она сумела бы восстановить все. Но нет, случилась эта бессмысленная гибель. Она все разрушила до конца. Если бы он погиб на войне, это все-таки как-то легче было бы принять. Не в войне было дело. Было и ей, конечно, трудно, очень трудно. Тогда пришлось уехать из Москвы, была брошена музыка. На ее руках остались двое маленьких ребятишек, а она и сама тогда была девчонкой совсем. И Глеб разъезжал где-то во фронтовой бригаде неизвестно где. И все-таки от этого времени у нее осталось что-то очень хорошее, потому что именно там, в Талицах, в этой глухой уральской деревушке, она перестала быть девочкой и стала настоящим участником жизни.

Сначала, правда, было очень тяжело. Были проданы все вещи, которые можно было продать. Кончились деньги, от Глеба не было никаких вестей. Было необходимо начинать работать. Она пошла в колхоз, больше было некуда. Не трудная работа — прополка — а как ей тяжело далась на первых порах! Ее нежные руки, за которыми приходилось всегда непрерывно и заботливо следить, покрылись волдырями от жесткого осота. Она обматывала их тряпками, но ничего не помогало. На прополке работали старухи, они ее жалели и этого было мучительно стыдно. Только когда ее перевели на сенокос, она наконец вздохнула. Она была подвижная и быстрая, разбивать валы и сгребать сено было нетрудно. Руки постепенно грубели, стали жесткими, и вся она из тоненькой хрупкой девушки превратилась в сильную крепкую женщину — в "моторную бабу". Она исподволь, уже в первое лето, научилась косить, а на второе лето стала в первые ряды косцов. Колхоз был сплошь бабий — она вошла всей душой во все их радости и горести.

А до чего же было хорошо в Талицах, если вспомнить! Ну разве она раньше знала, что такое раннее летнее утро? Когда на рассвете, захватив косу, бежишь налегке, не евши, по росистому лугу и еще чуть розовый туман встает над озером и кричат утки... И вот оглядываешь хозяйским взглядом отведенный тебе луг и начинаешь косить... С каждым взмахом отступает назад

стена высокой тяжелой травы. Солнце встает, густо и сладко пахнет вянущей таволгой, становится жарко. Пот льет со лба, но уже привычные и выносливые руки все так же мерно, с таким же широким размахом, со свистом подсекают падающую траву. И грудь дышит глубоко и ровно, и очень хорошо и спокойно, что ты такой же как все... И вот уже бегут с узелками ребятишки из-за кустов, и Таня позади в красном драненьком платье волочит за руку пыхтящего Сашку. И тогда, бросив косу, хватаешь своего ненаглядного чумазого "цыганеночка" и подкидываешь его кверху. А Таня в белом платочке деловито пытается развязать узелок — она ведь и в эти четыре года уже "большая, умная", бесменная Сашкина нянька. И они садятся в тенек на скошенную душистую траву и с наслаждением, обжигаясь, едят горячую картошку с крупной серой солью...

Да, и тогда, в войну, были свои радости — маленькие и большие. Достала ребятам валенки на зиму — радость. Прислали друзья посылку, два кило сахару! И ребята восторженно грызут давно забытый сахар. Или она сидит смущенная на колхозном собрании. Набилась полная школа баб, ребятишки сидят на полу, горит чуть видно керосиновая лампешка под потолком, и ее премируют подарком — голубым ситцевым платочком. И Гавриловна, "председательша", говорит про нее, что вот приехала она из города никудашненькая, ни к чему ее руки не были приспособлены, и гляди вон, как развернулась, как разработалась баба — вышла в самые ударницы! И все шумно хлопают — и вот это уже не маленькая радость. Может быть, она даже большая, чем тогда в консерватории.

Да, и тогда были свои радости, хотя в сердце все время жила тревога — но кому тогда было не страшно, и кто не горевал? Вместе горевали и ревели, когда приходила похоронная, и от жалости, и от тревоги — потому что кто же знал, может и твой сейчас не живой и не здоровый... И если бы он погиб тогда, было бы легче. А Глеб погиб, когда все съехались в Москве, когда уже отгрохали последние салюты, когда кругом у всех еще были горячие встречи, и впереди была консерватория и столько больших надежд! Погиб просто под машиной, где-то на перекрестке под Москвой... И если бы не Володя...

Все мысли ее вдруг быстро смешались, и Оксана очнулась. Парк уже кончался, она далеко прошла свой переулок. Было очень неприятно и холодно. Вьюга бушевала, и хмурое небо все с той же неистовой силой сыпала на землю снег. Оксана прислонилась к гудящей мачте фонаря и онемевшими руками вытряхнула снег из туфель. Ноги были мокрые по колено. "Я сошла с ума", — подумала Оксана, — "Талицы, почему я вспомнила Талицы? И обрадовалась чему-то..."

Она завернула в пустынный переулок. Здесь, между высокими домами, было теплее. Метель бушевала где-то по крышам, и только — изредка с карнизов срывались легкие снежные водопады. Было так тихо, что Оксана услышала, как в ее голове тоненько звенело. Ее тело, привыкшее к борьбе с ветром, стало каким-то невесомым и ее пошатывало. "От голоду, что ли?" —

подумала Оксана. Она думала вяло и буднично, вдруг вся ослабев от этого внезапного наваждения, которое с такой силой встряхнуло все ее чувства. Она вспомнила, что сегодня не успела пообедать. Это дико и глупо — не обедать. Но уж очень хотелось получить результаты, и вот пропустила столовую. Она представила себе взлохмаченного, потного Игоря, который с виноватым видом притащил ей из буфета черствое пирожное, единственно, что ему удалось выклянчить у уходящей буфетчицы. Оксана устало улыбнулась замороженными губами и на сердце стало теплее. Нет, на работе можно жить. Если работать так, как последнюю неделю.

Все-таки удивительная у нее судьба. Как из нее, из музыканта, вдруг мог получиться вычислитель? Тогда, когда Володя сказал эти жесткие, нет, не жесткие, а жестокие слова: "У тебя есть дети и ты, а никто другой, должна их кормить", — тогда ей все было безразлично. Может быть, и нужно было тогда так разговаривать. И он тогда еще сказал: "Если невозможно устроиться по специальности, нужно идти на любую работу, которую может делать человек, окончивший среднюю школу".

И она пошла с его товарищем, с Костей. И ей, наверное, было бы очень страшно идти в этот Институт, такой далекий от прежних ее интересов, если бы не было так все равно. И все-таки она очень ясно помнит свою первую встречу с физиками. Когда они с Костей открыли дверь в кабинет, маленький, быстрый старичок с пушистыми белыми волосами мгновенно соскочил с ручки кресла и, с необычайной живостью перебирая ножками, подскочил к ней.

Это был Горин, крупный физик-теоретик, человек с большим мировым именем. Несколько молодых людей ее возраста, очень высоких и очень низеньких, толпой стояли у школьной доски, исписанной какими-то значками. Они сразу замолчали и стали смотреть на нее с любопытством и сочувствием. Должно быть, Костя им что-нибудь рассказывал про нее. Горин представил Оксану как нового сотрудника. Он приветствовал ее со старомодной любезностью и говорил всякие милые глупости — о том, что он счастлив, что в его Отделе будет работать представительница самой прекрасной музыки, что он уважает эту музыку необыкновенно, хотя судьба лишила возможности быть с ней знакомым, может быть потому, что его брат в детстве наступил ему на ухо — право, право, в самом деле был такой прискорбный случай — и что-то еще в этом роде. Но в его живых под седыми бровями, молодых, умных глазах было столько настоящей человеческой теплоты, что у Оксаны защемило в горле.

Должно быть, он заметил это и задался целью во что бы то ни стало ее развеселить. Он заявил, что он еще счастлив тем, что в их Отделе, наконец, появится представительница прекрасного пола, и что он надеется, что она облагородит их общество, потому что, хотя все эти молодые люди весьма свободно расправляются со всякими операторами и формфакторами, но между собой они изъясняются, в основном, на языке знаменитой Элочки и имеют в употреблении всего несколько слов, например: "Колоссально!!!..", "Это го-

лова!!!", "Это не дотянул!", "Собачий бред!", "Ни в дугу!!!" Как еще? "Железной ногой!!!" — приятным низким голосом подсказал один светловолосый, с ясными голубыми глазами, и все дружно захохотали. А светловолосый хохотал "хо-хо-хо!" так самозабвенно и оглушительно, что у нее потеплело на душе и что-то в ней растопилось.

Да, вот именно в этот момент окончилось это ее каменное безразличие и она стала выздоравливать. Она решила, что ей нужно ответить, и сказала, что, к сожалению, она сейчас так же далека от прекрасной музыки, как и все они, и в настоящее время единственное дело, которое она может делать — это косить и жать, и если их может устроить такой сотрудник, так сказать "от сохи", то она тоже будет рада. Нет, вообще, все тогда было хорошо и Костя страшно доволен.

На другой день она пришла на работу, и ребята извлекли откуда-то из-под стола пыльную счетную машину, на которой эти талантливые молодые люди иногда считали одним пальцем. Оксана мгновенно освоила машину и сразу научилась развивать на ней большую скорость. Но потом было очень скверно.

Это было время, когда Оксана, кажется, совершенно непрерывно сидела с красными от стыда ушами. Потому что быстро выяснилось, что она начисто забыла всю математику, которую проходила в школе. Нельзя сказать, чтобы ей когда-то очень трудно давалась эта математика. Пожалуй, даже наоборот. И вообще она никогда не принадлежала к касте презирателей точных наук, которая была очень многочисленна в их музыкальной школе-десятилетке. Но факт оставался фактом: она забыла, что такое логарифм и как управляться с синусами и с каким-то арксинусом. Она пыталась читать учебники, но там все вытекало из предыдущего, а этого предыдущего она не знала.

Ребята ее жалели. Разумом они, конечно, понимали, что можно забыть такие вещи, если не встречаться с ними столько лет, но органически это было им не понятно и могло только вызывать жалость. А Оксана ненавидела всякую жалость. Но потом пришло неожиданное избавление. Это был маленький карманный справочник элементарной математики. Именно эти готовые рецепты были ей тогда так нужны и это сразу внесло успокоение в ее жизнь. Чем дальше, тем быстрее она разбиралась в задачах, сложность их возрастала, и то, что никто не мог упрекнуть ее в бестолковости, давало внутреннее удовлетворение. Ребята научились с ней разговаривать доходчивым языком, она легко усвоила, что такое интеграл, и что такое — двойной интеграл, и как интегрировать дифференциальные уравнения. Она сама себе удивлялась, потому что чувствовала в себе какую-то интуицию — может быть, у нее были даже какие-то способности к математике? Ведь находили же у нее когда-то композиторское дарование — а она где-то слышала, что в этом есть общее. Вот и Глеб очень долго колебался в выборе профессии между физиком и музыкантом.

Она находила что-то скрытое между музыкой и математикой. Она хорошо помнит, как ее поразили в одном справочнике изображения в пространстве

причудливых функций Бесселя — с уходящими в бесконечность косинусами. Она долго, почти с благоговением рассматривала их, и эта фантастическая закономерность вдруг представилась ей как застывшая музыкальная картина. Она как-то легко и незаметно вошла в этот прочный мужской коллектив. Давно прошло то время, когда они испытывали к ней то обычное сочувствие, которое испытывают все нормальные люди к человеку, перенесшему большое несчастье. Она всегда легко подмечала смешные стороны людей и они скоро поняли, что и у нее не плохо "подвешен язычок", и в зубоскальстве она никому не уступит.

Эти молодые люди, засидевшись, могли развлекаться самыми необыкновенными способами — заниматься боксом, прыгать через стулья или сбегать с лестницы с такой непостижимой быстротой, что дрожали потолки и степенные экспериментаторы возмущались, что "этим теоретикам" все дозволено. Они могли издеваться друг над другом, иногда даже грубовато, но за этой внешней грубостью скрывалась такая внимательная поддержка друг друга, которая не переставала восхищать Оксану. Собственно, это не была дружба. Они все были очень разные, от очень примитивных до очень разносторонних и культурных людей. Это было именно крепкое товарищество. Она никогда не могла заметить ни тени зависти к успеху другого, ни разу не видела, чтобы кто-нибудь, как бы он ни был занят, отказался обсудить вопрос с товарищем и показал хотя бы малейшее неудовольствие, что его вывели из круга своих мыслей.

Сколько раз она, забившись в угол большого кресла, всеми забытая и сама забыв о себе, даже не слушая привычных слов и терминов, всем своим существом впитывала эту возбуждающую атмосферу творческих поисков... Она любила смотреть на крепкого, маленького, всегда возбужденного Яшу, сына еврейского колхозника из-под Минска — "маленького сержанта", как его любовно называли в Армии — как он бежит по комнате, пружинисто поворачиваясь на углах и, сверкая узкими щелками глаз, говорит скороговоркой, проглатывая окончания и перевирая слова, потому что язык его не успевает за быстро несущейся вперед мыслью, говорит и пишет вкривь и вкось, кроша мел, какие-то фантастические мельчайшие знаки на доске. Как он, сразу стихнув, внимательно и вдумчиво слушает возражения, и его быстрый и живой ум мгновенно находит выходы из тяжелых положений, вызывая улыбку одобрения у товарищей.

Она с недоумением слушала рассказы о склоках, процветающих в других институтах. Ничего подобного здесь не было, ни теперь, ни раньше — потому что она видела немало окончивших здесь аспирантов, разъехавшихся по всему Союзу, и все они с удивительной теплотой и благодарностью вспоминали о проведенных здесь днях. Когда Оксана заговорила один раз об этом с Флинтом, он очень серьезно ответил: "Да, это верно. Другого такого коллектива нет", — и сейчас же, увлекаясь, с азартом добавил: "Нет такого коллектива нигде — я утверждаю это — ни у нас в Союзе, и нигде вообще!!!"

Она задумалась, как мог возникнуть такой коллектив. Нельзя сказать, чтобы с этой молодежью много нянчились. Скорее наоборот. Если бы они не были вполне самостоятельными в научном отношении людьми, они могли бы жаловаться, что ими слишком мало руководят. Вернее всего, что здесь, как и в настоящей хорошей семье, больше всего действовал личный пример.

Все знали, что если впрячься в одну работу с Гориним — это значит засучить рукава и забыть на это время обо всем на свете. Все знали, сколько тяжелых поражений у Горина было в работе, и все знали, как он мужественно переносил неудачи и сейчас же, не покладая рук, принимался за другую работу. У него совершенно отсутствовал консерватизм, свойственный людям пожилого возраста: он всегда готов был отказаться от своего и учиться у своих учеников. Он был азартным и неутомимым борцом с косностью, где бы она ни проявлялась. Самый молодой по характеру, блестящий рассказчик, он всегда будоражил всех своими новостями из самых разнообразных областей жизни и Оксана не раз перехватывала у его учеников взгляды почти родительской гордости за него и какие-нибудь замечания вполголоса, вроде: "Лавренчик то наш, будь здоров, а?" Да, на работе можно было жить...

Оксана завернула за угол и остановилась. На четвертом этаже старого дома горела лампа с зеленым абажуром. Значит, Таня не спит. Оксана взглянула на часы. Было пять минут двенадцатого. Она прислонилась к входной двери и стала стряхивать с себя снег. Нельзя в таком виде входить в дом. Три дня она не видела детей, только в утренней суматохе. И сейчас бродила где-то по улице, в метель. И ей нечего сказать Тане. Плохо и тяжело дома. Если бы Таня — это начальство ее суровое и праведное — было бы хоть немного мягче и терпимее, насколько бы ей легче было жить! Но невозможно ничем объяснить эту ее тяжелую и упорную вражду ко всему, чем Оксана сейчас живет, даже самому хорошему. И этот разговор, еще прошлой весной, который до сих пор стоит между ними: "Ну это все хорошо, что они такие, а ты?" "Что я, Таня?" "А ты что там делаешь"... "Что я могу делать, я считаю, Таня." "Но ты все-таки понимаешь, что считаешь?"... Как могла Оксана это понимать... "Ну так, значит, ты просто умножаешь и делишь, умножаешь и делишь, и все?? Непонятно мне это", — со страстью и почти шепотом сказала Таня, — "если тебе так нравится физика и физики, так учись!!"

Учись! Сколько лет надо учиться, чтобы понимать теоретическую физику? Этого Таня не знает и не хочет знать. И у нее своя жизнь. Какая? И Сашка тоже отходит. Он полон своими радиосхемами, антеннами и кенотронами. Он и ей готов говорить о них. Но она может только, ничего не понимая и не слыша, очарованно смотреть на его тонкое, изменчивое лицо, в эти черные, горящие восторгом глаза — а разве ему это нужно?

Вот если бы у нее был маленький. Совсем маленький... Если бы сейчас можно было просто уткнуться лицом в его теплое тельце, вздохнуть его милый сонный запах — как бы она сейчас летела по этой лестнице? И ничего бы ей больше не было нужно...

Час второй

Оксана осторожно открыла дверь и тихо вошла. Она очень не хотела сейчас встретиться с Петровной. Но та ее поджидала.

— Пришла все-таки, — сказала она сурово, стоя в дверях своей комнаты. Она стояла как судья, и никуда от нее нельзя было уйти,.. — Татьяна все телефоны обзвонила, на работе не отвечает никто.

— Что же делать, тетя Маша, вот конференция... — начала Оксана тем бесконечно веселым тоном, которым говорила на работе.

— Конференция?! А ты про Татьяну совсем забыла? А каково ей это все — ты думаешь? Вот смотри, — она открыла дверь ванной, — стирала девочка весь вечер, это ты видишь?

Петровна взгляделась в лицо Оксаны, и что-то заставило ее переменить тон.

— Изведешься совсем, — сказала она тихо — уж извелась... А толку что?

— Толк будет, тетя Маша! — ответила Оксана тем же бодрим тоном, хотя всем своим существом чувствовала, что так нельзя было говорить с этой старой женщиной, которой она стольким была обязана, что это невозможно было переоценить: с самого рождения ее детей, когда она и сама была беспомощной девочкой, она неустанно и бескорыстно опекала их. Так можно было говорить на работе, а здесь этот тон был насквозь фальшивым. И все-таки, зная это, она не могла почему-то говорить иначе.

— Вот мне премию обещают, тетя Маша, если я работу сделаю к конференции, тогда Татьяне купим и платье и туфли, а то у нее только одно школьное...

— Татьяна не разута и не раздета, — опять жестоко сказала Петровна, — и не то ей совсем нужно. А тебе, Ася, вот что скажу...

Она остановилась, и Оксана почувствовала, как у нее медленно начали холодеть руки и ноги. Но в этот момент соседи включили радиолу. Глухие низкие звуки медленного танца поплыли по воздуху. Это было спасение. Что-то было нарушено, и Оксана почувствовала, что сейчас Петровна ей больше ничего не скажет. Она с облегчением перевела дыхание и беспечно спросила, кивнув на дверь:

— Гости, что ли?

— Какие гости, — хмуро ответила Петровна, — возле стола друг с дружкой топчутся. Молодые... — она махнула рукой и ушла на кухню.

”Что она хотела сказать мне?” — думала Оксана, медленно снимая пальто, — ”И вообще, что она мне может сказать? Никто ничего не знает. Никто ничего не слышал. А если и слышал?!” — и в ней вдруг вспыхнула гордость, — ”В чем моя вина и кто вообще может меня судить?!”

Она решительно толкнула дверь и вошла в комнату. Таня спала, уронив книгу на пол. Лампа стояла рядом на столике и светила ей в глаза. Ее густые русые волосы с забавной, совершенно светлой прядью впереди, растрепались по подушке. Тонкие руки были вытянуты вперед — должно быть, она хотела удержать книгу, но крепкий сон сморил ее.

Оксана, неслышно ступая, подошла и подняла книгу. ...”Далекие годы”... Переставила лампу на другой стол. Сашка спал, съезжившись на диване. Вот они, ее ”счастливые дети”, как говорила когда-то про них Петровна, потому что дочь была в отца, а сын в мать. Как всегда, в комнате были чистота и порядок. В полумраке матовым блеском, без единой пылинки, отсвечивал в углу рояль — ”папин рояль” — странная и необъяснимая для Таниного разумного характера привязанность. Когда несколько лет назад Оксана заикнулась, что рояль можно продать, и что за этот прекрасный рояль могли бы дать большие деньги, и можно бы было всем одеться и в комнате было бы просторнее, — Танины светлые глаза потемнели от гнева и она тихо и сдержанно сказала: ”Продать папин рояль?!” Больше об этом разговора не было, но у Оксаны навсегда осталось какое-то чувство вины.

С тех пор Таня окружила этот давно замерший рояль особенным вниманием. Откуда бы она не пришла, всегда ее первым движением было пройти тряпкой по его полированной поверхности. И почему-то этот ее жест всегда угнетающе действовал на Оксану. Даже беспорядочного Сашку она научила обходить рояль издали и никогда ни одной стружки, ни одного винтика нельзя было увидеть на крышке рояля, хотя его рабочий столик стоял совсем рядом. Это было единственное место, полное хаоса, заваленное проволокой, разноцветными сопротивлениями и всякой радио-мурой. И Таня не только мирилась с этим хаосом, но Оксане даже как-то показалось, что в ее разумном порядливом сердце жила тень зависти к брату, которому был отпущен природой редкий дар полнейшего и самозабвенного увлечения.

На столе, прикрытом блестящей клеенкой, недавно купленной Таней, стояла тарелка, и хлеб был нарезан и прикрыт салфеткой. В этом доме не оставалось на долю матери ни единой заботы. Но не было от этого радости. Была только тяжелая вина. ”Таня, Таня”, — думала Оксана, — ”все я бросила на тебя. И непутевого сына, и все нелегкое хозяйство. И ведь не было случая, чтобы тебе не хватило денег, чтобы ты пожаловалась, что их мало, чтобы ты хоть что-нибудь попросила для себя”...

Оксана подошла к кровати и взяла в руки ее старенькие сатиновые брюки. В них Таня всегда ходила дома и везде, где только можно. Они до того были застираны и выцвели, что даже не было возможности представить себе их первоначальный цвет. На коленках одна над другой были наклеплены аккуратные заплатки. У Оксаны сжалось сердце — даже об этом пустяке, который мог доставить Тане такое удовольствие, она не собралась подумать... Есть давно расхотелось. Оксана нехотя открыла кастрюлю с супом, и крепкий пряный запах тушеных овощей разнесся по комнате. Это был Танин знаменитый украинский борщ с антоновскими яблоками. Оксана поставила его разогревать, возвратилась в комнату, взглянула на Сашку и невольно загляделась.

Он крепко спал, свесив до полу свою тонкую гибкую руку (настоящую руку музыканта, которым он никогда не будет!!) — всю покрытую ссадинами и ожогами, многострадальную руку мальчишки-экспериментатора. Это очень

бледное, с чуть проступающим нежным румянцем лицо и странно свежими добрыми губами был полно какой-то необыкновенной тонкой прелести. Иссине черные отросшие волосы кудрями свешивались на чистый умный лоб.

Сашка был слишком хорош — сколько раз она об этом думала почти с огорчением — с каким-то удивительным изяществом движений даже в этом нескладном подростковом возрасте. Но Сашка как-то не портился. Очень уж он был простодушный и доверчивый. Только слишком безалаберный и беспорядочный (наверное, тоже в нее), со своими вечными тройками даже по физике. Но эти тройки почему-то не очень беспокоили Оксану. Может быть, потому что она видела в нем ту же одержимость одной мыслью, которая ей была так знакома там, у "своих ребят", на работе.

Оксана подняла его безвольную руку и покрыла одеялом, подошла к зеркалу и небрежно провела гребенкой по мокрым спутанным волосам... "Извелась... и верно извелась", — из сумрака зеркала на нее глядело темное лицо, с мрачно горящими глазами... "Черная я какая-то... Одни глаза... Похожа на какого-то... на "Гадалку" Врубеля, что ли? Вот тебе и "моторная баба"!.. Она прижалась щекой к зеркалу и задумалась.

Вот та же приглушенная, сдержано-страстная музыка разливалась по комнате. И, как всегда, все начинало становиться каким-то настоящим. Вот и тогда было так же. Когда пришло это последнее несчастное письмо. А ведь она почему-то обрадовалась тогда — чему?.. И разве можно было так: ничего не оставить, разорвать все письма, даже фронтовые, она тогда сошла с ума. Оксана закрыла глаза.

И ведь это было самое обычное, забавное, обстоятельное письмо, и только добавлена одна крохотная буква на самом конце. И с этого началось. Она знала, что теперь разговор неминуемо произойдет. И он был — но она не помнит ни одного слова, которым он начал этот разговор. Это потому, что она за эти две недели до его приезда сюда сама довела себя до того, что не могла этого слышать. И он сразу почувствовал это ее внутреннее сопротивление. И все между ними страшно усложнилось. И вот он, такой прямой и смелый, оттягивал этот разговор до самой последней минуты, когда ему необходимо было уезжать на свою биостанцию, и это уже насовсем.

И они стояли у двери на лестницу. Никого не было. Каждое мгновение она ждала этого разговора, и вот сразу потеряла все чувства — все, кроме ярости, которая заполнила ее до краев. Да, она дрожала от ярости и только могла ответить: "Я думала, ты мне как милый брат, а ты такой же, как все! Зачем, для чего? Ведь было так хорошо!" И он сказал тихо: "А если я не могу иначе, Ася?" И она тогда крикнула: "А если не можешь, тогда уходи, уходи совсем, и не пиши, и не надо ничего!!" И он сказал очень тихо: "Хорошо, если тебе так легче, Ася..." И он ушел, и шел очень медленно по лестнице, и остановился. А потом ушел совсем... И она прибежала в комнату, схватила из комода все письма, всю большую пачку, и стала их рвать... Это было четыре месяца назад... Кто говорит, что время излечивает?! Нет, становится все хуже со

временем. Пятнадцать лет такой дружбы, такой долгой, такой прочной — кто и что может это заменить?

Невозможно так жить... И эта бесконечная, бессмысленная музыка... Все путается в голове. Это от голода. Нельзя ничего не есть и так работать. Оксана скользнула взглядом по комнате и вдруг увидела на Танином столе краешек голубого, такого знакомого конверта. Кровь бросилась ей в голову. Не помня себя, Оксана схватила конверт. Он был пустой, давнишний... Но она прижала его к запялавшей щеке и сейчас же с силой скомкала, стиснула в кулак, — и остановилась пораженная.

Все то, что так долго и тщательно скрывалось где-то в подсознании, все проявилось в этих быстрых противоречивых движениях. Тяжело дыша, она прижалась к стене и смотрела перед собой невидящими глазами. Суровый внутренний голос требовал ее к ответу и некуда было от него спрятаться. Можно было только как-то защищаться.

— Ты его любишь. И ты до сих пор могла это скрывать от себя!

— Я не знала этого...

— Это не настоящая правда. Ты не хотела этого знать.

— Нет, я не знала этого. Я еще маленькая очень хотела иметь брата. Все девчонки, у которых были братья, ссорились с ними, и я не могла этого понять. И вот мне казалось, что он был мне братом. И раньше, и теперь. И никогда у меня не было ни движения, ни одной мысли, самой скрытой о чем-нибудь другом. И мне не нужно было ничего другого...

— И все-таки ты его любила и раньше, и теперь...

— Нет, нет, я любила Глеба.

— И это не настоящая правда. Только отвечала на его большую любовь. Но разве твоя жизнь была бы такой полной, если бы не было Володи.

— Я никогда об этом не думала...

— Ты всегда чувствовала себя только девчонкой перед Глебом. Даже когда у тебя были дети, он все также стоял перед тобой как очень старший. И ты одна знаешь, скольким обязана ему в музыке. Но ведь это Володя вызвал в тебе эту великую радость жизни, с которой так хорошо было жить и работать. Он, озорной и веселый, ворвался в твою размеренную и серьезную жизнь с Глебом, убедил, что все в жизни доступно и возможно, стоит только сильно захотеть. Сделал для вас, таких горожан, необходимым солнце, леса и горы. И разве Глеб не понимал этого?

— Глеб?!

— Будь честной сама с собой хоть один раз в жизни. Вспомни свадьбу и свою первую встречу с Володей. Ты не могла не почувствовать, как ты его поразила, хоть ты и была тогда девочкой. Неужели Глеб этого не понял? Он все это знал и был благодарен Володе, что он сумел преодолеть себя и найти такой здоровый, дружеский тон к тебе. Подумай...

— Не знаю. Может, и правда так, если вспомнить все по другому. Вот его письма с фронта. Я всегда давала их читать Глебу, когда он приезжал в

Талицы. И всегда что-то внутри протестовало. Веселые и забавные письма. В них как будто ничего не было, но... я чувствовала в них столько затаенной нежности, что проливала горькие слезы. От страха, что вдруг его потеряю. И когда я дала Глебу последнее письмо, он только грустно поцеловал меня и отдал его обратно. И, кажется, я была ему благодарна за это. Да, все это было... А встреча в Москве. Я уехала из Москвы девчонкой, а вернулась здоровой такой, "колхозницей". Меня никто не узнавал. И Володя. Он был поражен, когда увидел. Все прорвалось в одном этом первом взгляде — и я тогда смутилась и задохнулась от чего-то, да, от большой радости. Но он сразу совладал собой и стал надо мной издеваться. А я ему ответила. И сразу началась веселая война. Она и всегда была между нами, но разве я, девчонка, могла раньше с ним равняться? Мы оба отточили свои языки — он на фронте, а я в бабьем колхозе. Да, и мы должно быть вкладывали слишком много в эту войну — это было как ходить по какой-то рискованной дорожке: и страшно, и весело. И эта "война" всегда была только при Глебе, и он терпеливо вслушивался и отмечал со своей грустной улыбкой: "Два — один в твою пользу, Ася!"... А потом...

Потом больше ничего не было. Было только чувство, что подле тебя находится кто-то бесконечно надежный, и он делает все, что нужно, откуда-то дает Петровне деньги, достает продукты для детей. И говорит те же жестокие слова, которые невозможно забыть: "Ты, и никто другой, должна кормить своих детей"...

Оксана подошла к роялю. Вот они оба. Если бы только знал этот мальчик-сосед, который теперь вырос и танцует в соседней комнате танго со своей молодой женой, сколько мучительства принесла ей эта чудесная фотография, с которой он столько времени возился несколько лет назад! Это Таня случайно нашла этот маленький снимок в столе, показала его на кухне, и он решил сделать Оксане подарок — переснял его и увеличил. Она до сих пор помнит, какое ужасное страдание она перенесла, когда увидела Глеба через полгода после его смерти. Но они оба — ее дети — смотрели на нее с такой радостной надеждой, что ей будет легче, когда она увидит папу, что она подавила в себе мучительный крик и сумела им улыбнуться. Но Таня все-таки что-то поняла и не по детски задумалась.

Это была удивительная фотография. Она была снята вечером, под Можайском, у околицы деревни, когда они вернулись с первой охоты после войны. Она сняла их сама, не умея снимать, просто щелкнула затвором, как ей было показано. Но бывают такие редкие снимки, когда в них есть не просто внешнее сходство, а понятно что-то очень глубокое. Это было отношение этих двух мужчин, двух школьных товарищей, к ней самой. Они стояли, оба высокие, в куртках и грязных сапогах, и оба смотрели ей в глаза. Глеб, наклонившись, ласково гладил хозяйскую собаку и улыбался своей задумчивой, понимающей улыбкой. Он смотрел на нее и ждал ее ответа, чтобы сказать тихо эти "два — один в твою пользу, Ася!" Да, вот так он и сказал тогда.

Володя стоял непринужденно, наклонившись на ограду, с закинутым небрежно за спину убитым зайцем. Его буйные, непокорные волосы трепал ветер. Он тоже ждал ее ответа, еще не остывшей от очередного издевательства, с озорной усмешкой в смеющихся черных глазах. Он глядел на нее в упор — смуглый, худощавый человек, перенесший всю тяжесть войны с первого до последнего дня, решительный и всегда готовый к действию. Сотни раз, и всегда с мучением, она смотрела на него и видела друга, дорогого и близкого человека, без которого нельзя найти возможности жить. Но сейчас вдруг разглядела в его глазах то, что иногда волновало и смущало, но никогда не было понятно. То горячее, глубокое, что было заперто, зажато его сильной волей столько лет. То, о чем он ей сказал там, у входной двери, и она даже не слышала, не поняла и никогда не будет знать этих слов. То, что она так жестоко и возмущенно отвергала!

А ведь могло быть иначе... Разве Белое море так далеко? Одно ее слово — и она увидела бы это дорогое лицо таким, каким никогда не видела, по настоящему близким и счастливым, ощутила бы его сильные руки, и исчезло бы одиночество и осталось бы одно нестерпимое счастье. Горячая волна захватила ее, и все поплыло у нее перед глазами. Только где-то чуть слышно все играла музыка.

Она тяжело опустилась на стул. Холодный пот проступил у нее на лбу. "Я сумасшедшая", — подумала она. "Я сегодня сумасшедшая", — прошептала она и положила голову на стол. Она сидела не двигаясь... Все постепенно прошло. Теперь она знала, что это настоящий конец. Раньше жила у нее где-то в глубине надежда, что все как-то обойдется, хоть когда-нибудь, а все вернется к старому. Но этого старого теперь нет. "Таня, Таня", — думала Оксана, — "если бы в тебе было хоть немного больше мягкости и человечности. Может быть, и правда все могло быть по старому. Но ведь ты такая "правильная", ты только знаешь два слова — да и нет! И я никогда не перейду через твое нет".

Она смотрела на ее юное, решительное даже во сне лицо, крутой упрямый лоб и резко очерченные губы, и вдруг ей показалось страшным, что она находит Таню так во всем похожей на Глеба. Ведь Глеб был мягким и терпимым, или это жизнь научила его терпимости? Да, наверное, именно таким, как Таня, был когда-то Глеб. Он сам сказал:

— Дети удивительно жестоки, Ася. Когда мне было четырнадцать лет, мать в полушутку и в полусерьез сказала мне, что собирается выходить замуж за своего старого приятеля. Я очень к нему хорошо относился, и все-таки был так неприятно поражен, что резко ответил: "К чему это?! Пусть приходит, я очень рад, но замуж"... Так мама осталась на всю жизнь одна. Нет, Таня. Я тебе такого вопроса никогда задавать не буду"...

Оксана долго сидела с опустошенной головой. Аккуратные стопки Таниных тетрадей лежали рядом. Оксана вялой рукой перелистнула Танин дневник. Но внезапно взгляд ее стал внимательней. Вместо обычных, привычных

с первого класса сплошных пятерок, в дневнике появились четверки. Что такое? Четверка, четверка, пятерка и тройка — тройка по математике! Еще тройка по физике. Это что-то неслыханное.

Оксана вдруг вспомнила, что недавно Таня, небрежно и как-то странно глядя в сторону, сказала, что Оксану просили зайти в школу. Уж не по этому ли поводу? А что она ответила? "Мне сейчас не до школы, Таня". Она же думала, что ее по делам Родительского совета вызывают. Как нехорошо она сказала. Но ей же в голову не могло прийти такое. Оксана быстро стала перелистывать тетради по математике. Четверка, четверка, тройка. Почти нет пятерок. Но раньше-то ведь этого не было? Она вынула наугад снизу тетрадь — из нее выпал вчетверо сложенный, исписанный карандашом лист бумаги. Очевидно, письмо. Оксана взглянула на спящую Таню и нерешительно развернула листок.

"Милая Таська", — было написано там круглым решительным Таниным почерком, — "вот уже четыре месяца как ты уехала, а прислала только три письма. И ты все забыла, как мы договаривались отвечать сразу. У нас последнее время что-то не очень весело. П.П. заболел, и все не могут определить чем. Мы очень его жалеем. Носили ему в больницу цветы и я тоже от нашего класса. А вместо него из РОНО прислали какую-то толстенную тетеньку, она все бегаёт и кудачет. Ее, конечно, никто не слушает.

И у нас в классе тоже всякие дела были. Валька у нас была организатором, а она заболела желтухой, значит, надолго. И вместо нее выбрали меня. С этого все началось. Я дежурила, открыла окно, а Янов как всегда не уходил из класса. Я вдруг решила, что если я его сейчас не выгоню, ничего у меня с классом не получится. А ребята стоят у двери, подхалимы его, знаешь там Богачев, Клименко, и ухмыляются. Я ему как крикну: "Выходи сию же минуту". А он расселся на стол, папиросу вынул и как будто закуривает. И глаза такие сделал, как пьяные — ненавижу! Я вдруг рассвирепела как бешеная. Схватила его за шиворот и выволокла к двери. А он испугался, даже губы у него побелели. А потом взял и говорит: "Ты у меня еще запоешь". И ушел.

Потом пришла эта противная "Франция" и сразу меня вызывает. А я ничего не вижу и не слышу, все не могу в себя прийти. Даже руки трясутся. Стою и плачу. Вдруг Женька встает и говорит: "Она сегодня отвечать не может, спросите ее завтра". А "Франция" говорит: "Это что такое за новости". А Женька говорит: "У всякого в жизни могут быть такие обстоятельства, когда он не может отвечать французский". И все девчонки тоже закричали, а мальчишки не говорили, все молчали и в сторону глядели. Это, видите ли, не их дело, у них "мужская солидарность"! "Франция" этому так удивилась, что только, говорят, рот два раза открыла и закрыла как рыба, и потом говорит: "Хорошо, садись".

А вечером я пошла к Женьке, а у них двор, знаешь, глухой такой, темный.

Я иду в подворотню, и вдруг чувствую, что как будто кто-то сзади идет. Я обернулась и мне показалось — Янов. Я даже крикнуть не успела на него, как он мне даст по голове. Я подскользнулась и грохнулась затылком об лед” ... ”А сказала, на катке упала”, — пронеслось у Оксаны в голове. ...” Меня принесли к Женьке. Я, конечно, ничего не сказала про Янова. Как я могла сказать, раз я не совсем была уверена. Но девчонки что-то пронюхали и побежали к Женькиной матери, ты кажется ее видела, это замечательный человек! Она пошла к Янову и говорила с ним. И с его матерью тоже. И больше его в школе не было. Она устроила его работать на завод. Ребята без него присмирели. А потом скоро вернулась Валька. Ребята хотели оставить меня, но я сказала, зачем обижать Вальку. А Валька на меня злится чего-то, не пойму за что.

Думаю о тебе и не знаю, что бы дала, чтобы уехать тоже куда-нибудь на север или в тайгу, или хоть в тундру какую-нибудь, что ли. И вообще как-то не так у нас устроена жизнь. Я вот чувствую, что могла бы по настоящему работать, не только учиться. Что вот я уже взрослая и все могу. Я вот тоже кручусь по дому, да разве это настоящая работа? А вот, например, дом построить. Это, наверное, очень хорошо! Уедешь потом, может, куда-нибудь очень далеко, и все-таки будешь знать, что вот где-то стоит дом и в нем живут люди. Или лес посадить. И вырастут на пустом месте высоченные деревья.

Дома у нас все так же. Пусто. Воюю с твоим любимчиком. С Сашкой. Большая это мука. Но пока держу в руках, а если ему дать волю — с утра до вечера, и всю ночь будет сидеть со своим приемником. А ведь учиться-то ему надо. Маму не вижу почти, и не разговариваю. И Тамара Николаевна, это Женькина мама, уехала за границу. А я к ним каждый день забегала. И привыкла. Она всегда нам рада, и у них весело, совсем другая жизнь, и забываешь про вашу проклятую тайгу.

Вот помнишь, Таська, мы как-то с тобой вечером шли со сбора, и ты говорила, что тебе больше всех моя мама нравится. И вот понимаешь, я сама знаю, что мама хорошая и добрая, даже удивительно добрая. И удивительно красивая, а она как будто и не знает, и не замечает этого, не то, что другие. Она, наверное, и не представляет, как я люблю на нее смотреть. Но вот Тамара Николаевна. У нее тоже муж погиб на войне. Вот она тоже работает, но я никогда не видела ее усталой или, что ли, безразличной. Она на все набрасывается как огонь. И до чего с ней интересно разговаривать, о чем мы только с ней не говорили. Она хирург, не просто хирург, а ”нейрохирург”, не знаю, так ли пишется. И операции с мозгом делает. Это очень трудно и страшно. Я бы не могла. А она все может. И на лыжах с нами, даже с трамплинов ездит здорово, а мы с Женькой все больше через голову. И на все у нее время есть.

А у нас если мама и придет раньше, все равно. Сидим и молчим. Не могу я ее понять. Вот она говорила раньше о своих физиках. Они там у нее очень хорошие, жизнь у них интересная. Ну а у нее? Ты знаешь, что она делает? Целый день умножает и делит на этой своей проклятой машине, ”Мерседес”

называется, — я ее ненавижу! Изю дня в день считать что-то и ничего не понимать, что считаешь! И когда она начнет что-нибудь рассказывать, я слушать об этом не могу, только и сидишь, стиснув зубы, чтобы не обижать. Ведь мне ее жалко все-таки! И что ее только держит на этой работе?! Ведь если бы она ничего другого делать не могла. А вот твоя мама, наверное, знает, как она раньше играла. Я один раз у Володи спросила, был ли у нее талант. Он оказал: да, большой талант. И сразу замолчал и стал очень мрачный. Может, и он тоже не может переносить, что она так все бросила. И такие вещи нельзя прощать. И вот я молчу и она молчит. И это как-то все очень нехорошо. И вот я думаю — вот бы мне такую мать как Тамара Николаевна. Ведь это не только мать, это и товарищ, и друг, и я”.

Больше ничего не было написано.

Оксана долго сидела не двигаясь. Потом тяжело поднялась. Таня... Таня спала. Она дышала неслышно и ровно. Чуть приподнимались ее маленькие груди под розовой майкой. Тонкие, еще золотистые от летнего загара, нежные и сильные руки были закинута за голову. Жадным взглядом, как будто в первый раз видя, Оксана разглядывала ее лицо, все сильнее и мучительнее ощущая его удивительную привлекательность. Не внешними чертами, знакомыми до самой малейшей родинки на шее. А тем, что только сейчас открыла до конца и сразу потеряла. Когда она ушла? Как можно было допустить, чтобы она ушла?!

Должно быть, от пристального взгляда Оксаны губы Тани дрогнули и она открыла глаза. Несколько секунд она испуганно смотрела на Оксану, потом быстро и стремительно села.

— Что-нибудь случилось, мама, да?

Оксана молчала.

— Мама, что же ты молчишь... — и вдруг увидела в руках Оксаны письмо, — Письмо... — прошептала она, и бледность стала покрывать ее лицо, — Мама, ну подойди, ну сядь, пожалуйста. Не знаю я, что делать, — Таня с отчаянием стиснула руки, — Как мне тебе все это объяснить. Понимаешь, не могу я сказать, что это все не правда. Но это и неправда. Вот не понимаю даже где кончается правда, где начинается неправда. Но, понимаешь, я уже замечала, когда я пишу, то как-то постепенно увлекаюсь что ли и начинаю выдумывать. Это может быть и правдой, очень похоже на правду — но вот конец это неправда, неправда!! Я даже сама испугалась и бросила писать и не послала — ты видишь, я же не послала, это уже давно написано, наверное, месяца четыре назад. Я же хотела это разорвать и выбросить, но вот засунула куда-то в тетрадь и забыла куда. Все хотела найти, да все некогда... Вот даже сегодня шла из школы и хотела обязательно найти и забыла... Мама...

Оксана молчала.

— Мама, — в отчаянии сказала Таня, — ну нельзя так. Не знаю я, что делать. Не могу даже на тебя смотреть, на тебя даже страшно смотреть,

какая ты стала... Господи, хоть бы Володя скорее приехал, он послезавтра приезжает!

— Что? — сказала Оксана, приходя в себя.

— Он мне писал. Не письмо даже, так, записочку написал, что должен быть в Москве и спрашивал про тебя...

— Ну и что же ты... — чуть слышно прошептала Оксана.

— Я ему написала, что, по-моему, плохо. И чтобы он приезжал. Мама и вообще... Не могу я понять, как ты его могла так прогнать!

— Что?! — страшная догадка обожгла Оксану и вернула ей силы, — Ты что, подслушивала, Таня? Ты?! Как ты могла!!!

— Я не подслушивала! — с возмущением сказала Таня, — я просто слышала. Я была в ванной и мыла руки. Я прибежала со двора и вдруг вы вышли говорить у двери. Я сама не знала, что мне делать и убежала скорее назад, а ты была в комнате. И я это не могу понять и все время думаю, думаю, как можно было его так — прогнать, за что?!

— Ты не понимаешь, Таня? — сказала Оксана тихо, — а папа?

— Папа... — Таня замолчала. Потом вздохнула и стала тихо поглаживать рукой одеяло... — Папа был хороший... Странно, — сказала она, задумавшись, — знаешь, когда я вспоминаю папу, он почему-то вспоминается мне не недавний, а до войны. — Она говорила мягко, по-женски, как говорит женщина, вспоминающая свое далекое детство. — Вот мне помнится, как я вечером сижу на коленях и мои руки лежат на его больших руках и мы играем на рояле — про воробышка, про березовую полянку, про мухомор. Про все, что захочу... Папа очень хороший. Но, знаешь, вот именно потому... Неужели он мог бы захотеть, что бы тебе было так плохо?.. Я что-то, кажется, совсем не то говорю... — вдруг смутилась она и неуверенно подняла глаза.

— Девочка моя... — сказала Оксана и протянула к ней руки. Таня бросилась к ней на шею, и они блаженно и сладко заплакали... Вдруг дверь распахнулась и в клубах едкого дыма показалась возмущенная Петровна:

— Борщ сгорел, такой борщ сгорел!! — и сразу осеклась. Это было неслыханно и невиданно. Таня плакала. И Оксана плакала. Они сидели, тесно прижавшись. Сзади, припрыгивая босыми худыми ногами, что-то бормотал несчастный, растерянный, ничего не понимающий Сашка.

Старое больное сердце Петровны тяжело ухнуло вниз. Она ухватилась за косяк двери и прошептала:

— Таня, или случилось чего?..

Этот шепот сразу привел Таню в чувство. Она выпрямилась, решительно вытерла ладонью мокрое лицо и сразу окрепшим звонким голосом крикнула:

— Тетя Маша, мы на Белое море уезжаем!!

— Что? Ты с ума сошла, Таня! — прошептала Оксана, смущенно открыла лицо и взглянула на Петровну.

— Ну, конечно же, мама! — возмущенно ответила Таня. Мгновение Сашка оторопело молчал, потом что-то по своему понявши, присел, засунул

два пальца в рот и вдруг оглушительно и протяжно свистнул.

— Ах, ты так?! — Таня как тигр бросилась на Сашку, — а я тебе что сказала — чтобы не свистеть в городе. Забыл?!..

Она с наслаждением и азартом входила в свою обычную роль грозного пестуна.

Но Петровна не слышала этой возни. Она смотрела на Оксану. Смотрела и не могла оторваться от этого бледного, измученного и вдруг так чудесно расцветшего лица, от этих глубоких, еще сверкающих от слез глаз, полных счастья и мольбы о прощении за это счастье... И тихо вышла.

В коридоре стояла завитая как барашек соседка Люсенька. Но, увидев Петровну, она испуганно захлопнула дверь. Петровна ощупью, держась за стенку, прошла на кухню и остановилась у своего старенького, выскобленного добела столика. "И рада, и жалко... до того жалко", — прошептала она. Скупая слеза небалованного жизнью, одинокого человека скатилась у нее по щеке. "А может и не уедут еще?.. Дети большие. Да и Ася... Что ей там делать?" ...

Приблудная кошка Маруська, рыжая, с черными пятнами, подняв тонкий длинный хвост и щуря лукавые глаза, терлась около ее ног. Но Петровна не замечала это. Тогда Маруська, должно быть, пораженная странным поведением хозяйки, прыгнула на стол и ткнулась Петровне в лицо холодным носом. Петровна рассеяно сбросила кошку со стола, судорожно вздохнула, вынула из своего столика проволочную щеточку и методично и тщательно начала оттирать Танину кастрюлю.

Мама

Эссе — рассказ¹¹

Наташка спит. Совсем поздно — я не знаю, сколько времени. Тетя Вера тихими шагами ходит в соседней комнате. А я все слушаю, слушаю. У мамы очень слабый пульс. Пришла в себя и опять в забытье. Хотя бы скорей приезжал из города папа! Я не могу заснуть. Я не понимаю, как это все случилось. Как я могла все забыть?!

Ведь еще вчера все было так хорошо, маме позволили выйти гулять — в первый раз. Мы прибежали из школы. Наташка прыгала, мы накрутили на маму старый платок, шубу, шапку с ушами. Мама не могла дышать, только все смеялась. Она стала такая легкая, что каждый из нас мог бы тащить ее на руках, а няня не позволяла. Мы ругались с няней, а тетя Вера пришла и стала стаскивать с мамы шубу и тоже ругалась. А на улице было такое солнце, весна... Мама болела пять месяцев...

В доме все время была суетня, толпился народ. К маме приходили бригадиры, доярки с фермы, рабочие. Женщины наташили пирогов и ахали, какая мама стала худая и какая молодая. А мама смущалась и накидывалась с распросами — ведь теперь весна, самое горячее время, может быть, маме скоро разрешили бы работать!

...И я сказала Полещуку, мы с Наташкой ему сказали... Он пришел прямо с работы. Мы его всегда боялись. Никто из ребят не смел подходить к его машинам. Когда-то пьяным он таскал за волосы свою жену. Жена давно умерла, сын убежал в беспризорные, мы его называли "Бирюк". Он был замечательный механик. Он десять лет работал в совхозе — и мама десять лет тоже работала агрономом. И ни от кого маме не было столько огорчений и столько обид: он не мог вынести, что вот, женщина, "баба", распоряжается его машинами. А мама возилась и возилась с ним каждый день. Я не понимаю сколько у нее было терпения. Я бы не могла — он был такой ругатель грубый...

И вот когда маме было очень плохо и ей хотели делать переливание, он вдруг пришел в больницу и предложил свою кровь. Мама знала это. Мы стояли с ней у калитки и вдруг увидели — Полещук. У меня даже заколотилось сердце. Мы с Наташкой держали маму под руки. Он подошел к нам как всегда, как слепой, своими грузными шагами. И вдруг остановился. Мне показалось, он был поражен, как сильно изменилась мама.

"Спасибо, Полещук... Мне говорили", — сказала мама. И взяла его за руку. Он выдернул руку. Мы смотрели с Наташкой во все глаза, с ним что-то делалось! Он повернулся и пошел. "Куда, Полещук? Да куда Вы?!" — закричала мама. Наташка бросилась за ним. Он обернулся, посмотрел на круглое Наташкино лицо, потом на меня и вдруг как крикнет на нас: "А вы

¹¹Эссе "Мама" было написано в 30-ые годы, когда Л.В. Парийская входила в группу молодых писателей, опекаемых С.Я. Маршаком

берегите мать-то, вот что!!” — крикнул как на своего хромого кутенка. И пошел себе дальше. Наташка рассвирепела. И я тоже. Мы даже забыли как его боялись. И закричали ему в спину разом, в один голос: ”А мы не бережем, что ли?” И вот мама лежит. Часы давно остановились. Я не знаю, сколько времени. В саду луна, все видно. Я не могу заснуть. Я буду писать все-все, с самого начала, как будто ничего не случилось. Про весь вчерашний день.

С утра было синее, ярко-синее небо и солнце. Везде текли ручьи. Внизу шумела река. Мы прибежали с Наташкой из школы раздетые. Дома размазали окна. Ветер носился по комнатам и хлопал дверями. Мы сели у открытого окна и стали завтракать. Мама спала на балконе. Мы смеялись неизвестно на что и уплетали макароны. И вдруг увидели на улице двоюродного брата Левку. И потому, что он вбежал в комнату, а не перемахнул через забор, как всегда; и потому, что ничего не крикнул — мы поняли, что у него новость. Левка влетел в сад, впрыгнул на карниз у нашего дома и стал, задыхаясь, говорить: ”У колдобины дощаник. Пошли”. Мы с Наташкой переглянулись. Я сказала: ”А чей?” — ”А я почем знаю. Теперь уж будет наш!” — ”Лезай сюда, ешь”, — решительно сказала Наташка. Она наложила ему тарелку макарон и... остановилась: ”А мама?..” Ровно в три часа мы должны были вести маму гулять.

Я взглянула на часы. Было половина второго. ”Успеем”, — сказал Левка. Он впрыгнул в окно и только успел спрятать под стол свои грязные ”топалы”, как вошла няня. Она погладила его по голове. Левка был ее любимец. Он больше всех почему-то был похож на маму, гораздо больше, чем мы с Наташкой. ”Наш пострел везде поспел. Кисельку-то хочешь?” — ”Хочу”, — сказал Левка. И мы стали говорить об уроках, потому что при няне о дощанике говорить было нельзя. Когда няня вышла, я спросила: ”А весла?” — ”А лопаты на что?” — живо сказал Левка. Он вскочил, и мы осторожно на цыпочках прошли на балкон.

Мама спала на кресле. Рука у нее свесилась, на коленях лежал какой-то английский журнал с машинами. Ветер неслышно листал глянцевиные белые страницы. Я осторожно прикрыла дверь и мы побежали к сараю. Наташка с грохотом развалила в углу лопаты, грабли и вдруг зашипела: ”Ну вот, а второй новой нет, и все ты!” Я возмутилась: ”Это почему это я?!” — ”А кто снег с крыши последний сбрасывал?” — ”Ладно, одну старую возьмем.” ”А я — шест”, — сказал Левка. Он не мог выносить никакой ругани.

Он сунул мне в руки лопату, подобрал какую-то дырявую кастрюлю для черпака и осторожно открыл дверь. Няни не было видно. Мы пробежали по раскисшим огуречным грядкам и остановились у обрыва. Вода стояла у самых нижних сараев. Далеко вверх по ярко-синей реке терялись в дымке залитые водой капустные поля, а потом луга, дубовые перелески... По фарватеру шел последний лед. У деревни напротив суетились рабочие, убирали от воды сброшенный для плотов лес. Даже отсюда было слышно, как подпирает под тот берег вода; горы сверкавшего льда лезли на обрыв и рассыпались на

куски. Гулкий грохот доносился с той стороны, а здесь, на капустных полях, было совсем тихо, как летом в болоте.

Прямо до самой колдобины вдоль канавы тянулся заросший, не залитый водой земляной вал. "Так дамбой и подойдем", — сказал Левка и полез вниз. "Э-эх! С дороги!" — закричала ему сверху Наташка. Она расставила свои толстые ноги и, подпираясь лопатой, в одну минуту съехала по размытой глине вниз. Я покатила за ней. Мы выбрались на "дамбу" и стали осторожно пробираться вперед по шатучей вязкой полоске земли. Кругом блестела на солнце вода. Под ногами хлюпала грязь, прыгали пузыри. Калоши у нас съезжали. Левка в своих "топалах" убежал к самой колдобине. "Да где же твой дощаник-то?" — закричала Наташка. "Вот", — с торжеством сказал Левка. Около него, зарывшись носом в затопленный ивняк, стоял старый щелястый дощаник.

Мы бросились к Левке. Уключины у дощаника были разбиты, на дне стояла грязная вода. Но все-таки это была наша лодка, наша первая собственная лодка! "Прошпаклюем, забьем", — говорил сияющий Левка и гладил грязной рукой почерневший борт. "И покрасим", — сказала Наташка, — "зеленой краской с белой полоской. Или красной... Красная Стрела!" Наташка выхватила у Левки кастрюлю, вскочила в лодку и стала откачивать воду.

"Поехали!" — крикнул Левка. Я оттолкнулась ногой от вязкого берега, лодка закачалась, и мы поплыли. "Плывем!" — закричала Наташка, — "честное слово, плывем!!!" Кругом серой щетиной торчал из воды густой ольшаник. Мы плыли по затопленному лягушачьему царству. Летом колдобина просыхала и превращалась в кричащее, урчащее болото. А сейчас было как-то особенно настороженно тихо. "Выезжай на чистую", — отгребая шестом, сказал Левка. Мы продрались через кусты и выехали на поля. Я сидела на носу. Легкие волны бежали вперед. Далеко вверх по реке тянулись залитые луга и серые, опрокинутые дубовые рощи. Белые облака лениво плыли по небу и по гладкой воде...

"Эх, и хорошо-то как!" — щурясь от солнца, сказала Наташка, — "Даже вода теплая, совсем теплая". Капустные стебли царапались о дно лодки. Через желтоватую воду виднелись красные ростки конятника, заросшие травой межи. Мы свернули с гряд и поплыли к реке по разъезженной дороге. Илистая муть клубами поднималась снизу. Я вспомнила, как мы с грохотом ездил здесь на бочках, когда поливали капусту, как гоняли лошадей, как бегали купаться на маленький крутой пляж...

Берега Ярвы приближались все ближе и ближе. Уже зарыбила затянута течением вода, налетал сбоку холодный ветер. За ивняком, забитым пеной, хворостом, какими-то сучьями, сплошной стеной, до самого того берега, шла большая вода. Она крутилась и вертелась, грязные обтаявшие осколки льда рассыпались и исчезали в водоворотах.

Мы зацепились руками за ветки и, стоя, молча смотрели на реку. "Ну и несет", — прошептал Левка. Ниже по течению совсем близко от нас торчал

из воды почти затопленный островок. Лед разбивался об его обрывчатый обточенный берег. Красные поломанные ветки вербы дрожали от страшного натиска воды. А на вершине острова было такое летнее солнце. И песок. Тысячу раз мы плавали на этот островок... И мне вдруг ужасно захотелось броситься как летом и зарыться в его горячий белый песок. И лежать, и ничего не говорить, и смотреть, раскинув руки, на высокое синее небо и далекие мягкие облака. Ведь остров был так близко! Только двадцать шагов нужно было выгresti, только двадцать шагов!

У меня загорелось сердце. Я взглянула на Наташку. Мы всегда думали вместе! "Поедем?.." — прошептала она. Я знаю, я должна была сказать нет. Я была старшая. Но уже где-то внутри меня что-то начало мелко-мелко дрожать и мне стало страшно и весело, как на лыжах перед большой неизвестной горой. И я забыла про маму и про все.

Несколько секунд мы стояли, прижавшись друг к другу. Потом Наташка бросила лопату и схватила черпак. Мы вычерпали всю воду, до капли. Я плотно уселась на корму, укрепила ноги и взяла лопату. Наташка слева, я справа, Левка стал с шестом посередине. "Садись", — сказала я тихо, — "брось шест". — "А как же я?" — "Садись!" — сказала я с угрозой. Левка огорченно сел.

Ветки со скрежетом провезлись по дну лодки. Вода подхватила нас. Левка вцепился за борта. Я загребла, стиснув зубы. Нос занесло по течению, я перегребала Наташку. "Левой, левой!" — закричала я. Наташка, брызгаясь, изо всей силы гребла лопатой. Но лопата застревала в ледяной каше. Я бросилась на левую сторону. Остров приближался со страшной быстротой. "Не успеем, назад!" — закричала я. "Назад!" — закричал, вскочив, Левка. Лодку потащило боком. Сразу же за островом течение круто уходило на ту сторону под деревню, под тот крутой обрыв... "Заворачивай, да заворачивай!!!" — задыхаясь, кричала я.

Наташка всем телом налегла на лопату, что-то хрустнуло, лопата расщепилась, лодка сильно качнулась, черпнула воды, осела — и вдруг сразу из всех верхних щелей тонкой сильной струей забила вода. "Черпай!" — отчаянно закричала Наташка. Левка схватил ковш. Но течение уже завернуло, нас быстро потащило на ту сторону, мимо нашего поселка, мимо заборов, мимо нашего беленького домика наверху. Лодка погружалась.

"Пропадем", — пронеслось у меня в голове. "Черпай!!!" — с ужасом закричала я. Но Левка вдруг замер с поднятой кастрюлей. Из дырки на колени ему текла вода. Он глядел на наш берег. Я взглянула в его посеревшее лицо и вдруг поняла: мама... Три часа: мама вышла с няней гулять. Сердце у меня остановилось. Я медленно обернулась назад.

Мама бежала по крутой горе вниз. Шапка у нее слетела, платок волочился по грязной траве. Сзади, падая и крича, бежала няня. Лопата выпала у меня из рук. Мама сразу остановилась. Мы сидели и не дышали. И вдруг мама крикнула и ветер донес к нам с той стороны ее злые звонкие слова: "Труссы,

трусы несчастные! Тоните! Не жалко!” — и побежала назад вверх быстро-быстро.

Я не могла сразу понять. Эти слова упали мне на голову как бревна, как какие-нибудь тяжелые камни! Кровь бросилась мне в голову. Трусы?! Я вскочила, вышибла ногой скамейку и швырнула в онемевшего Левку. ”Греби”, — закричала я в бешенстве, — ”Убью! Греби!” Наташка схватила доску. Вода кругом забурлила. Все во мне кипело; трусы, трусы! Брызги летели кругом. Лед напирал и сыпался в лодку. Левкин ковш мелькал в воздухе. ”Греби, греби!” — кричала я. Мы сидели по пояс в ледяной каше, ноги онемели, пот лил с нас градом. Берег приближался со страшной быстротой. Уж видны были горы сверкавшего льда на обрыве, лед ломало и крутило, река сжималась берегами с обеих сторон. Только маленький затончик был до обрыва — у ключа под деревней. И там спокойная вода, там можно пристать. Только выгрести!

Я видела, как дрожали от напряжения Наташкины руки. Раз, раз — мы никогда не были трусами! Лодка трещала, качалась, льдины стукали по коленкам. Уже совсем близко была полоска гладкой талой воды, какие-то люди на берегу, ребята, рабочие у бревен... В последний раз я навалилась на лопату — и лодка, расталкивая льдины как ледакол, понеслась по тихой заводи. ”Выгрести!” — задыхаясь и торжествуя, я взглянула на людей. И вдруг увидела впереди на бревне Полещука. Он стоял с каменным лицом и смотрел на ту сторону.

К нашему саду бежали люди. Тетя Вера в белом халате стояла на коленях. Наташка схватила меня за руку. У меня ослабели ноги. Кто-то подхватил нашу лодку багром. Шатаясь, мы вылезли на грязный берег. Мокрые по пояс. Никто не обращал на нас внимания. Рабочие молча глядели не в нашу сторону. Толпа у ворот расходилась. Сзади нас тихо переговаривались женщины. ”Унесли...” — расслышала я. ”Так я и знала...” — чуть слышно прошептала Наташка. Желтые пятна поплыли у меня в голове и вдруг шум реки стал еле слышным. Нас повели куда-то к перевозу. Как слепая, я перешагнула борт приготовленной нам лодки. Кажется, на веслах сидел Полищук. Левка испуганно протянул мне руку. Я села на скамейку, и все стало пусто и тихо.

Я очнулась на том берегу. Наташка лила мне на голову воду. Полищук уже не было. Мы вылезли из лодки и медленно побрели в гору. На дворе было пусто. Мы поднялись по ступенькам. Страшный запах камфоры стоял во всем доме. Мамина комната была закрыта. Тетя Вера — Левкина мать — тихо шепталась с кем-то за дверью. По коридору пробежала няня. Мы прижались к двери. Няня прошла мимо нас, как будто не видя, как мимо стены. ”Нянинька...” — прошептала ей вслед дрожащими губами Наташка и сложила руки. Няня остановилась. Ее худое сморщенное лицо было заплаканным. ”Ну что ж, так и будете стоять?” — сурово сказала она, — ”скидывайте платье”. Мы пробрались к себе в комнату, стали стягивать мокрые чулки.

Руки были чужие. Мы останавливались и слушали. Но все было тихо. Вдруг в дверь проскользнул Левка. "Обморок..., с сердцем плохо", — прошептал он, оглядываясь на дверь, — "как вбежала на гору, обернулась, увидела, что мы выплыли,.. и упала, и все без сознания".

Мы стояли у холодной печки. Темнело. Мы все ждали... Потом в открытые ворота влетел тарантас. Николай Петрович, наш главный врач, накидывая на ходу халат, вбежал на крыльцо. Все в доме зашевелилось. Засуетилась няня. Захлопали двери. А мы ничего не знали... Николай Петрович вышел из комнаты и прошел с тетей Верой, о чем-то оживленно говоря. Из маминой комнаты пробежала няня. Я не могла больше вынести. Я бросилась к няне и Наташка за мной. "Жива будет, господи", — сказала няня и всхлипнула, — "в сознание пришла... И все про вас". Она махнула рукой и пошла на кухню. Мы бросились к маме. Но тетя Вера решительно закрыла дверь. Мы тихо вышли втроем на балкон, сошли по ступенькам. Сели на скамейку под липами. Было сыро, на бледном небе светили звезды. Молчать больше не было сил.

"Это потому..." — прошептал Левка, — "это все потому, что у нее такое слабое сердце". "Слабое сердце?!" — вдруг, задохнувшись, вскрикнула Наташка и встала. И я тоже встала. Я поняла, что хотела сказать Наташка. Хотя это было верно, что у мамы слабое сердце. Я вдруг поняла, какая же сила и выдержка должна была быть у мамы, чтобы крикнуть нам такие слова, бежать — такой слабой. И как она в нас сильно верила!

И мне стало горячо и тесно на сердце. Я подошла к дереву и обхватила руками гладкий холодный ствол и сказала сама себе: "Когда я вырасту и буду работать, не знаю еще кем... Но если я буду агрономом, я буду такая вот, как мама... И если я буду доктором, врачом, путешественником каким-нибудь в пустыне, я тоже буду всегда как мама. И если, если, может быть,.. если, может быть, я буду когда-нибудь писателем, я тоже буду как мама".

Я написала все, какая-то машина у ворот... Папина машина гудит у ворот! Что я ему скажу?..

Рассказы и сказка для детей

Кошка Минюшка

Мы с братом давно хотели узнать, умеет ли кошка плавать? И спорили много об этом. Спросили один раз папу, а он только засмеялся.

— Попробуйте, — говорит. — Если поплывет, значит плавает.

А мама на папу рассердилась:

— Всегда, — говорит, — ребят неизвестно чему учишь!

Так мы и не узнали ничего, потому что негде зимой было пробовать. Летом переехали на дачу и нашу кошку Миню с собой взяли, но река была далеко. Ходили мы купаться только с мамой, а разве мама позволила бы пойти на реку с кошкой? Ни за что! Так мы и махнули рукой на это дело.

И вот один раз утром брат мой Юрка куда-то пропал. Я его долго искала и наконец нашла у колодца. Он извозился в грязи как поросенок, но зато устроил настоящий пруд: из глины круговой вал сделал и воды накачал. Плотины пристроил и мельничное колесо хотел приладить, да только с колесом у него не выходило. Я подошла к нему и стала глядеть, как он мучается. И наша кошка Минька — беленькая, пушистая — на заборе сидела и на него смотрела с презрением. Она была чистюля и ей даже глядеть на грязь было противно.

И вдруг я придумала:

— Юрка, — говорю, — вот теперь мы можем узнать, умеет ли кошка плавать!!

— Это еще почему? — проворчал Юрка.

Я под села к нему и стала объяснять тихонько, чтобы Миньку не испугать:

— Мы позовем Федю и станем все кругом пруда. Один будет толкать Миньку в воду, в пруд, а другие не пускать ее на берег. Вот ей и придется поплыть!

Юрка согласился, будто нехотя, а я видела, что ему тоже хочется скорей попробовать.

— Да, можно, — говорит, и зевнул даже, — только мелкота здесь, подкачать надо.

И пошел вразвалку к колодцу. А я побежала за соседским Федей. Пока я ходила, Юра накачал воды вровень с краями и пруд стал совсем глубоким.

Мы присели кругом пруда на корточки, а я стала пихать Миньку в воду. Только ничего у нас не вышло: Минька то вырвется из рук, то сразу перепрыгнет на другую сторону. А пруд шириной был шагов пять! И всегда прыгает туда, где ее не ждут. Только хвост мелькает. Мы даже вспотели. И на Миньку рассердились: жара такая, солнце печет, всякий бы рад поплавать, а она ни за что!

Федя вытерся рукавом и говорит:

— Возьмем ремень, отстегаем хорошенько, — небось, не будет тогда прыгать!

Мы не дали Миньку бить, а он совсем разошелся:

— Нюни вы все, — кричит, — больше ничего! Никакой каши с вами не сварю. Ну, кинем ее в колодец — оттуда не выпрыгнет!

Это было ловко придумано. Колодец был глубокий, и на самом дне его вода. Из такого колодца никакая кошка не выпрыгнет. Мы переглянулись с Юркой, я завернула Миньку в подол, чтобы не царапалась сильно, и мы бросились к колодцу. Минька у меня на руках кричала, из рук вырывалась. "Нет", — думаю, — "не уйдешь, голубушка".

Я прибежала к колодцу первая и заглянула вниз. Там было темно как ночью. И где-то далеко внизу маленьким квадратиком отражалось небо... В лицо мне пахло холодной сыростью, и я отшатнулась — мне стало неприятно.

— Чего стоишь? — налетел на меня сзади Федька, выхватил у меня Миньку — раз! — и бросил в колодец...

Плюхнулась в воду Минька, и нет ее... Одни круги разошлись в воде... И вдруг вынырнула мордочка, забила Минюшка передними лапками по воде, быстро, быстро, как собачонка, да как замяучит. Тоненько, жалобно! Тут меня словно дернуло что-то:

— А вылезти-то ей как же? Утонет ведь теперь, совсем утонет! Сами погубили... Я взглянула на ребят. Федька свесил лохматую голову и смотрел вниз хмуро. Да ему что! А Юрка тоже зажалел, и у него дрожали губы, и на глазах были слезы.

А Минюшка кричала, все больше надрывалась. Лапками скребла по бревнам, вылезти старалась, а бревна скользкие, срывались у нее лапочки. "Минюшка моя хорошая", — думаю, — "бросили тебя, погубили. Не будешь ты ночью ко мне под одеяло приходить, мяконецкая такая, тепленькая". Глазки у нее синие были, как василечки...

Нет такой другой кошки на свете! Все сразу вспомнилось: как ее папа котеночком из Киева привез, в корзиночке, какая она умница была. Кран у умывальника сама открывала, когда пить хотела. А нас как любила! Ведь даже гулять с нами ходила, как собачка, одна не хотела оставаться. Пойдем за грибами, а она по деревьям, как белочка...

Покатились у меня слезы по лицу, смотрю я вниз и вижу, вижу — не выдержит долго Минюшка. Из последних сил хлопает она лапками и кричать не может... Вода холодная, ледяная, не привыкла же она! Спасать ее надо, скорее, скорее! Ах, если бы хоть мама дома была!..

Оглянулась кругом — ели стоят спокойные, ветвями чуть покачивают, и птичка какая-то наверху заливается... И будто ничего, ничего не случилось, и не гибнет здесь вот, рядом, наша Минюшка. Обернулась назад и вижу — веревка... на деревьях протянута, для белья... Я вскочила.

— Ребята! — кричу, — веревка!.. Живо, живо!.. Все сразу поняли, вскочили как встрепанные. Бросились отвязывать веревку с двух концов, а руки дрожат, не можем никак развязать. Я кричу:

— Юра, ножик свой давай. Скорей! Скорей!.. Перепилили веревку, привязали к концу полено, чтобы Минюшке было за что уцепиться. Бросились назад к колодцу — а там ничего не видно. Юрка как

заревет:

— Утонула!..

Вдруг из воды опять мордочка высунулась, уж не кричит наша Минюшка, только еле-еле лапками шлепает... Федя спускает веревку с поленом, а мы все ухватились за другой конец — упустить боимся. И вниз кричим:

— Минюшка, милая, поддержишься немножечко!

И вот уж плюхнулось полено в воду. Минюшка живо взобралась на полено, и мы ее вытащили наверх. Что тут было! Я схватила дрожащую Минюшку, прижала ее к себе и побежала домой. А Юрка впереди, под ногами путается, все поддержать хочет, будто не донесу я сама!

Дома в полотенце Миню завернули, растирать стали изо всей силы. А у Минюшки глаза какие-то круглые стали, будто не узнает она ничего, будто чужие мы... Только дрожит мелко-мелко... Я Феде кричу:

— Живо за молоком на кухню, да теплого, теплого надо!

Няня наша Аннушка прибежала, ругать хотела, да увидела Миню, рукой махнула и пошла молоко греть. А мы Миню в одеяло теплое завернули как ребеночка, стали кругом и гладим ее, приговариваем каждый по-своему. Попила Минюшка немножко и выбралась из одеяла. Потянулась, встряхнулась и стала себя всю облизывать. И вдруг вспрыгнула на окно и убежала... Видно, и глядеть-то ей на нас не хотелось.

Мы спать легли. Мама не приехала. Юрка повздыхал, поворочался и заснул. Я лежала в темноте и слушала, как шумят деревья в саду, как царапают ветки по крыше... И было мне очень грустно. Вдруг тихо скрипнуло окошко... Кто-то неслышно пробежал по комнате и прыгнул ко мне на одеяло. Смотрю — Минюшка! Простила все-таки.

Мой брат Миша

Мы жили летом у дедушки в Кашире. Там везде много садов. И у дедушки был большой сад. К нам приходили соседские ребята, и мы играли в войну. Мы были буденновцы, а мой брат Мишка — враг. И каждый раз буденновцы его били. Не очень, конечно, сильно, главное — по земле валяли, и он приходил домой весь в грязи. А бабушка удивлялась: почему все чистые, а Мишка один всегда грязный?

Один раз бабушка увидела, как Сережка Жук уселся на Мишку верхом и скручивает ему руки поясом, а Мишка лежит в пыли и ревет:

— Я больше не буду!..

Бабушка налетела на нас, подняла Мишку и стала кричать:

— За что вы его бьете? Ну за что?!

Ребята испугались, стоят и молчат, а я ответил:

— За то, что он враг!

— Да разве такие враги бывают?! — спросила бабушка. — Вы думаете, он на врага похож?

А я сказал:

— На кого же он похож? На буденновца, что ли?! Да разве такие буденновцы бывают? Чтобы такие толстые и ничего делать не умели — ни бегать, ни ползать? И военные тайны держать не могли? Да если Мишку попросить хорошенько, он тебе всякую тайну расскажет...

А бабушка ничего не поняла и стала говорить, что он маленький, а маленьких нельзя обижать и все такое, и что раз мы не можем дружно играть, то она с нами купаться не пойдет.

Ребята ушли, а я залез на забор и стал думать, что вот какая бабушка: ведь она мне сама дала вчера две наволочки для пузырей, чтобы плавать учиться, и сказала: "Вот завтра испробуешь!" — и сама не захотела идти... И неужели мы правда не пойдём на реку?!

И вдруг услышал: бабушка зовет. Я обрадовался, побежал скорей к дому и тут увидел, что у бабушки на столе целая гора вишен. И она сидит и косточки вынимает и даже не думает никуда идти. А на полу горят две керосинки, на них варится варенье, и Мишка сидит на табуретке и пьет чай. Я остановился, а бабушка сказала:

— Выпей-ка чайку со свежим вареньем...

Только за тем и позвала! Я посмотрел на Мишу, как он на таз с вареньем глядит, и увидел, что ему все равно, идти или не идти купаться, только бы варенья побольше съесть — вот какой был сластена!

Я сказал бабушке:

— Не хочу я! — и ушел в сад. Мне очень хотелось пить, только я рассердился. Я ушел в середину сада и остановился.

Была страшная жара и никакого ветерка. Кругом, как бешеные, носились большие мухи. Мне ничего не хотелось делать, только купаться... Я стоял

около маленького абрикосового деревца, отгонял мух, хлопал веткой по стволу и глядел от нечего делать, как качаются на тоненьких веточках дедушкины абрикосы. Дедушка три года подряд старался вырастить абрикосы из каких-то особенных косточек, а они все замерзли. И вот, наконец, выжило одно это деревцо (дедушка растил его семь лет), и, наконец, оно зацвело, и дедушка все любовался. В первый раз в Кашире зрели абрикосы, и когда мы приехали, дедушка сказал: "Все можете есть, все можете рвать, а до абрикоса... пальцем не притрагиваться!"

Теперь абрикосы стали большие и с красными крапинками... Я протянул руку и погладил самый большой абрикос. Он был мягкий и пушистый, совсем как бархатный... Я пощупал пальцем, чтобы узнать, скоро ли поспеет, надавил чуть-чуть — и вдруг прорвал кожицу! Я испугался, что дедушка увидит, как я его испортил, и не знал, что делать. А сок капал и капал мне на руку. Я лизнул руку — он был сладкий, чуть кисловатый. Я подумал: "Уж лучше я съем этот, и, может, дедушка не заметит", — и сорвал абрикос. Сдернул горькую кожицу, откусил, и он был такой сочный, холодноватенький — в тысячу раз лучше, чем в Москве! Я не удержался и сорвал второй, а потом третий — я как-то не заметил — наверное, потому, что пить очень хотелось...

Вдруг ветки затрещали, и из малины вылез Миша. Я испугался и хотел скорее проглотить, а он все увидел... Он подошел, поглядел мне в рот и спросил:

— Сладкий? Да?..

Я сказал:

— Не... горький!

И хотел как будто выплюнуть, а Миша не поверил и стал просить:

— Ну и пусть горький! Саша, а ты дай! Маленький кусочек. Ну вот такой... Саша!

Тут бабушка закричала с балкона: "Миша, Миша, иди пеночки лизать, иди скорей!" — и Миша убежал. Я посмотрел на деревцо... На нем висел только один абрикос. Я подумал, что теперь уже все равно, теперь все пропало... и съел последний.

Потом мне стало очень скучно... Я пошел к Мише, и мы стали играть под балконом. Там у нас были всякие дощечки и кирпичи. И Миша совсем не вспоминал про абрикосы. А я только нарочно играл и все думал, как бы скорее кончился день.

...Дедушка пришел с работы поздно. Он, наверное, устал и не пошел в сад сразу, как всегда, а сел в кресло и стал дожидаться, пока бабушка разогреет обед. Миша сейчас же прилез к нему на колени и стал головой ласкаться, как теленок.

— Дедушка, расскажи! Дедушка, про "баранью голову".

Тут пришла из кухни бабушка и сказала, что "никаких бараньих голов", увела Мишу спать и мне велела ложиться. Я слышал, как дедушка обедал и как

он отодвинул стул и выдвинул ящик с инструментами. Я слышал, как он пощелкал ножницами и сказал, что вот опять затупились и надо точить... Потом заскрипели ступени, и дедушка прошел в сад к своим абрикосам.

Я не знаю, сколько прошло времени. Вдруг дедушка пробежал мимо, загнулся о порог, хлопнул дверью и закричал:

— Семь лет растил, семь лет! Дрянной мальчишка! Ведь как просил, как просил!!

Я скорей зажмурил глаза крепко-крепко, как будто я сплю, а дедушка даже не взглянул на меня... Он подбежал к Мишкиной кровати и сдернул с него одеяло. Он думал, что Мишка съел абрикосы: ведь Мишка был сластена! И стал кричать, что сам Мичурин ему подарил косточки, сам Мичурин! А Мишке все наплевать, вот какой растет внучек, вот какой вредный. Про "баранью голову" ему расскажи — "дедушка, миленький!" А кто абрикосы порвал?! Кто порвал?! Дедушка стучал ножницами по Мишкиной кровати, а кровать дребезжала и гремела. Миша сел на кровать и стал очень-очень сильно плакать...

Я никогда не видел, чтобы дедушка так кричал. Он был всегда добрый и никогда никого не ругал. Я изо всей силы сжимал глаза и только ждал: вот сейчас Миша скажет, что это не он, и дедушка подбежит ко мне... А Миша ничего не сказал. Ни одного слова, только плакал все сильнее и сильнее...

Наконец, бабушка вытащила у дедушки ножницы, дедушка хлопнул дверью и убежал в столовую. Бабушка уложила Мишу и стала его гладить по спине и что-то приговаривать. А Миша все всхлипывал... Потом он заснул, и бабушка ушла. А я лежал долго-долго, и мне было очень жалко Мишу, и я не мог понять: ну почему Миша не сказал, что это не он? Неужели он забыл? Да разве я бы забыл?!

И вдруг я вспомнил, как мне говорила наша старая няня, что ребят нельзя пугать, что у них в деревне, когда она была маленькой, одного мальчишку напугали, он вырос большой и остался глупый, и все его дураком звали. И я вдруг испугался, что и Миша такой сделался — почему он ничего не говорил? И все из-за меня? Я так сильно испугался, что не мог больше вынести, вскочил с кровати и побежал в столовую...

В столовой горела лампа. Дедушка сидел и читал бабушке, как всегда, большую книгу с картинками про луну и про звезды — "В царстве звезд и светил", а бабушка штопала чулки. Дедушка увидел меня, замолчал и снял очки... И мне стало очень страшно. Я побежал скорей к бабушке и сказал, что это я... Дедушка бросил очки, захлопнул книгу и затряс руками:

— Да ты понимаешь, что ты наделал?! Ведь я семь лет растил, семь лет! Первые, каширские!

Я уткнулся бабушке в колени, заплакал и сказал, что я все понимаю, и не буду я больше! И как я боюсь, что Миша испугался, как дедушка кричал, и будет теперь глупый... и что мы будем делать?! Дедушка замолчал, схватил книгу и стал ее быстро перелистывать, а бабушка вздохнула, взяла меня за руку и

увела спать.

Утром я проснулся, потому что меня толкал Миша. Он совал мне в лицо черные мокрые вишни и кричал:

— А мне дедушка дал, а ты и не слышал!

Он был веселый, он ничего не помнил. А потом прибежали ребята на конях — на ореховых палках — и Сережка Жук закричал:

— Буденновцы, за мной!

Я вскочил на своего коня, и Мишка тоже схватил веточку и запрыгал за нами, а Сережка ему крикнул:

— А ты еще куда? Ты же враг!

Я вдруг рассердился, оттащил Жука за угол и сказал ему, что уж теперь по очереди, и что Мишка не будет всегда врагом. Сережка удивился: почему? И я сказал:

— Потому!

И вдруг увидел, что бабушка стоит и смотрит на меня из окна. Я дернул скорее сережкиного коня, и мы ускакали в сад.

В пещерах

Володя Платонов приехал к нам в поселок уже весной и поступил в наш класс. Он целые дни мог рассказывать всякие страшные истории и приключения, которые с ним случались, а ребята ходили за ним и слушали. Один раз на последней перемене мы сидели на школьном крыльце — уже тепло было, солнце — и Володя говорил, что он ходил по каким-то пещерам и видел подземные реки и колодцы без дна. Я сказал: "И у нас тоже есть пещеры!" И стал рассказывать, как я с отцом пошел осенью ловить рыбу, и он показал мне на крутом берегу в кустах яму. Это был вход в пещеру — в старинную каменоломню. Там давно-давно, еще при царе Иване Грозном, добывали из-под земли камень. И прорыли во все стороны ходы: такие длинные и такие путанные, что ни один человек не знает, где они кончаются.

Потом был звонок, но Володя сидел на уроке и ничего не слушал. А когда мы пошли домой, он оглянулся и зашептал мне на ухо: "Вот чего, полезем в эту пещеру, а? Только чтобы до самого конца дойти. И чтобы никому ни одного слова... Я буду командир, я все знаю, как по пещерам ходить. Вот уж тогда я Федьке Рябцеву покажу!" А у нас в классе был такой мальчишка — Федька Рябцев. Он совсем Володе не верил и всегда смеялся над ним. А Володя и правда — и в Крыму, и на Кавказе был.

Я согласился, и Володя сказал мне, что тогда надо купить свечи и бечевку, тонкую такую веревку. Ее нужно привязать у входа в пещеру и все идти и разматывать, а как пойдешь назад, так все сматывать. И тогда никогда не заблудишься. И мы решили копить на это деньги. Я сказал, что нужно взять кого-нибудь третьего: тогда скорее накопим денег. Хотя бы Настю с нашего двора. Володя заморщился: "Ну ее, она еще хныкать будет!" А я сказал: "Нет, она не будет. Она только тихоня, я ее знаю. Я ее десять лет знаю. Сначала я родился, а через день она".

Мы копили деньги целый месяц. И вот, наконец, рано-рано утром я выскок из окошка в сад. Там меня ждали Настя и Володя. Мы тихонько отрыли закопанные в землю свечи и веревку и побежали к реке. Солнце только всходило, все еще спали. Мы долго лазили по горе и искали яму. Я ничего не узнавал — все так изменилось с осени. Тогда кусты были голые, а сейчас все разрослось, черемуха цвела, везде росла высокая трава. Но Настя нашла яму в самой чаще! Она была узкая, как волчья нора. И из нее несло сырým холодом.

Володя построил нас в ряд. Сначала меня, потом Настю. И скомандовал: "Смирно! Товарищи бесстрашные бойцы! Мы идем в трудную разведку. Только железная дисциплина может нам помочь. Исполняйте мои приказания!" Потом он сказал: "Вольно", и мы стали зажигать свечи. Мы долго не могли их зажечь, потому что был ветер. Потом Володя взял веревку и полез первым. Я ждал, когда же он начнет привязывать веревку, а он, наверное, позабыл. Я ему крикнул вниз: "Ну, что же ты? Привязывай веревку!" Володя вспыхнул и закричал: "А ты что командуешь?! Разве это игра? Кто

командир, ты или я? Когда надо будет, тогда и завяжу!”

Я замолчал и полез за Настей в яму ногами вперед. Сразу стало холодно и сыро. Ноги у меня поехали куда-то вниз между грязных мокрых камней. Сверху сочилась вода. Я цеплялся руками за скользкие стенки и боялся скатиться на голову Насте. Вдруг ход кончился и вышел в большой зал. Мы остановились и стали оглядываться. Наши свечи чуть освещали середину пещеры. Кругом во все стороны чернели низкие ходы. Я дотронулся до стены: она была покрыта толстым слоем мягкой серой пыли — такой легкой, как зола в печке. Кругом стояла странная удивительная тишина. Как будто все умерло.

Я сказал Насте на ухо, тихонько: “Если крикнуть, вот будет громко!” Настя оглянулась и прошептала: “А ты крикни...” Я крикнул сразу изо всей силы — а у меня ничего не получилось! Я еще не успел кончить, а звука уже не было. Как будто я кричал в какую-то огромную подушку. Я подумал, что, наверное, эта толстая пыль вбирает в себя всякий звук, как мягкая вата...

Володя вскочил — он привязывал веревку к большому камню — оглянулся быстро и зашипел: “Вы что, с ума сошли? Смирно, говорю”. И мне тоже стало неприятно, что я закричал, так тихо все кругом было. Мы с Настей замолчали, а Володя поднял свечу над головой и вошел большими шагами в высокий прямой коридор. Мы шли за Володей очень долго. Свечи на ходу горели чуть видно и освещали то пол, то стены. Во все стороны — вправо и влево, вверх и вниз — уходили боковые узкие ходы. А поперек них у самого их начала — не знаю кем, наверное, очень давно — были выложены рядом маленькие камушки. Они как будто говорили: “Сюда хода нет”. И везде, на камнях и на стенах, и под ногами, густым слоем лежала мягкая серая пыль...

Мне очень хотелось посмотреть: что же это там за этими камушками? А Володя торопливо шел все вперед и я молчал. Вдруг коридор кончился и мы попали в небольшой, очень высокий зал. Мы подняли свечи — они горели куда-то в темноту, прямо вверх. По стене, в глубокой борозде сочилась прозрачная и чистая вода. Я подставил руку и стал пить. И Володя с Настей тоже. Потом мы стояли и слушали, как все тихо. Только вода журчала чуть слышно и чье-то сердце стучало: “У-ух, у-ух”. Не знаю, мое или Настино.

Я подумал: “Уж сколько мы времени ходим?” Свечи догорали, все руки залепило стеарином. Володя достал из-за пазухи новые свечи и раздал нам. Больше у нас свечей не было. Володя пробормотал: “Назад скорее пойдем...” Мы полезли дальше в узенький проход. Он был совсем низкий и подперт старыми деревянными стойками. Мы долго, пригибаясь, пробирались между подпорками. А потом Настя нечаянно задела плечом столб — и вдруг он рассыпался в мельчайшую пыль. Как будто его и не было!

Настя отскочила. Мы остановились. “А вдруг обвалится?” — прошептала Настя. Мы посмотрели вверх. Я осторожно дотронулся до потолка: с него повалились холодные камушки. Настя прижалась ко мне плечом. И я почувствовал, как она вся дрожит. И мне тоже стало вдруг как-то скучно

и захотелось, чтобы было солнце и тепло. И чтобы не было этой тишины и старых столбов, которые рассыпаются.

Володя вдруг круто завернул в маленький боковой ход, заваленный камнями. И мы скорей за ним. Я обрадовался — вот когда будет конец! Мы полезли вверх по огромным пыльным камням: под потолком чернела узкая щель. Володя протянул руку и осветил ее свечей... Впереди опять тянулся ровный и прямой коридор, и конца ему не было.

Мы лежали на камнях и молчали. Где-то капля за каплей стекала вода: кап-кап-кап... Вдруг над нашими головами затрепыхалось что-то серенькое, живое,.. задело мне по щеке холодной лапкой, пискнуло тоненько и противно — как будто иголкой кольнуло — и исчезло в темноте. Я сразу понял, что это летучая мышь! А Настя испугалась и схватилась за меня руками. Я сказал: "Настя, да ведь это летучая мышь!"

Тут Володя толкнул меня в спину и быстро-быстро пополз вниз. Моя свеча осветила ему лицо и я вдруг увидел, что он боится, страшно боится... Я крикнул ему: "Ты куда?" А он ничего не ответил. Он изо всей силы дергал назад веревку, а она запуталась в камнях. Тогда он бросил веревку и побежал куда-то вбок, ни на чего не глядя, как слепой. Я догнал его и схватил за рубашку: "Не смей бежать, заблудишься?!" А Настя вцепилась за меня сзади. И у меня потухла свеча. Они были бледные, глаза у них бегали, губы тряслись. Я закричал на них: "Да вы что, с ума сошли?" Я зажег свою свечу, скорей распутал веревку, руки у меня дрожали. И я пошел по веревке назад, никуда не глядя, и так быстро, чтобы только не потухли свечки. Через низкий проход с деревянными подпорками, через большую высокую залу, по прямому коридору мы скоро вышли в большую пещеру. Веревка кончилась. Я остановился. Настя наткнулась на меня и сказала нетерпеливо: "Ну?!"

Я обернулся и увидел, что у нее глаза блестят, наверное, от радости, что скоро выйдет. А я сказал со злостью: "Что ну-то?" — ведь я не знал, куда идти дальше. Ходов везде много, а который из них наш? Я посмотрел на Володю. Он отвернулся. Настя опустила глаза и уселась на большой камень. И Володя расселся рядом. Как будто не он был виноват. Я поглядел на него со злостью и подумал: "Ух ты, командир! Почему не привязал веревку у самого входа? Уж давно бы вылезли, там наверху солнце, тепло!" И я полез в самый первый, близкий к нам ход. Ход пошел сначала вверх, потом круто завернул и стал медленно спускаться. Я подумал — куда же это? И вдруг увидел два огонька, и Настю и Володю. Они испуганно смотрели на меня. Ход вернулся в тот же зал!

Я схватил веревку и с ней полез в другой ход. Тот крутил вправо и влево, вверх и вниз шли маленькие узкие ходы, но я не мог пролезть, не проходили плечи. Я хотел идти назад, но вдруг ход повернул, стал просторней, я спустился по ступенькам... — и увидел маленькие огоньки. И Володю и Настю на камне... Я опять вышел в пещеру, в другой конец!

Мне стало жарко. Может, от страха: от свечи остался маленький кусочек

и скоро будет темно. Но я стал себе говорить так: "Ведь раз мы пришли сюда сверху, значит есть правильный ход. Нужно идти во все хода по очереди — и я найду выход!" Я выдернул веревку и полез в третий ход. Он был страшно узкий. Я протискивался вверх по грязным камням, ощупывая все стенки. И вдруг у меня под рукой рассыпалось какое-то бревно. Я отдернул назад руку. Потом посветил и увидел рядом старый-старый сруб и колодец. У меня сорвался камешек и хлопнулся куда-то в воду... Я лежал на мокрых камнях, весь в грязи, свеча расплавилась у меня по руке. На голову капала холодная вода. И все я думал про Володю: ведь он знал, знал, что нужно было привязывать веревку у самого начала! Он только меня не хотел послушаться! Я вылез ползком назад, свеча моя потухла. Я выдернул у Володи свечу — они с Настей сидели как каменные, только зубы у них стучали.

Я полез в четвертый, самый дальний ход. Он был гораздо шире и просторней. Я быстро карабкался прямо вверх. У меня сердце застучало, и я только подумал: "Неужели нашел?.." И вдруг мне в лицо пахнул теплый воздух. Я скорей затушил свечу. Сверху шел голубоватый свет! Я закричал: "Ребята, сюда!!" Володя с Настей бросились за мной. Мы быстро, друг за другом, вскарабкались по мокрым скользким камням и зажмурились от яркого неба. Было тепло, пахло черемухой, внизу блестела на солнце река.

А на другой день из сельсовета пришли рабочие и завалили ход в пещеру большими камнями.

Васька (трус)



Это все случилось позапрошлым летом, когда я в деревне жил: там моя тетка в колхозе работает. У них деревня маленькая совсем, кругом одни леса. И даже сам колхоз называется "Красный Лесок". Мать меня проводила до станции и уехала обратно на завод. А я к ним в первый раз приехал, никого не знал. Мы шли с теткой по улице, все на работе, на улице пусто, одни петухи ходят. Вдруг мальчишка какой-то навстречу идет, чуть поменьше меня. Брови у него белые. И волосы какие-то белые, и веснушки вроде лепешек. Идет и не глядит. Узду несет и свистит чего-то. Я тетку спросил: "Это кто?" Она говорит: "Это Курхом. Он все на лошадь маленький просился — курхом хочу, курхом! А теперь ездит. Тебе ни в жисть так не проехать! Эх ты, горе!" Она всегда так говорила: "Эх ты, горе!" И всегда дразнилась. Она и не видела как я езжу.

Вечером я вышел на улицу, а по той стороне опять этот Курхом идет. И опять — нарочно вот — не глядит. Я тут закричал: "Курхом-Курхом, как поехал верхом — полетел кувырком!!" Он, конечно, драться на меня полез. А я и тогда здоровый был. Как мы начали драться — все ребята с деревни сбежались...

А ездил он верхом здорово. И на бочку, и задом, и стоя — прямо помешанный на лошадях был. Мы все-таки выбирали лошадей покруглее. Чтобы помягче было. А Курхому все наплевать. До того наездится — прямо еле ходит. А на лошадь вскочит — и опять пошла!.. Он целый день с лошадьми возился: чистил, на речке купал; и все ругался со всеми, что не жалеют. Мать ему говорила: "Ты бы уж и спал с лошадьми!"



У них в колхозе лошадь была — Зорька. Только объездили зимой. Вороная, шерсть блестящая и гладкая такая, даже видно, как жилочки бьются. Совсем была дикая — никому ребятам не давалась. А за Курхомом без узды ходила, как собачка. И еще там у меня один приятель был — Васька. Я его сначала и не заметил. Видел, правда, ходит какой-то нескладный, тощий; и рубаха на нем болтается всегда, будто чужую надел. Он сам к лошадям и не лез. Вот его ребята как-то посадили: кобыла там была с жеребенком, смирная. На ней и не ездил никто. Ее ребята нахлестали сзади — она запрыгала боком как-то. Васька скорее в гриву вцепился. Ему кричат: "Тпру, тпру! Вожжи подбери!" Он за повод дернул, через канаву — и в копешку въехал. Копешка завалилась — и он под копешку! Ребята кричат: "Ищи его, держи!" Навалили на него всю копешку. А он вылез и плачет. И другие смешные истории с ним делали.

Вот этот Васька зашел к нам по какому-то делу, а я как раз в своем чемодане рылся. Я читать очень люблю и набрал с собой целый чемодан книг. Он подошел и говорит: "Дай поглядеть". Я говорю: "Гляди, жалко что ли..." Он стал смотреть: "Эту, — говорит, — читал; и эту читал; и вот эту..." Я так удивился, забыл даже, что и говорить с ним не хотел. И стал Васька ходить ко мне по вечерам. Днем-то нельзя было. Он в телятнике там возился, матери помогал. А мы с Курхомом на лошадях работали, так что я его редко днем видел. Да и не больно жалел: куда с ним не пойдешь, везде над ним смеются. Вот идет он, идет — остановится, задумается чего-то. Вот купаться пойдет, одеваться станет, одну штанину оденет, взглянет на небо и заглядится. Стоит в одной штанине и улыбается чего-то. А ребята кричат: "Гляди-гляди, опять Васька ангелов считает!"

И хоть бы Васька разозлился когда! Посмотришь на него — ну чего это

за человек!? Чего я только с ним путаюсь? А вечером домой придешь — и ждешь Ваську! Тетка нам лампу зажжет, ватрушек или пирогов каких-нибудь подсунет. Она-то очень Ваську любила. Васька станет что-то рассказывать, чего я не читал. Даже тетка заслушается! И когда он не приходил, мне было скучно...

Так прошло лето, и мне осталось жить в деревне три дня и еще одно утро. Я лег поздно. И мне показалось, я только заснул — и вдруг услышал, как Курхом орет: "Сергей, Сергей!" Я вскочил: окошко открыто, солнце ударило мне прямо в глаза. Тетка возилась у печки. И на всю избу пахло пирогами с капустой.

Курхом из окна кричал: "Пошли на Тутаевку, хомуты заказывать! Пошли, что ли!" Я скорее натянул штаны, схватил со стола краюху хлеба и выскочил на улицу. Тетка закричала: "Куда, куда? А чай пить? А пироги-то! С капустой!" Я махнул рукой — некогда! И мы побежали по улице. Было еще рано, солнце только взошло. Бабы топили печки, на улице пахло дымом. Крыши, заборы, деревья — все было мокрое от росы. А лес на солнце был веселый: красный, желтый. Я очень был рад, что пошел.

Мы спустились вниз к речке и встретили под горой Ваську. Он тащил с ключа воду. Васька увидел нас, скорей ведра поставил и закричал: "Куда? И я с вами!" Я знал, что Курхом не больно-то Ваську любит. Я сказал: "Пусть идет!" "Я сейчас, я догоню!" — закричал Васька и побежал с ведрами в гору. Курхом посмотрел, как он скрючился под ведрами и его коромыслом мотает. И ничего не сказал, только сплюнул на сторону. И потом всю дорогу один впереди шел, до самой Тутаевки. А мы с Васькой хлеб все ели и про Ричарда Львиное Сердце и про Айвенго говорили. Я только начал читать и он не хотел сначала говорить. А потом забыл. И рассказывал всю дорогу...

Мы незаметно дошли до речонки, отсюда начиналась гора и высоко на ней была Тутаевка. Я сказал Курхому: "Вали один. Мы здесь подождем". Под горой было жарко, мы с Васькой купались, малявок руками ловили. Страшно есть хотелось, а Курхом все не шел и не шел. Я даже заснул...

Проснулся — солнце было низко, прохладно стало. Васька сидел на берегу и глядел на дорогу. А с горы бежал Курхом и кричал что-то. И прибежал он злой-злющий: "Маленьких, говорят, посылают! Черти проклятые! Ругался-ругался со всеми, волынили до ночи... Айда на Тимохинские болота, круголя только по тракту давать!.." Васька спросил осторожно: "А пройдем?" — и покраснел. Слово боялся Курхому сказать. "Ты, может, не пройдешь, я почем знаю", — пробормотал Курхом, — "айда, Сергей!"

Мы перешли вброд речонку и пошли к лесу. Курхом бормотал чего-то под нос про какого-то председателя или бригадира, а я не слушал. Я еще не проснулся совсем, и в голове сон стоял. Где-то стучала молотилка, в Тутаевку, в гору, медленно ползли коровы, на деревне лаяли собаки, ребята кричали. А в лесу было тихо. В дубовых ветках виднелось зеленое вечернее небо. Пахло прелыми листьями. Куда-то попрытались птицы и лес стоял как мертвый.

Только желуди падали на дорогу. Мы шли быстро, никто не говорил. Бузина разрослась кругом со всех сторон и папоротники. Дорогу завалило старым буреломом.

Мы поднимались в гору, лес становился все глуше и глуше. И вдруг кончился: деревья поредели и прямо в глаза ударило красное солнце. Полнеба горело как пожарище. И сразу белая рубаха Курхома и наши лица и руки — все стало красное, ненастоящее. Курхом сказал: "Ух ты, гляди-ка!" Мы остановились на пригорке. Далеко внизу зеленели болота и луга с далекими стадами. Блестели озера. И где-то самолет гудел. И вдруг он вынырнул из-за леса и сразу кругом все зашумело, загремело. "Пассажирский скоростной", — сказал я, — "Москва-Ленинград". "И нет", — сказал Курхом, — "рейсовый в четыре". Мне спорить не хотелось, потому что я все равно знал, что это рейсовый запоздал. Самолет пронесся совсем низко, оглушительно ревели четыре мотора, а на хвосте я прочел: "ПС". Мне показалось, что ветер пронесся следом за ним. А самолет поднимался все выше и выше и полетел прямо к солнцу. Я подумал: как хорошо, верно, лететь над нашими полями-лесами; и видеть как вьется в лесах наша речка и как стадо пробирается в деревню... И все, наверное, сверху такое интересное и совсем другое.

Вдруг Васька дернул меня за руку. Я поглядел на него и увидел, что он всех курхомов на свете забыл: "И я летать буду. Знаешь, Сергей, чтобы выше всех облаков!" Курхома будто прорвало: "Чего!? Это ты? В летчики?!" И стал хохотать. Ваську повернул и его за штаны сзади потряс: у него всегда штаны болтались как мешок. "Во! Видал героя Советского Союза!" И мне смешно стало — Васька на самолете! Да он и взглянуть-то вниз не посмеет, не то что за рулем сидеть! Я сказал: "Ну чего ты только выдумал, ну куда тебе в летчики? Я вот в газете читал, у одного летчика лыжа сломалась, нельзя ему на землю сесть. Думаешь, он с парашютом прыгнул, да? Самолет бросил? Ну, нет! Он вылез на крыло, повис вниз головой и починил лыжу! Во какие летчики!"

И я вспомнил, как Васька один раз через ручей по бревнышкам на карачках полз. И разозлился даже — ну чего он, правда, придумал?! И закричал: "Летчик тоже! Трус ты — вот кто!" А Васька голову опустил и не стал ничего говорить. Я поглядел на него, как он стоит, плечи съежил. И какие у него уши красные. И мне вдруг жалко стало, что он такой вот, несчастный какой-то. Я сказал: "Да ты, Васька, не больно-то..., не горюй. У меня, знаешь, дядька, говорят, маленький был — ноги крючком, голова — во! Как арбуз! Такой дохляк был, вроде тебя. А теперь!.." А Васька повернулся вдруг и пошел вперед. Мне вроде неприятно стало: вот, думаю, утешил! А потом забыл — надоело мне про него думать. Уж очень хорошо было бежать вниз под горку по мягкой луговой дороге. В лицо ветер дул, травой осенней пахло.

Небо быстро темнело, с болота нам навстречу подымался туман. А как вошли в густой ольшаник, сразу стало холодно и сыро. Дорога заросла, по ногам хлестала крапива, ноги разъезжались в грязи. Мы шли как попало.



Курхом злился чего-то и на нас оглядывался. Мне показалось, что он не больно-то уверен был, что мы пройдем болотом.

Тут начались гати. Туман стал такой густой, как молоко. Я видел только под ногами старые ломаные бревна, под ними чернела грязь и хлюпала. Бревна качались. Васька отставал и падал, а Курхом ругался на него. Мне показалось, что мы шли страшно долго. Но тут болото кончилось и на горке показалась сухая дорога.

Курхом сказал: "Все в порядке!" И вытер травой грязные ноги. Туман остался на болоте, на дороге стало светло и ветер теплый подул. Мы только разошлись по сухой дороге, как вдруг где-то лошадь заржала. Курхом остановился как вкопанный: "Зорька", — сказал он. "Почему Зорька?" — спросил я, но мне тоже показалось. "Не знаю я, что ли?!" — Курхом бросился в кусты под горку, и я за ним с Васькой. Мы лезли по мокрым кустам, по осоке, под ногами хлюпала вода... "Вот она!" — крикнул впереди Курхом. Я закричал: "Где, где?" И продрался через ивняк.

За Курхоловой спиной я увидел болото большое, в тумане и без края. Сильный, сладкий запах ударил мне в нос. Из тумана торчали лохматые кочки, на черной воде плавали круглые листья. "Да где же она?" — я оттолкнул Курхома и увидел, что в стороне у берега что-то чернелось... Мы пролезли по шатучему краю по корням в сухие камыши. И увидели Зорьку... Она стояла по брюхо в болоте, не шевелилась, гладкая шерсть залипла грязью. Она вытянула к нам длинную шею, уши у нее вздрагивали. И глядела, ждала чего-то. И вдруг заржала — тоненько так, длинно... Курхома узнала. У Курхома губы задрожали... и он молчал.

Я не понимал — чего они стоят, чего глядят? Я закричал: "Да чего вы стоите-то? Тащи ее!" — и прыгнул в воду. "Сережка!" — испуганно крикнул Васька. Ноги ушли сразу у меня куда-то в мягкую-мягкую грязь, и дна у нее

не было. Я ухватился за осоку, осока оборвалась, сердце у меня заглодело... Курхом подхватил меня подмышки и выволок на кочку. Мы держались друг за друга все трое на одной кочке и дышали тяжело. "Дурак", — сказал Курхом, — "болот что ли не знаешь? Полез тоже! Айда на деревню." Он запрыгал по кочкам — и я за ним.

"Я здесь останусь!" — закричал сзади Васька. Курхом пробормотал чего-то, нужен ты нам очень, навязался тоже... Мы выбежали на дорогу. Я повернул грязные штаны и полетел за Курхомом. "Наддай, наддай!" — кричал Курхом. Мимо меня кусты мелькали, деревья, в ушах ветер свистел. С деревьев сыпалась роса. Я бежал изо всех сил и совсем замучился. А Курхом уходил от меня все дальше и дальше. Вдруг он остановился — и я чуть не сшиб его с разлета. Что такое? Гляжу — малец какой-то с уздой стоит, рот разинул и на нас глядит. Курхом закричал: "Где кони?" Мальчишка махнул рукой куда-то в сторону, а Курхом выхватил у него узду и кинулся в кусты. Мальчишка захныкал. Я ему сказал: "Не реви ты, пацан! Цела твоя узда будет. Тутаевский ты, что ли?" — и пошел назад: все равно Курхома не догнать. Я шел нога за ногу, с меня пот лил и в ушах стучало. По ногам шлепали грязные штаны. И в голове все перемешалось: и Зорька, и Курхом на черной лошади.

Большущая желтая луна выползла из-за леса. Где-то тоненько кричала птичка-сплюшка: "Сплю-у, сплю-у!" Туман налезал на меня со всех сторон. Мне показалось, что я иду долго, а из тумана все торчал кругом ивняк и не было болота. И я вдруг испугался, что заблудился. "Васька!" — закричал я. И неожиданно Васька где-то ответил, близко совсем. И слабо. Я обрадовался, побежал на голос, пролез через кусты и увидел их. Зорька вся ушла в болото, совсем ушла, только морда у нее, страшная такая, торчала. И зубы оскалены. А Васька ей морду держал обеими руками. Он стоял непонятно на чем по пояс в болоте и шапка съехала ему на глаза. Я заметил, как у него руки дрожали мелко-мелко, от тяжести, наверное... А Зорька хрипела, голова у нее запрокинулась.

Я так и обмер и закричал: "Васька, да чего же ты делаешь, Васька!" Но он не обернулся даже, только прошептал: "Не кричи ты, а то опять биться начнет. Я на кочке — гнется, она, видишь? Беги, смена чтобы скорее, слышишь!" А я не мог уйти — мне так страшно за Ваську стало. Я забегал по берегу, прямо не знал как его вытащить. "Не пойду я", — сказал Васька, — "ты погляди, как она смотрит". Я не видел, как она на него смотрела, только вдруг понял: не уйдет Васька. Я стал как сумасшедший. Я побежал назад к дороге, спотыкался, слезы размазывал, тыкался головой в колючие кусты и все кричал кому-то: "Дяденьки, скорее,.. помогите скорее!"

Вдруг я услышал, как лошади скачут. На передней телеге Курхом гнал, пристяжная у него по кустам прыгала. Курхом стоял, растопыря ноги, и крутил вожжами над головой. И орал чего-то. Я отскочил в сторону: он меня и не заметил в густой траве. Потом я выбежал на дорогу, замахал руками.



Остановилась вторая телега. Я подбежал к ним, закричал прямо как глупый: "Дяденьки, скорее, миленькие, скорее!"

Гармонист Ванька Терехин меня в телегу кинул, лошади дернули. По ногам мне запрыгали какие-то колья, топоры. Четверо мужиков и председатель сидели в телеге, держась за что попало, и говорили чего-то... Я подумал — как страшно Ваське там на болоте... И лошадь тонет, и он один совсем, и темно... И зачем только я ушел! А они сидели — и ничего; и махру курили. Мне захотелось зареветь как маленькому.

Я дернул Ваньку за плечо и закричал ему в ухо: "Куришь, куришь? Вам только трубочки всем курить!" Ванька поглядел на меня с удивлением, а председатель крикнул: "Ну, ты, парень, не расходишь! Думаешь, хныкать, то и дело делать?" И еще пуще погнался лошадей. Мне стало стыдно. Я вцепился в телегу, зубы мои стучали. Ванька наклонился ко мне — чего, мол, ты?

Тут лошади на всем скаку остановились и мы друг на друга попадали. Курхом закричал: "Сюда, за мной!" Все попрыгали с телег, под тяжелыми сапогами затрещали кусты. Я бежал за Ванькой и мне страшно было подумать о том, что я увижу... "Да где же она?" — закричал председатель. Курхом крикнул откуда-то спереди: "Я и сам не знаю, где! Васька! Васька! Черт проклятый, останусь, говорил!!"

Я оттолкнул Ваньку и выскочил вперед. Здесь они должны быть — вот и камыши, и кочки, и кусты, подломаны... И вдруг я увидел Васькину шапку. И все тоже увидели. И замолчали. Только зубы Зорькины из воды торчали. И ноздри раздувались, жадно хватали воздух. Зорька хрипела длинно, со свистом. А Васька вцепился ей в морду и будто не слышал ничего. Черная

вода дошла ему до плеч. Кругом на луне качалась осока и светился туман. Мне показалось, что я вижу страшный сон, что сделать ничего не могу, и проснуться не могу. А Васька все уходит и уходит под воду...

Тут председатель крикнул над ухом: "А ну, Вась, подержись, браток!" Он скинул куртку и сказал кому-то: "Ведь вот, парень!" Все закричали кто чего, даже ругаться стали. И Курхом надрывался, дергая дядю Василия. Председатель замахал руками: "Потом, потом разберемся. Вали, ребята, кусты руби! Ванька, ко мне сюда, рыжий!" Затрещали кусты, застучали топоры. Председатель ощупывал сапогом подмытые кочки, тыкал палкой в вязкое дно. Ванька по колено в болоте кричал: "Слеги давай, слеги!" Им кидали колья, которые в телеге были, они их в перекрест клали по кочкам. И хворост сверху бросали. Я таскал бегом ветки. И Ваське все кричал: "Васька, держись! Васька, держись!" А сам думал: "Вдруг не поспеем, вдруг не поспеем!.."

Веток накидали целую гору. Ванька на них с налету прыгнул, попробовал: "И вон, Макарыч, айда, пройдем!" Все сбежались на берег. Председатель подтянул сапоги и сказал тихо Ваньке: "Я подхвачу, а ты — мальчонка, понял?" Ванька кивнул. Председатель осторожно зашагал по настилу, за ним шаг в шаг пробирался Ванька. Ветки гнулись, по настилу хлюпала грязь. Настил опускался все ниже. Они уже завязли по колено. Мы стояли — не дышали. Слышно было как Зорька хрипела... Васька сказал чуть слышно: "Я ничего, Иван Макарыч, я на кочке..." "Ладно, молчи уж..." — сказал председатель. Он стоял совсем близко от Васькиной шапки. "Ну, Вань!" — он нагнулся осторожно, и вдруг задрал высоко Зорькину морду. А Ванька пролез живо ему под руку и ухватил Ваську подмышки. Колья затрещали, настил качнулся и... председатель и Ванька провалились по пояс. "Живем!!" — закричал Ванька. Его подхватили со всех сторон под руки и он выскочил по кочкам на берег посуше. А Васька у него на руках болтался как неживой. В тине, весь грязный — с них вода текла. Я дернул Ваську за руку, а он не говорил ничего...

На меня со всех сторон полетели тулупы, пиджаки. Курхом тоже скинул рубаху и убежал в трусах. Мы положили Ваську под куст на тулупы. Я скидывал с него тяжелые от грязи штаны и рубаху, натягивал сухую и все ему говорил что-то. Что все хорошо, что Зорьку вытащат. А Васька ничего не отвечал, только зубы стиснул и дрожал весь. А на берегу шумели, спорили чего-то. Я навалил на Ваську всю одежду и закричал ему на ухо: "Сейчас приду."

Председатель, по пояс в воде, держал одной рукой Зорьку и кричал на Ваньку. Тот, мокрый до головы, возился под водой с веревками, подвязывал их под брюхо, под хвост. Я схватился со всеми за веревку, только не понимал, как это все будет. "Чтобы сразу, ребята! Раз-два-взяли!!" Мы сразу потащили веревки. Председатель бросил Зорькину морду и прыгнул к берегу. Зорька ушла под воду. Ее перевернуло, ноги задергались в воздухе. Кругом бурлила вода, прыгали пузыри. Ох, захлебнется!.. "Живее!" — заревел председатель, — "Раз-два-дружно!! Раз-два-взяли!" На меня сверху грязной спиной нава-

лился Ванька, спихнул меня с кочки, так что я повис на веревке. И ничего я не видел, меня сдавили со всех сторон. "Раз-два-дружно! Раз-два-взяли!" Выволокли на берег!

Зорька уткнулась мордой в грязь. Из разодранной кожи текла кровь. В горле у нее что-то забулькало. Она передохнула, и бока у нее заходили часто-часто. Она подняла голову и задергала ногами — встать хотела. "Теперь отойдет!" — сказал весело председатель. От него самого шел пар, рубаха на плече разодралась. Он вытер рукавом грязное лицо и сказал: "Ну, герой-то наш как?"

Все подошли к Ваське. Он лежал под кустом с закрытыми глазами. Тулупы на нем дрожали. Председатель нагнулся к нему: "Ну как, Вась, дышишь?" Лицо у Васьки было серое. Он разжал зубы и сказал: "Дышу". И закрыл опять глаза. Иван Макарыч присел на корточки, тряхнул его за плечи: "Да ты веселей дыши, браток! Эх, ты! Держи марку-то, знаешь!" И дяде Василию сказал: "Какой парень-то, Митрич, а? В отца пошел! Не пришлось Алешке на сынка взглянуть. А помнишь на Балахне то?" — "Помню", — сказал дядя Василий.

Дядя Василий был здоровый, веселый, и бородача у него большая такая, черная. Он все с нами в городки дулся. Он хлопнул Курхома по плечу и сказал: "То-то и оно! А ты говоришь!.." "Чего я говорю-то?" — пробурчал Курхом. Ванька Терехин фыркнул и сразу замолчал. "В больницу его надо", — озабоченно сказал Иван Макарыч и поднялся, — "пойдем, братва, решим насчет лошади скорей, одну ее не оставишь. Вань, снеси-ка пока мальчонку на телегу". "Я сам снесу!" — Курхом вдруг бросился к Ваське. "Пусти", — закричал я и сшиб Курхома с ног. Я схватил Ваську подмышки, а Курхом вскочил и за ноги его ухватил. И мы утащили Ваську на телегу. Уложили его в мягкое сено и закрыли опять тулупами.

Была совсем ночь и звезды на небе. На кустах блестела холодная роса. Чуть доносились голоса мужиков на болоте. Я залез на телегу и стал думать. О Ваське и о Васькином отце. И почему мне тетка никогда не говорила, чего с ним случилось на этой Балахне. И вдруг вспомнил, что когда я был совсем маленький, я сидел у кого-то на коленях, у кого борода была — и это, наверное, дядя Василий был — и что про какого-то Алешку говорили и про пожар на стройке. И что этот Алешка тоже чего-то такое сделал, как Васька теперь. Вот что! Мальчишку какого-то хромого из горящего барака вытащил.

Вдруг Курхом сказал: "Сережка, а чего же он молчал-то на болоте, когда я звал? А если бы не нашли?" Я дернул Курхома за рукав: "Тише ты, не видишь — спит". Мы оба оглянулись на Ваську. Он лежал тихо. Может, от луны, у него лицо было такое бледное, белое совсем... И нос худой, длинный. Мне тут стало страшно, а вдруг умрет Васька? Зачем он лежит так? Я хотел ему сказать, но Васька почувствовал, что мы на него смотрим. Губы у него дрогнули и он открыл глаза. И они, глаза, были у него живые, веселые даже. Он поглядел на нас и засмеялся: "Вы чего это на меня как на покойника

успелись?!”

Я так обрадовался, что Васька ожил!..

Ледоход (рассказ)

— Мам, ну пусти!! Я ее везде за руку,.. ну пусти, мам, я угляжу! — ныл Ленька, натыкаясь на стулья и хватая за юбку мать, которая собиралась в Тучково за хлебом. На пороге ревела четырехлетняя Нюрка. Она размазывала ладонями слезы по толстым румяным щекам и изо всех сил помогала брату: ”Пусти-и, мама — пусти-и!”

Мать сердито бросила сумку на стол:

— И чего ты только ко мне пристал, а? Да ведь тебя только, паршивца такого, пусти — ты сразу на реку...

Ленька с отчаянием уцепился матери за рукав:

— Да ведь она тронется сейчас, мам! Ведь уж в Игнатьевском лед пошел, и у нас сейчас, и все ребята на реке... А ты час туда, да час назад, а я все пропушу-у!

Мать остановилась в дверях:

— Ох ты, горе ты мое, — сказала она, — да ведь пока я Нюрку обую, да пока одену, лавку на обед закроют — ну что, ты не понимаешь?

— Да я ее сам одену, мама! — радостно засуетился Ленька, хватая с печки Нюркины рукавицы, шубку и красную теплую шапку, — Нюрка, Нюрка! Ревет, сама не знай чего. Утри глаза-то, гулять пойдем!

— Чтобы к реке у меня близко не подходить, слышите? И чтобы воды в ботах не приносить, обоим задам!

— Нет, нет, мам — я по сухому, — забормотал Ленька, напяливая на Нюрку шубу и ворочая ее как куклу.

— То-то, что по сухому, я тебя знаю! — строго сказала мать.

Она поискала глазами Ленькины калоши. Но калоши, мокрые и раскисшие от грязи, были предусмотрительно запрятаны в темный уголок. Мать хлопнула дверью и ушла.

Ленька наverted на Нюрку шарф, сдернул с гвоздя свою старую ватную куртку, толкнул ногой дверь и вышел с Нюркой на крыльцо. Теплый весенний ветер пахнул им в лица. Нюрка вытянула вперед руки и зажмурилась от яркого солнца. Со всех крыш капало; от сарая к улице прямо по двору текла большущая мутная река. Молодая рыжая корова Краснушка поглядела на ребят обалделыми глазами и шумно втянула широкими ноздрями пахучий весенний воздух.

— Дамка, Дамка! — закричала Нюрка и замахала руками. Беспризорная трехногая собачонка Дамка, радостно визжа, кинулась к Нюрке. Ленька нетерпеливо обернулся: на задах, проваливаясь в талом снегу, бежал Ленькин приятель Колька. Он перемахнул через широкий ручей и умчался задами к реке...

”А я тут возись с ней как каторжный”, — хмуро подумал Ленька. Его радость сразу спала. Он поглядел на Нюрку, на прыгавшую собачонку и

тихонько, крадучись, стал спускаться с крыльца. "Удери, — мелькнула у него быстрая мысль, — "ну чего с ней тут делается".

— А Дамку тоже возьмем? — вдруг спросила Нюрка. Она обернулась и поглядела на Леньку своими серыми доверчивыми глазами. Ленька остановился, тяжело вздохнул и решительно взял Нюрку за руку:

— И без Дамок хорошо, Тямтя-лямя! — проворчал он.

На деревне было пусто. Ленька, шлепая по лужам, сердито тащил за руку накутанную толстую Нюрку и нетерпеливо глядел на край улицы; оттуда, с высокого обрыва, открывалась река. Не доходя до последнего дома Ленька не стерпел, бросил Нюрку и заглянул вниз. Река стояла... Вспухшая и неподвижная, в полыньях и трещинах у грязных берегов, со знакомыми следами лыж и дорог на потемневшем льду. Ленька облегченно вздохнул. Далеко внизу у реки, маленькие, как муравьи, возились и прыгали деревенские ребята. Они увидели Леньку и закричали:

— Ско-ре-е! Игнатъевский лед по-шел!

— Зна-ю! — крикнул им Ленька.

Ему было жарко. Он сдернул с головы мохнатую зимнюю шапку. Ветер затрепал его потные волосы. Далеко кругом виднелись поля, и на полях уже таял снег, а в глубоких оврагах лежали голубые грязные сугробы. И с той и с другой стороны, стекая в реку, падали тысячи ручьев. И в каждом ручье ослепительно сверкало весеннее солнце. Нюрка стояла рядом и, растопыря руки, с красными, как клюква, щеками, испуганно смотрела вниз.

— Ну, Тямтя-Лямтя! — крикнул Ленька, схватил Нюрку за воротник и мигом скатил ее вниз по мягкому талому снегу. К ним сбежались ребята.

— Ленька, эх ты! Сидит тоже дома!

— А тут дядя Егор из Медведкова прямо по льду так и пошел, так и пошел! С того берега на этот, а ему все кричат!..

— Подумаешь, кричат! — перебил ребят Колька, — подумаешь, какое дело!

Колька любил, чтобы удивлялись только на него.

— Леньк, побежали в Макаровку... Только вот отчего ты с Нюркой? Нашел тоже время.

— А что, я сам что ли? — рассердился Ленька, — мать в лавку пошла, не понимаешь, что ли?

— А она здесь посидит, ага? — сладеньким голосом сказал Колька и нагнулся к Нюрке, — Нюр, Нюрочка, ты посидишь? Вон на бревнышках, вон на солнышке. Ой, там щепочек сколько. Домики из щепочек будешь делать — тук, тук — вон там хорошие домики.

Нюрка испуганно схватилась Леньке за штаны.

— Да ладно уж, — сказал мрачно Ленька, — идите себе. Она уж как привяжется, так хуже смолы.

Ленька проводил глазами ребят. Ему было обидно — потащило вот их на Макаровку, когда ему нельзя. И он повернулся к реке и забыл обо всем на

свете. Желтая мутная быстрая вода несла лед. Лед плыл как перепутанные кубики, чистый и грязный, со следами лыж, со свежим навозом на перевернутых в разные стороны дорогах. Он был бурый, желтый, с вмерзшей осокой и водорослями, мутно-зеленый и ясно прозрачный, хрупкий, как стекло...

С каждой минутой он шел гуще и гуще. Льдины налезали друг на друга и давили слабых, огромные зеленые глыбы бесшумно вставали на дыбы и падали навзничь, разваливаясь на тысячу кусков... "И какая же это силища, у этой нашей речки", — думал Ленька, — "ой-ой-ой. А Колька, дурной, хотел бежать на ту сторону, да что бы с ним тут было."

Вдруг зеленая, большая, толстая в три слоя льдина зацепилась у берега за камень, задержалась и, подпертая напиравшим сзади льдом, выползла на берег у Ленькиных ног. Ленька вскочил на льдину и заплясал:

— Нюрка, Нюрка — гляди!

Нюрка, пыхтя, стала взбираться на льдину. Ленька погрозил ей кулаком:

— Не-не-не. Куда лезешь? Назад, тебе говорю, слышишь? А то задам! — он подбежал к краю и остановился. Маленькие кусочки льда мягко стучались об зеленый край застрявшей льдины, перевортывались и уплывали дальше. Прямо под ногами у Леньки неудержимым мутным потоком мчалась желтая вода. Ленька долго глядел вниз. И вдруг ему показалось, что река остановилась, а он, Ленька, плавно и бесшумно понесся вперед на своей льдине. Ленька быстро взглянул на берег — и остановился. Он опять взглянул на реку — и опять так же плавно, незаметно и быстро понесся вперед по ледяным просторам.

— Нюрка! — закричал в восторге Ленька, — плывем!

Он не заметил, что Нюрка давно вскарабкалась на льдину и смотрит на солнце через ясные прозрачные кусочки льда.

— Гляди на реку! — кричал Нюрке Ленька.

Нюрка бросила стеклышко и изо всех сил вытаращила на плывущий лед свои большущие глаза.

— Да ты не гляди на берег-то, слышишь? — пригibal Ленька вниз Нюркину голову, — ты ниже гляди: на воду, на воду — слышишь? Ложись, говорят тебе. Во, как я.

Ленька быстро растянулся на живот и уставился на воду. Нюрка послушно растянулась рядом с ним.

— Пльвем, пльвем? — нетерпеливо спрашивал Ленька.

— Пльвем, ага, пльвем! — вдруг запищала Нюрка и заболтала от радости ногами.

Но тут случилось что-то невероятное... Страшный удар потряс всю льдину. Ленька вскочил. Целые горы бурого и рыжего льда, рассыпаясь, налезли сзади — и льдина с Нюркой, Ленькой и с Нюркиными стеклышками со скрежетом продралась по каменистому дну и, подхваченная быстрым течением, понеслась вдоль берега. У Леньки заглодело сердце. Если бы он был один, он успел бы, конечно, соскочить, ну, может быть, вымок бы немного, но куда тут

прыгнешь, если Нюрка... Что делать?

Знакомые берега быстро мелькали перед ленькиными глазами. Если кричать? Никто не услышит — пусто на берегу, деревня высоко. Только одно вот, если дядя Митрий на перевозе, у него багор есть, он зацепит... Ленька взглянул вниз. Нюрка сидела на льдине и со страхом глядела Леньке в глаза. Уголки губ у нее испуганно вздрагивали.

— Вот и поехали, Нюр, Нюрочка! Здорово? — крикнул ей в ухо Ленька и поднял ее на ноги за воротник, — как на машине, гляди. У-у!

Нюрка слабо улыбнулась.

— А ребята там, дураки, по берегу бегают, а мы тут катаемся, верно? А мы как на ледоколе...

Ленька остановился. Льдину быстро тащило к перевозу. Уж видна была вдаль низенькая, обросшая мхом избушка перевозчика вровень с самой водой. И старая корявая ива, с которой ребята прыгали летом в воду. И паром на грязном берегу...

Огромный ржавый замок висел на старенькой низкой двери. Ленька перевел дыхание и опять заболтал:

— А мы тут с тобой на ледоколе едем, на "Красине". Прямо на Северный Полюс. А кругом, гляди, медведи, киты всякие плавают...

"Попадем на быр, беда", — думал Ленька, — "там и летом крутит, а сейчас там что?" Река, суживаясь, стремительно неслась к повороту. Посредине, где течение было сильнее, лед сталкивался, крутился и нагромождался друг на друга во много рядов. Мягкие, гулкие удары слышались за поворотом и отдавались эхом в густом еловом лесу на том берегу. "Ломает. Пропадем." — подумал Ленька. Ему стало холодно. Протяжный заводской гудок медленно поплыл в воздухе. Сейчас отец придет с завода. Ленька оглянулся назад: холодный ледяной ветер дул ему в спину. "А на берегу-то тепло", — подумал с тоской Ленька.

— Ну, дальше.

— Ну, а кругом медведи, киты плавают. А у нас всякие там ружья и китобойные пушки... Увидим кита — пых и амба. Увидим белого зайца — пых и амба. Увидим белого медведя — вон там — пых и амба.

Вода бешено неслась к повороту прямо на выступавший каменистый берег.

— Увидим белого тигра... — подсказала Нюрка с заблестевшими глазами и затеребила Ленькину руку.

— Увидим белого тигра, — прошептал, бледнея, Ленька, — пых и амба.

— Пых и амба, — удовлетворенно повторила Нюрка. И вдруг замерла, прижавшись к Леньке.

Крутой, заваленный льдом берег со страшной быстротой мчался к ним навстречу.

— Ничего, Нюра, ничего, — тяжело дыша, забормотал Ленька, — ты только держись за меня, держись крепче...

Берег наскочил и ударился о льдину. Льдина врезалась с разлета в береговую,

подтаявший и слабый лед и, сильно накренившись, застыла на месте. Ребят свалило с ног. Но Ленька, крепко держа Нюрку одной рукой за воротник, успел схватиться за край льдины. Со страшным трудом он подтянулся одной рукой, закинул ногу и сел верхом на гладкий, острый и холодный край. Он вытащил онемевшую от испуга Нюрку за шиворот, схватил ее на руки и, прыгая по скользким оттаявшим глыбам, выскочил на грязный, заросший прошлогодней травой берег.

Несколько минут они оба с ужасом глядели на бешеную ледяную реку. С реки несло холодом. Ленька схватил Нюрку за руку и, ни слова не говоря, потащил ее домой по самой короткой луговой дороге. Он оглядывался и бежал с такой силой, как будто за ним гнались разбойники. Яркое солнце слепило Нюрке глаза. Она ухватилась за Леньку и, пыхтя и сопя, шлепала по блестящим на солнце лужам, разлитым по льду и по талому грязному снегу. Старая тетка Анна повстречалась им на дороге и погрозила Леньке рукой:

— У-у, озорник — волочит девку будто мешок. Погоди, я вот мамке скажу. Но Ленька ее не заметил. Они вбежали к себе во двор грязные, мокрые и потные. У ворот стояла Краснушка и смотрела на ребят все такими же обалделыми круглыми весенними глазами. На крыльцо вышла мать. Ленька схватил Нюрку и поставил ее перед матерью:

— Вот, — сказал он, тяжело дыша, — вот...

И остановился.

— Чего вот-то, — ворчливо сказала мать, оглядывая Нюрку, — и ноги все мокрые.

Ленька боком вошел в дверь и, не раздеваясь, остановился у печки. Отец с засученными рукавами стоял у окна и вытирал лицо и рыжие усы расшитым суровым полотенцем.

— Ну, доченька, и где же ты была? — спросил он Нюрку.

Нюрка прямо в грязных ботинках кинулась к отцу навстречу и, с вдруг засиявшими глазами, радостно закричала:

— А мы на льдинке катались, мама, папа. На речке, с Ленькой — ой, мама...

Мать тихо ахнула и поставила горшок со щами на стул. Отец опустил полотенце:

— Что? — сказал он Леньке.

Ленька шагнул вперед.

— Пап, мам, — заговорил он, задыхаясь и с силой тиская в руках шапку, — пап, мам...

И вдруг бросил шапку, уронил голову на стол и зарыдал с такой отчаянной силой, что Нюрка застыла на месте. Мать взглянула на отца. Он отвернулся и медленно стал растирать свою широкую, кирпично-красную от солнца, шею.

Мать подошла к Леньке и дрожащей рукой погладила его по голове.

Сонный город (рассказ)

Глава I

— Тань, а Тань! Танька!!

Зеленое яблоко вдруг влетело в окно, запрыгало, застучало по желтому, крашенному полу и закатилось под Танину кровать... Таня вскочила и испуганно оглянулась. Мать и младший брат Сашка крепко спали. Таня подбежала к окну. Солнце только что встало. Весь сад — яблони, вишни, густая трава — блестели от росы. Под окном Танькин приятель, Сережка, задрал голову, прыгал босыми ногами по холодной земле.

— А у нас чего случилось!! — закричал он.

Таня с яростью загрозила ему кулаком.

— А у нас чего случилось! — зашипел Сережка громким шепотом, — а у нас лошади конторские пропали!!

— И Рыжко? — ахнула Таня.

— И Рыжко и Якорь! Фью!! — Сережка свистнул, а его облупленная от солнца рожа так и сияла, — Ох и дела!! Дед вчера поехал в лес за травой, да и проспал лошадей! Везет на себе телегу из леса, а сам пла-а-чет, вот ей богу не вру! А в милиции лошадь на розыски хотят дать, а все в уезд разъехались, а заведующий тебя послать хочет!!

— Врешь!! — вспыхнула Таня. Сразу забыла и про Рыжко, и про Якоря. Вспомнила первомайский парад на базарной площади, музыку и лошадь начальника милиции, как она танцевала боком перед взводом.

— Вот истинный крест, не вру! — быстро закрестился Сережка, — вот лопни мои глазыньки, не верит еще!! Айда скорей, говорят!

Таня махнула рукой и бросилась под кровать за туфлями. Натянула сверх платья штаны из "чертовой кожи" — мамин подарок, старую Сашкину куртку. Сдернула со стены нагайку, то есть не нагайку, а плетку собачью, замечательную плетку, скрипучую, со свистом. А гребенка куда-то завалилась. Таня с отчаянием взглянула в зеркало. Волосы как всегда торчали дыбом. Но медлить было невозможно: вдруг в милиции раздумают? Таня схватила платяную щетку, свирепо погладила свои вихры и, держась за ржавую водосточную трубу, скатилась к Сережке вниз.

Маленький городок еще спал. Таня с Сережкой понеслись по тихой Александровской улице, а потом, сокращая дорогу, по пустырю, заросшему крапивой и бурьяном. Мокрая от росы колючая трава хлестала ноги. Они обежали глубокую яму — воронку от снаряда, который запалили белые, когда прошлой осенью хотели брать город. Пролезли в лазейку и выскочили на пыльную базарную площадь. На большом центросоюзном дворе, заваленном санями, кадушками, дугами, было необычно тихо. Только уборщица — сережкина мать, низенькая, толстая Матрена Степановна — сбросила с плеча коромысло с пустыми ведрами и закричала:

— Привел-таки! Ироды прямо, не люди, прости господи! Ребенка куда посылать хотят! Неужели мать пустила?

— А я и не спрашивала! — задорно потрянула волосами Таня, — мне, небось, двенадцать лет! Мама меня, небось, куда хочешь пускает!

— Куда хочешь! Непутевая твоя мать, вот чего! Сидит целый день со счетами, щелк, щелк! Разве это бабье дело? И дите свое не жалеет! Да в лесу всякого народа, люди ровно звери! Намеднясь, говорят...

Но Таня уже неслась по узенькой лесенке в квартиру заведующего Максима Саввича. Там было тихо. Таня отворила дверь. Максим Саввич, в сапогах и в куртке, стоя у стола, что-то быстро писал. Жена его спала.

— Пришла? — не оборачиваясь, сказал Максим Саввич, — ела? Не ела — знаю! Садись, живо!

— Да не хочу я, Максим Саввич! Идемте!

Но Максим Саввич, смешно ступая на цыпочках тяжелыми сапогами, засадил Таню за стол. Таня с несчастным видом, обжигаясь, стала пить горячее молоко. А Максим Саввич совал в походную сумку какие-то пирожки, хлеб, резаное ломтиками сало. Потом надел на Таню сумку, оглядел ее со всех сторон и прищелкнул языком. Таня засмеялась.

Толстая годовалая дочка Максима Саввича проснулась, вылезла из одеяла и, сердито сопя, стала перелезть через стенку кровати. Максим Саввич испуганно взглянул на спящую жену, погрозил дочке кулаком и поспешно захлопнул за собой дверь. Они быстро сбежали вниз по скрипучей лесенке и вышли на улицу.

Сережка, подпрыгивая от волнения, побежал за ними.

— Куда!! — страшным голосом закричала ему мать, распахнув окно. Сережка печально застыл посреди улицы. Таня помахала ему рукой.

Глава II

Городок просыпался. Пели петухи. Свиныи и гуси ходили по улице, пощипывая пыльный поповник. У водопроводных колонок толкались бабы и смеялись, глядя на Танины штаны.

— В лес поедешь по Ховринской дороге, — сказал Максим Саввич, — на большой поляне старик распрягался где дуб стоит, знаешь?

Таня кивнула головой.

— Кругом ищи. Далеко не езжай, заблудиться не долго!

— Ну уж и заблудиться! — засмеялась Таня и прочла на полукруговой вывеске над воротами: "Рабоче-Крестьянская Милиция".

Они вошли во двор. Громадный рыжий дядя в желтых сапогах разговаривал во дворе с двумя милиционерами.

— Это вы своих лошадок проморгали? — спросил он густым голосом, — молодцы! Ладно уж, выручим на первый раз. Кто у вас едет?

— Вот, — сказал, улыбаясь, Максим Саввич и выдвинул вперед Таню.

Рыжий начальник сощурился, поглядел на Таню сверху вниз, а потом снизу вверх, и вдруг захохотал:

— А-а! Узнаю, узнаю! И нагайка при себе! Командиру деревянной кавалерии почтение!! Будем, значит, знакомы! — И он своими огромными ручищами потряс Тане руку. Таня багрово покраснела. Она знала, что когда весной гоняла с мальчишками центросоюзных лошадей на Каму на водопой, их дразнили в городе деревянной кавалерией. Но ей всегда было не вполне ясно — очень это обидно или не очень.

Из низкой каменной конюшни вышел конюх с вилами, в солдатских ватных штанах. Его длинные, как грязное мочало, усы уныло свешивались вниз. Он недружелюбно уставился на Таню.

— А где же кони? — нахмурясь, спросил его начальник.

И правда, в конюшне было почти пусто. С правой стороны стояла косматая мохноногая лошадь и безучастно жевала сено, шевеля длинными ушами. А с левой стороны стояла она, лошадь начальника милиции. Та самая, которая танцевала на параде! Таня не могла ошибиться. Темно-гнедая, с белыми подпалинами на лбу и задней ноге, черная полоска по спине! У Тани заколотилось сердце.

— Все в разгоне, сами знаете. Часа через два, может, будут, — ворчливо сказал конюх. Он подошел к мохноногой кляче и хлопнул ее рукавицей по горбатой спине.

— А это им — чи не конь?.

— Эта... — упавшим голосом сказала Таня.

— Чего же я с вами делать буду, — хмуро сказал начальник, — ждать вам нельзя, сам знаю. И обещал. А лошадей вот нет.

— А ту?.. — шепотом сказала Таня и сама удивилась своей храбрости. Да разве ее дадут?

— Чего захотела! — с негодованием сказал дяденька с усами, — бабу да на такого коня! Да разве он стерпит! Наденет штаны и пошла... товарищ-баба! А визгу, писку — тьфу! Видеть этих баб не могу.

— Вот так контра, — захохотал начальник, — вы только поглядите! Уважать должен товарищ баб! Вот чего! Возьму и дам Рагнедку! Под вашу ответственность!

— Ладно, ладно! — подпрыгнула Таня.

Максим Саввич кивнул головой.

— Седла нет, в починке! Да ведь знаю я, тебе все едино. Садись!!

Начальник быстро взнуздal лошадь и, туго держа ее под уздцы, подвел к Тане. Таня, чуть растерявшись, смерила глазами высокую лошадь. По настоящему ни за что не сесть! Усатый конюх глядел на Таню с ехидством. Тогда Таня скинула туфлю, зажала ее в зубы, схватилась рукой за гриву и, упершись босой ногой лошади в колено, прыгнула на мягкую спину. Лошадь, горячась, закружила по двору.

— О-ох! — захохотал начальник, хлопнув себя по кожаным штанам, — люблю!! Взял бы тебя в партизаны!

Милиционеры смеялись.

— Так не забудь! — крикнул Максим Саввич, выбегая на улицу, — чтобы до темноты домой!

— Ладно! — крикнула Таня. Сердце ее плясало вместе с лошадьёю. Она дала поводья и сразу солнце, домики, разбитые фонари, застывшие на месте прохожие замелькали у Тани перед глазами. Ветер засвистел в ушах, сумка колотилась по спине. Тра-та-та! Тра-та-та! Тра-та-та! — веселой дробью стучали копыта.

— Эй, с дороги!!

Глава III

Уже давно сзади остались домишки городской слободы, огороды, пустыри... Широкое поле, махая метелками проса, несло Тане навстречу. И легкие облака в синем небе быстро неслись вместе с Таней, рвались и таяли...

Таня обернулась. Далеко внизу, как на ладошке, утопая в садах, лежал город. По широкой серо-лиловой Каме, разворачиваясь, подходил к пристани пассажирский пароход. Низкий тройной гудок проплыл в воздухе и замер где-то на той стороне реки, в далеких поймах. "Лермонтов", — подумала Таня и засмеялась неизвестно чему. Она осторожно придержала скачущую лошадь. Рагнедка, фыркая, мягко перешел на ходкую поступь — широкий, размашистый шаг. "Вот как меня слушается", — довольно подумала Таня, — "а этот, таракан противный, заладил — баба да баба!"

Таня обхватила руками чуть потную, гладкую шею лошади и замечталась, как она найдет лошадей. Это только дед-растяпа их не нашел... Как привяжет Рыжко с одной стороны, Якоря с другой — и ведет в город. Пусть все глядят!

Но вот и лес, по утреннему свежий, веселый, будто вымытый росой. Вот и поляна с большим дубом, где дед выпрягал лошадей. "Буду ездить кругами", — решила Таня, — "все шире и шире. Тут они где-нибудь. Разве от такой травы уйдут!" Нагнувшись, Таня проезжала под росистыми ветвями. Брызги, сверкая на солнце, падали на голову, за шиворот. Рагнедка фыркала, махая головой.

— Рыжко, Рыжко! — кричала Таня, вглядываясь в чащу леса. И думала: "Разве он не отзовется? Он меня лучше всех знает, сам дед говорил! На Каму всегда его поить сама водила, ногу ему лечила..." У дороги в траве Таня нашла дедкин кисет с махрой. Грязный, засаленный, с которым дед никогда не расставался. "Японский кисет", — говорил всегда с гордостью дед, — "сам у япошки отнял!" Только ему никто не верил. Таня слезла с лошади и сунула этот трофей себе в карман.

— Рыжко, Рыжко, Рыжко! — кричала Таня, и вдруг как живого увидела Рыжко, его приветливую морду с острыми ушками, стриженную гривку! Вспомнилось, как он косил глазом, когда к нему подходила Таня и его губы смешно дергались, будто он хотел засмеяться. И в первый раз стало страшно: а вдруг пропал Рыжко, по-настоящему пропал, и никогда его Таня не увидит... Даже Рагнедка перестал ее веселить.

— Рыжко! Рыжко! — надрываясь, кричала Таня, кружась по лесу: то к солнцу, то от солнца, то к солнцу, то от солнца. В лесу стало жарко. Тучи мух, слепней носились за Рагнедкой. Мелькали кругом стволы берез, то толстые, то тонкие, то сверкающие на солнце, то хмурые в тени. У Тани рябило в глазах, она закружилась: в какой стороне город, где поляна?

А лес становился все гуще и гуще, зеленая чаща липняка обступала со всех сторон. Таня легла лошади на шею и зажмурилась, прячась от веток. "Заблужусь", — подумала она. Но ей как-то стало все равно — от жары, от лесной духоты, от мелькавших перед глазами деревьев. Лошадь с трудом продралась сквозь кусты, остановилась и захрустела сочной травой. Таня открыла глаза и увидела маленькую, заросшую высокой густой травой лужайку.

— Есть хочешь, Рагнедка? — сказала Таня, — ну ладно. Она слезла с лошади и, с трудом переступая онемевшими ногами, разнуздала лошадь. Спутать ноги было нечем. Таня чуть подумала, сняла с платья матерчатый пояс, скрутила его, спутала им Рагнедкины ноги и уселась на прохладную мягкую траву.

Да, все оказалось совсем не просто! Таня вздохнула, развязала сумку и стала есть свежий пухлый хлеб, пирожки. И почему-то захотелось в Москву, откуда Таня уехала полгода назад. Пусть там голод и нет такого мягкого сеянного хлеба. Вспомнилась школа, все ее друзья, как они ржаную кашу для завтраков на дежурстве в большой мясорубке вертели, чтобы вкуснее было. Делили на мелкие кусочки черный, вязкий как глина хлеб... Вспомнилось, как их провожали на вокзале, когда мама командировку получила. Кругом в теплушках ехали рабочие, ехали с немецкого фронта солдаты — серые, голодные. Бегали с котелками, со связками воблы. Ехали с одного фронта на другой... И маме все знакомые говорили — куда вы едете? Прямо на фронт попадете! А мама только улыбалась. И Тане очень весело было уезжать — хотелось посмотреть на "фронт"!

Вот и приехали. А здесь будто и не было революции! Живут себе люди, как сонные мухи. И сами вроде спят. Прямо сонный город какой-то!. В церковь ходят, пироги по воскресеньям едят, со свиньями, с поросятачками своими возятся. Девчонки в бывшей женской гимназии учатся, мальчишки в бывшей мужской. И никакой даже разницы нет, только одно название, что "школа"! А купчиха Никитиха как жила в каменном доме, так и живет. И два ее сына с белыми убежали и все знают. Да еще свинью такую злую держит, во двор не войти! Небось, нарочно.

Таня горестно вздохнула и улеглась на спину, глядя в небо. Лошадь, хру-

стя, жевала траву, осторожно переступая спутанными ногами. Где-то наверху чуть трепыхались листья, а внизу воздух был густой, тяжелый и жаркий. На все голоса кругом гудели слепни, мухи, комары. Назойливо верещали в траве кузнечики. Маленький паучок на тоненькой паутинке то спускался с дерева, то поднимался... Таня долго глядела на него сонными глазами и вдруг уснула.

Она проснулась — будто ее кто толкнул. И сразу вскочила. В лесу было странно тихо, даже птицы не пели. Вечернее бледное небо сквозило сквозь густую листву. В открытой сумке ползали муравьи...

— Рагнедка! — крикнула Таня, в ужасе оглядываясь кругом. Все было тихо. Густая чаща липняка обступила Таню со всех сторон. И вдруг Таня увидела маленькую цветную тряпочку. Сердце ее заколотилось: это был обрывок Таниного пояска... Лошадь начальника милиции пропала!

Глава IV

Таня, вся красная, растрепанная, не веря своему счастью, взнуздывала Рагнедку. Тяжело дыша, уселась верхом и подобрала поводья. Ведь вот удача! Бегала, бегала, наткнулась на ручей. А у ручья стоит себе спокойно Рагнедка и пьет! Теперь осталось только на дорогу выехать — все равно на какую. Куда-нибудь да приведет эта дорога. А завтра Таня уприсит начальника милиции дать еще лошадь, хоть ту самую водовозную клячу! И найдет Рыжко.

Дорога оказалась рядом, чуть проезжая, лесная. Веселый липняк скоро сменился глухим хвойным лесом. Вечерний ветер заходил по лесу, угрюмо зашумели ели, махая мохнатыми лапами. Лошадь, насторожив уши, бежала крупной рысью. Скоро лес поредел, заблестело между деревьями яркое красное закатное небо, и Таня радостно вскрикнула: увидела среди леса порубку, небольшое поле, заросший бурьяном огород. На пригорке рядом с запущенным фруктовым садом стояла старая темная изба. В кривых оконцах играло багровое солнце. Полуразваленный скотный двор, сарай и амбарушки заросли кругом крапивой, дикой малиной. Никого не было видно. Таня подъехала.

Вдруг жалобный протяжный крик раздался из избы. Дверь с грохотом распахнулась, на крыльцо вылетела девочка лет тринадцати и упала ничком на ступени. Белые, трепанные волосы девочки, смешно стриженные впереди "под горшок", кончались сзади тоненькой косицей. Сквозь рваное, длинное платье виднелось худое тело. Девочка, всхлипывая, подняла голову и застыла неподвижно, увидев Таню. На крыльцо вышел громадного роста мужчина, заросший до бровей курчавой черной бородой, похожий на цыгана. Старый широкий шрам пересекал его лоб.

— Зачем бьешь? — вспыхнув, спросила Таня.

Мужик угрюмо взглянул на Таню из под нависших бровей. Ступени затрещали под его грузными шагами. Он откинул девочку ногой и подошел к Тане. Таня вдруг поспешно завернула лошадь — ей почему то сделалось страшно.

— погоди! — глухо спросил мужик, остановив Танину лошадь, — Кто такая? Что надо?

— Лошади... — прошептала Таня — пустите! Лошадей я искала...

— Да ты чего боишься? — вдруг охотно заговорил мужик, — лесник я здешний, помогу! Какие лошади-то?

— Центросоюзные лошади, — с трудом сказала Таня, глядя в широко раскрытые глаза девочки, — две, рыжая, гнедая. Меченые.

— А много ли народу ищет? — быстро спросил лесник.

— Одна я... Пустите же!

Лесник ухмыльнулся:

— Айда-ка домой, девка! Да разве в наших лесах найдешь? Вот, по задачам и направо — дорога в город будет. Нашли кого посылать!

Он захохотал и отпустил лошадь. "Девчонку свою бьет... и смеется... чего за человек?" — думала Таня. Лошадь тихо шла вдоль ломаного забора фруктового сада. Зеленые, опавшие с деревьев яблоки хрустели у нее под ногами.

— погоди... — прошептал кто-то сзади. И та девочка со следами слез на грязном лице осторожно пролезла сквозь щель в заборе. Таня остановила лошадь, с жалостью глядя на ее худое остренькое лицо. Девочка пугливо оглянулась.

— Слушай, чего скажу, — прошептала она, — она у нас в сарае стоит. Лошадь ваша, рыжая, со вчерашнего дня! Только ты не говори ему. Забьет он меня, забьет до смерти. Он меня каждый день, каждый день... — девочка всхлипнула.

— Не имеет права! — крикнула Таня, — теперь никого нельзя бить! Это при царе...

— Тише, слышь! Ему, думаешь, что. Его все боятся. Он на что хочешь пойдет. И спалит и зарежет...

Она опять оглянулась и быстро зашептала:

— Езжай скорей, народ приведи! Первую деревню — Кресты — задами прогони, там у него все свояки, вместе дела делают. А ты дальше езжай, в Рождествено прямо, в село, знаю я, он рождественских боится, там председатель у них...

— Учишь, доченька!.. — мрачно сказал глухой голос. У Тани остановилось сердце... За забором стоял лесник с ружьем. Лиловый шрам на его лбу сделался багровым.

— В мать значит пошла, доченька Настенька,.. тоже поперек моих дел вставать хочешь! — он вдруг с силой вышиб ногой доску в заборе.

Девочка вскрикнула и понеслась по дороге к дому. Таня хлестнула лошадь и поскакала вперед, с ужасом глядя на бесконечные плетни и заборы: дорога огибала кругом громадный фруктовый сад. Сплошной стеной вырос

за поворотом лес. "Наконец-то", — подумала Таня. Вдруг впереди кусты в саду затрещали и через плетень, брякнув ружьем, тяжело перескочил лесник. Лошадь круто остановилась. Таня еле удержалась, вцепившись в гриву.

— Думаешь, уйдешь!! — тяжело дыша, крикнул лесник, бросаясь к лошади. Лошадь, храпя, прижалась к забору. "Убьет!" — пронеслось у Тани в голове. Перекошенное злобой, заросшее лицо лесника мелькнуло совсем близко.

— Пусти!! — не своим, чужим каким-то голосом крикнула Таня. И, зажмурясь, со всего размаха опустила плетку! Лошадь рванула и понесла. Хриплый крик боли раздался позади. Таня обернулась. Лесник вскидывал ружье. Таня дико вскрикнула и рванула лошадь вправо, прямо в лесную чащу. И в тот же момент лесник выстрелил. Пуля, тоненько свистя, пролетела рядом с Таней. Лошадь без дороги неслась по лесу. Таня прижалась лошади к шее, ничего не видя, ничего не слыша... Колочие еловые ветки били ее по рукам, по голым ногам. В голове у нее все перепуталось: лесник с ружьем, его дочка, которую надо спасать. И Рыжко в сарае, и какая-то страшная деревня со "своиками" — все смешалось, как в страшном сне. Лошадь вынесла на дорогу и, стелясь по земле, летела карьером по темному притихшему лесу.

Глава V

Таня очнулась в деревне. Вдруг в сумраке зачернели кругом дворы, сарай, избы... "Кресты!" — подумала Таня с ужасом, — "так вот и въехала в самые Кресты, а она говорила — задами".

Но было уже поздно. Ее увидели. У большой избы стояла толпа мужиков, глядя на Таню. В середине, у оседланных лошадей, стояли двое мужчин — один весь в кожаном, другой в круглых штанах-галифе. Оба с револьверами. Свои!!

— Товарищи! — закричала Таня, осаживая лошадь, — ой, товарищи комиссары!! Скорее за мной! Девочку там убьют, в меня стреляли, да мимо, ой, товарищи!!

Таня совсем задохнулась и остановилась. В толпе заговорили. Тот, который в кожаном, быстро подошел к Тане, оглядел лошадь и нахмурился. Рагнедка, весь в мыле, дрожа, махал головой. Ключья пены падали с его морды.

— Ему стоять нельзя, — сказал комиссар, — крышка лошади будет! Пошли.

Он взял лошадь под уздцы и повел ее тихонько вдоль улицы.

— Ну, говори — да все по порядку!

Таня, сбиваясь и путаясь, рассказала ему весь сегодняшний день.

— Эй, Ткаченко! — крикнул комиссар. Ткаченко, быстро шагая кривыми короткими ногами, подошел к комиссару и положил руку Рагнедке на шею.

— Завернем к леснику, — сказал, наклоняясь к нему, комиссар, — в город успеем. Давно я про него слышал, только руки не доходили. И председателя этого подозрительного захватим. Может, выведем его на чистую водицу. Комиссар подошел к затихшей толпе.

— А ну, друг председатель! Достань нам две телеги, да ребят человек пять.

— Какие у нас ребята, — угрюмо сказал мужик в солдатской гимнастерке, с деревянной ногой, — у нас все ребята в Красной Армии.

— У кого в Красной, а у кого и в белой! — сказал сзади чей-то голос. Председатель быстро обернулся, будто его ударили. Таня заметила, как переглянулся Ткаченко с комиссаром.

— Ну, если отказываешься, я своих найду, — спокойно сказал комиссар, — а ну, Федор, Ковальков, Ванюшка, Давыдов! Валяйте, братцы! Две телеги, да побыстрее!

Пятеро мужиков помоложе, один в лаптях, вышли из толпы и побежали, переговариваясь, по улице. Через несколько минут две телеги, гроыхая, подъехали к толпе. Все уселись, Таню тоже стащили с лошади и привязали Рагнедку к задку телеги.

— Прощайте!! — крикнул Ткаченко.

Бабы, ребята и мужики молча стояли у темных изб.

Уже была ночь, когда лошади, фыркая, подъехали к дому лесника. Маленький желтый серпик луны чуть освещал покрытую травой крышу избы, вросшие в землю сарай в зарослях крапивы. Старые корявые яблони свешивали через забор свои ветки, обсыпанные яблоками, блестящими при луне. И Тане опять показалось, что все это только далекий сон. Но в избе замелькал огонек. Скрипнула дверь и хозяин с фонарем в руках вышел на крыльцо.

Таня испуганно схватилась за кожанку комиссара. Тогда комиссар взял Таню за руку и пошел вместе с ней к дому. За ними, тихо переговариваясь, шли остальные. Хозяин поднял фонарь. Стекло в фонаре было разбито, слабый огонек замигал от ночного ветра. Но Таня успела разглядеть новый тонкий багровый рубец — сверху вниз — на его заросшем лице. "Это я его так!" — мелькнуло у Тани в голове.

— Начальству завсегда рады, — сказал лесник веселым голосом, освещая дорогу.

Насмешливая улыбка скользнула у него по лицу и пропала. И Таня почему-то вдруг поняла — опоздали. Не найдут они теперь здесь Рыжко! Но где девочка?

— Дорогих гостей и угостить чем найдем, садитесь, товарищи хорошие! — болтал лесник, освобождая место на широкой скамье.

— Ты бы лучше огонька вздул повеселее! — сурово сказал Ткаченко. Вся веселость лесника вдруг спала. Он молча снял со стены лампу и зажег спичку. Дверь тихонько отворилась и в щелку проскользнула дочка лесника. На ее рваном платье и в волосах налипло сено.

Таня радостно вскрикнула. Лесник обернулся и долгим взглядом посмотрел на дочь. Настя задрожала и прижалась к стене.

— Ну что ж... — медленно сказал комиссар, — а мы ведь за делом. Лошадей ищем. Чего скажешь нам, или нет?

— Не встречал, — угрюмо сказал лесник, отворачиваясь, — лес большой.

— Может дочка твоя их видала? — спросил комиссар, глядя на Настю. Настя молчала, прижавшись к стене.

— Она уж с издетства такая, — разжал губы лесник, — дурная... Мамка ее из люльки выронила.

— Неправда! — горячо крикнула Таня. Тяжелая рука комиссара легла Тане на плечо. И Таня прикусила язык.

Комиссар встал.

— Ну пошли! А ты, Ткаченко, побеседуй пока с хозяином.

Ткаченко не спеша уселся рядом с лесником и медленно расстегнул кобуру. Новенький револьвер блеснул при тусклом свете лампы. Все вышли во двор. Сзади, стуча деревянной ногой, угрюмо тащился председатель.

— Вон там она говорила! — выговорила Таня, стуча зубами. Двери плетеного сарайчика были открыты настежь. Он был пуст.

— Вот я так и знал! — повеселевшим голосом сказал председатель, — очернили за зря человека! Разве мы его не знаем? Двадцать годов живет, справный мужик. Все по закону делает.

Вдруг кто-то из темноты схватил Таню за руку.

— Настя! — вскрикнула Таня, — где ты была?.

— В сене схоронилась, — зашептала ей на ухо Настя, — увел он лошадей, опоздали вы. Вы во-он там поищите, под хворостом, яма там под картошку. Слыхала я, возили они по ночам что-то, прятали.

— Сюда, сюда!! — закричала Таня комиссару и побежала к большой куче хвороста.

— Это чего ж, тут искать лошадь твою? — криво усмехнулся председатель.

— Нет уж, теперь — не лошадь! — быстро обернулась к нему Таня.

Глухое проклятие сорвалось с губ председателя. И в тот же момент...

— Руки вверх!! — крикнул комиссар. Таня зажала лицо руками. Председатель медленно поднял кверху руки.

— В правом кармане ищи, вон! — сказал тихо комиссар, не опуская револьвера.

Парень в лаптях осторожно вынул из кармана председателя новенький наган.

— Заряжен! У, гидра проклятая! — сказал он со злобой и отдал револьвер комиссару.

— Отведи его к Ткаченко! — сказал комиссар.

— Вот здесь под хворостом! — задыхаясь, твердила Настя. Все торопливо бросились растаскивать хворост. Под хворостом были доски, под досками рваное лоскутное одеяло. Когда стащили одеяло, все ахнули: яма была

полна оружием. При слабом лунном свете заблестели фронтовые винтовки, немецкие, австрийские револьверы — большие и маленькие, старые ржавые двустволки и части пулеметов — все было перемешано в кучу...

Все глядели, как очарованные, на эту грудку оружия.

— Своих, значит, поджидаем, — сказал жестко комиссар, — не дождались, голубчики!.

Яму закрыли. Потом все вошли в клеть, куда отвели арестованных. Только Таню комиссар не пустил.

— Подожди, — сказал он, — кончим допрос, все узнаешь.

Таня тихо вошла в избу. В избе было почти темно. Неверный свет фонаря освещал почерневшие стены. Настя, широко раскрыв глаза, неподвижно стояла у двери. Глухо доносились голоса из клетки. У Тани стучали зубы. Она подошла к Насте и вдруг увидела, что по Настиному лицу, оставляя грязные полосы, катались крупные слезы.

— Настя, — прошептала Таня и схватила ее за плечи, — жалеешь, да? Отца жалко?

— За что мне его жалеть? — медленно сказала Настя, — мамку мне жалко, вот чего! Может, жива бы она была, кабы не он! У меня мамка хорошая была, тихая, все образумить его хотела. Болела все, кашляла, кашляла. А он ее бил... каждый день... до последнего дня... — Настя закрыла лицо руками.

— Настя, Настя! — ужасно жалея ее, сказала Таня, глядя ее растрепанные волосы, забитые сеном.

Вдруг дверь хлопнула и в избу вошел комиссар.

— Ну, казак! — сказал он Тане весело, — пляши!! Нашли твоих лошадей, обоих! За версту они отсюда, на Долгоруком хуторе. Я уже послал!

— А я?! — закричала Таня, горестно взмахнув руками.

— Не накаталась?! — строго сказал комиссар, — в каюк свою лошадь хочешь загнать, да?

Таня смущенно замолчала. А комиссар увидел Настю.

— Чего она? — спросил Таню, нагнулся к Насте и разжал ее худые руки. — Жалеешь?! — спросил комиссар.

Настя взглянула на него, качнула головой и ответила твердо:

— Не! — и Таня вдруг увидела, как высохли слезы на Настином лице.

— И не надо жалеть, — серьезно сказал комиссар, — такого отца жалеть нельзя! С собой мы тебя заберем. Учиться будешь! Поняла? А ты — плакать!! Он вдруг схватил одной рукой Таню, а другой Настю:

— Как звать-то вас — Настя? Таня? Так что ли? Обе вы девки что надо!! — он поднял их обеих в охапку и потащил к широкой лавке у стола. Таня захохотала, дрыгая ногами, и вдруг разглядела, что комиссар-то совсем молодой!

— Эх, ребятки! — воскликнул комиссар, усевшись на скамейке и отдуваясь, — жизнь у нас пойдет — что надо! И все бы хорошо, только... кваску вот нет!

— Нет, есть! — крикнула Настя, прыгнула как коза и застучала босыми ногами по скрипучим половицам в сени. Принесла полный ковш и уставилась сияющими глазами на пьющего комиссара. И Таня вдруг заметила, какие у нее удивительные, ну совсем синие глаза!

— Эх, и хороша будет девка! — сказал комиссар с чувством, тоже взглянув на Настю, — когда... умоется!

Настя посмотрела на свои грязные руки, на рваное платье и застыдилась. "Щас!" — прошептала она и убежала за перегородку.

Мимо окон проскакали лошади.

— Рыжко!! — взвизгнула Таня, вылетела на улицу и чуть не попала под ноги лошадям. Увидела Рыжко — целого, живого — и повисла у него на шее. Рыжко тряс головой, шумно фыркая. Якорь, большой, спокойный, равнодушно шевелил ушами, очевидно не находя больших причин для радости. Мужики смеялись, слезая с лошадей, глядя на сияющую Таню. Ткаченко в темноте возился у телеги.

— На тройке поедем! — сказал он, — как на свадьбу, только без бубенцов. Он привязал Рагнедку, Рыжко и Якоря к задку телеги и запел тоненьким голосом:

— Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленок тоже хочет жить...

— Эй, Тимофеич! — крикнул с крыльца комиссар, — цыпленка поешь? Повеселел, значит?

— А то как же! — ответил Ткаченко, — какую мы, брат, шайку-лавочку раскрыли! Самых главарей сцапали — на всю округу! Лошади твои, Танька, дело маленькое. Они против самой Советской власти шли, заговор составляли... А ты говоришь!

Он хлопнул Таню по плечу. Таня впрыгнула в широкую телегу полную сена. Настя, умытая, причесанная, в длинном платье с цветочками села рядом с Таней. Ткаченко взял вожжи.

— Ну, товарищи, — сказал комиссар остающимся, — спасибо вам! Берегите преступников, врагов Советской власти, крепче! К рассвету охрану пришлем.

Телега покатила по темной дороге.

— Ну и денек! — сказала Таня, блаженно развалилась на душистом сене, — вот это день! А я-то сегодня в лесу думаю — и чего мы из Москвы уехали? Думали, на фронт попадем, а попали в сонный город! Вот тебе и сонный город!

— Сонный город! — усмехнулся Ткаченко, — только сам не спи. Одни рожки да ножки останутся!

— Приедем сейчас в город, с Рыжком, с Якорем, — мечтала вслух Таня, глядя на черное небо, мигающее крупными яркими звездами, — Рагнедку отдадим, таракану этому, конюху. На тебе, пожалуйста! Нашелся тоже. Видеть — говорит — этих баб не могу! Подумаешь тоже, какой — нежненький!! И усы, как у таракана, так и топорщатся, так и топорщатся...

Комиссар вздохнул.

— Ты, я гляжу, не Танюха, — сказал он, — ты болтуха!

— Я-то что, — скромно ответила польщенная Таня, — вот мама, вот это да! Она вам расскажет, чего она только не расскажет! Про что хотите. Вы только к нам приходите! Право, вот сейчас, чай пить. Только уж, пожалуй, мама спит. Нет не спит — ждет меня, верно. Уж поздно, небось, как?! А у нас, знаете, сегодня варенец мама хотела делать. Или это вчера все было... что-то у меня все перепуталось... хороший такой варенец... с пенками...

Она вдруг смолкла. Ткаченко наклонился к Тане.

— Спит, — сказала тихонько Настя.

— Как сурок. Отвоевался казак! — сказал, улыбаясь в темноте, Ткаченко. Комиссар снял с себя куртку и положил ее Тане на плечи...

Как Винни-Пух и все остальные искали Кристофера
Робина

КАК **В**ИННИ-ПУХ
И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
ИСКАЛИ
КРИСТОФЕРА РОБИНА...



Наступила осень и Кристофер Робин
исчез. Говорят он уехал в город утуться. И
это было очень грустно. Один раз все звери
собрались в заколдованном лесу и стали думать что делать.



Наступила осень, и Кристофер Робин исчез. Говорят, он уехал в город учиться. И это было очень грустно. Один раз все звери собрались в зачарованном лесу и стали думать что делать.

— Нужна идея, — сказал Кролик.

— У меня есть идея, — сказал Винни-Пух, — нужно всем нам поехать в город искать Кристофера Робина.

— Но город очень большой и там много людей, — сказал печально Пятачок.

— А Кристофер Робин один, — сказал Иа-Иа, — значит, мы найдем его!!

— Ура! — сказали все звери и побежали собираться в дальний путь.

Рано утром все отправились в далекий путь и кролик распрощался со своими 15 или 16 детьми. Они перебрались через речку один раз. Перебрались другой раз. И вошли в очень дремучий лес.



Они долго шли, очень устали и к вечеру вышли на очень прямое шоссе. Они кричали и просили, чтобы их взяли в город машины, но их никто не слушал. Тогда Винни-Пух выдумал как остановить машину.

Машина остановилась. И как вы думаете, кто там был? — Кротишка!!! Конечно, он их посадил всех в машину, а Иа-Иа в багажник. Они все покатались по ровной дороге, а Винни-Пух запел **ОЧЕНЬ ГРОМКУЮ ДОРОЖНУЮ ШУМЕЛКУ**:

Ах, едем, едем, едем!
Машина нас везет,
В тот ну огромный город,
Где Робин наш живет.

— Тра-та!!! Тра-та! Тра-та!

Это, оказывается, стучал копытами Иа-Иа из своего багажника и продолжал песню дальше своим хрипучим голосом:

В моем унылом месте,
И тесно и темно,
Но ради Кристофера,
Мне все равно.



Нет, мне надо было сказать:

Но ради Кристофера,
Мне ЭТО все равно! Тра-та!!

И они запели все вместе:

Ура, мы едем, едем,
Кротишка нас везет,
И Кристофера Робина,
Наверно, он найдет.

Тра-та!! Тра-та! Тра-та!

Но вдруг Кротишка резко затормозил, лапки у него задрожали и машина начала делать на дороге такие кривули, что все начали громко смеяться. Но Кротишке было не до смеха. Он весь побелел от страха.

— Ой, ой! — шептал он, — мы все погибли, смотрите, кто идет!!

Навстречу мчалось какое-то чудовище. Вообще-то говоря, это был просто мальчишка, чуть поменьше или чуть побольше Кристофера Робина. Но в каком он был страшном виде! На голове огромная мохнатая шапка, снизу висели чайно-розовые штаны, сверху — полосатый балахон, на животе громыхали огромные бусы.



— Ого-го!! — зарычало чудовище, — это что такое за чудо?!! Кто посмел ехать в моей машине, когда я сломал ее?? Вот сейчас я вас всех поломаю!!

— Спасайся кто как может! — отчаянно завопил Кротишка, и все попрыгали из машины. Только Крошка Ру никак не хотел идти, но Кенга быстро схватила его, и все попрятались в кустах. А чудовище с хохотом расколотило машину на мелкие кусочки и удрало обратно в город.

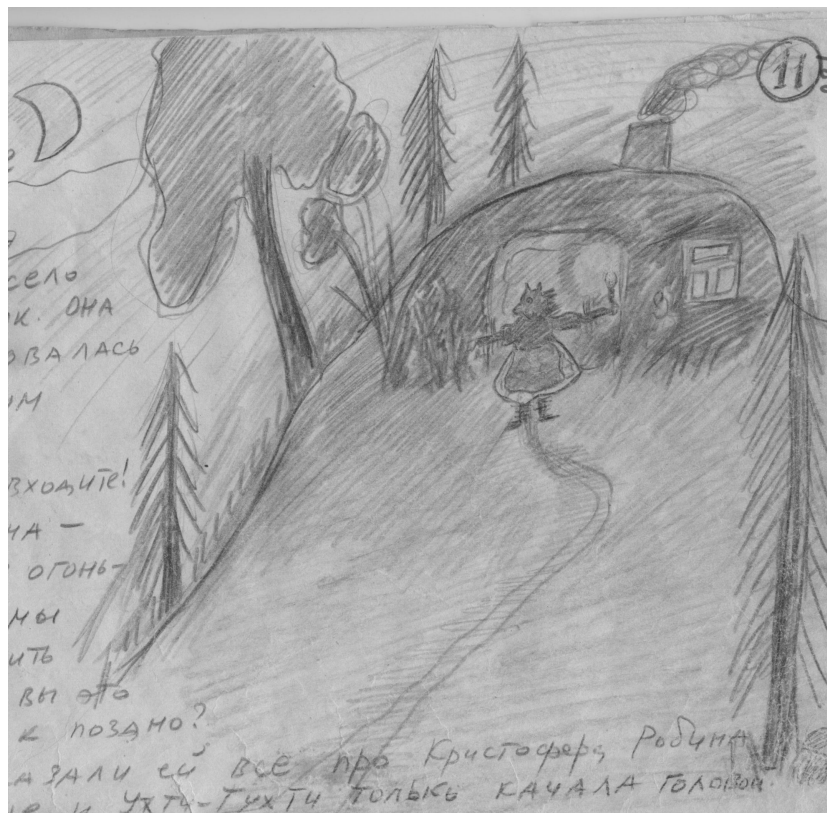
— Моя бедненькая, бедненькая розовая машина! — горько плакал Кротишка, и все звери утешали его. Уже было темно в лесу и страшно. Одна Сова не боялась темноты и сказала:

— Утро вечера мудренее... Вон высоко на горе горит какой-то светильник. Не ожидает ли нас там какой-нибудь доброжелатель? Я слетаю и посмотрю.

Сова полетела, а все звери прижались друг к другу и дрожали от страха и холода. Но Сова прилетела быстро и сказала:

— Я нашла на самой высокой точке очень уютное и чистенькое обиталище, я хотела сказать домик. Но хозяев не было дома. Пойдемте.

Они спрятали в кусты обломки машины и полезли в гору. Они постучали в дверь маленького домика и им открыла хозяйюшка в цветном фартучке...



Это была Ухти-Тухти!! Она только что развесила звериное белье и собиралась пить чай: на очаге весело кипел чайник. Она очень обрадовалась неожиданным гостям.

— Входите-входите! — закричала она, — грейтесь у огонька, сейчас мы все будем пить чай. Но куда вы это собрались так поздно?

Звери рассказали ей все про Кристофера Робина и про чудовище, и Ухти-Тухти только качала головой. Но потом она заулыбалась и сказала, что у нее, кажется, есть не очень плохая мысль.

— Идея? — спросил Винни-Пух.

— Да, да! Идея! — сказала Ухти-Тухти и засмеялась, — ох ты, какая я стала умная. Я никогда не говорила таких умных слов. Но я скажу про эту идею только завтра, а сейчас давайте пить чай.



И все стали весело пить брусничный чай с яблоками, грушами и желудями, а Тигра сосал свой рыбий жир. Ухти-Тухти заметила, что Кенга все засматривается на пестренькое корытце и догадалась:

— Может, ты хочешь выкупать с дороги свою крошку? — спросила она.

— Да, да, очень хочу, — обрадовалась Кенга.

Они налили в пестренькое корытце теплой воды и Крошка Ру так весело купался, что даже Пятачок согласился с ним выкупаться за компанию.

— Я тоже хочу купаться, — вдруг заявил Тигра.

— Что ты, что ты, детка, — испугалась Кенга, — ведь корытце очень маленькое.

— А тигры любят купаться, — сказал Тигра и плюхнулся сверху в корытце. Конечно, он опрокинул и корытце, и Пятачка, и Крошку Ру, и вылил всю воду на пол. И всякая хозяйка бы стала, конечно, ворчать на Тигру, но Ухти-Тухти вытирала пол красной тряпочкой и смеялась громче всех. Потом она постелила сухих листьев на пол и все улеглись спать.



Когда они утром проснулись, было уже светло. Ухти-Тухти стояла на крылечке со своей старой знакомой Пчелкой. Пчелка принесла ей сваренный на меду волшебный клей, который клеит все на свете. Они распростились с веселой хозяйшккой и обещали каждый-каждый праздник приезжать к ней в гости. Потом схватили ведро с волшебным клеем и побежали вниз искать обломки машины.

Клей был и вправду волшебный и вскоре машина стояла у дороги ну совсем как новенькая. Все научились клеить, и даже Крошка Ру приклеил сам две фары. Всем было очень весело, как вдруг Кротишка упал в отчаянии на землю:

— Смотрите, смотрите, — прошептал он.

На горизонте, посередине дороги появилось чудовище. Оно махало руками как ветряная мельница и пело страшную песню:

Я И-И-ДУ И ВСЕХ ЛОМАЮ, ЛОМАЮ!!
ВСЕ КРУГОМ МЕНЯ ДРО-ЖАТ — ХА-ХА!!
Я ДАВЛЮ И ВСЕ ЛО-МАЮ — РАЗ-ДВА!!
НЕ БОЮСЬ Я НИКОГО! ХО-ХО!!

Он громко хлопал огромными калошами, на нем было накручено что-то непонятное вроде волейбольной сетки, и его рыжие волосы торчали вверх как у ежа.

— Ува-ва!! — в восторге закричало чудовище, — да никак она опять целая!! Ломать, ломать, ломать хочу!!! — и он бросился на машину.

Но тут вдруг случилось удивительное происшествие. Крошка Ру вдруг вырвался от Кенги, подбежал к чудовищу и закричал тоненьким голоском:

— А зачем ломать?

Все звери так тряслись от страха, что даже не могли шевельнуться, но Крошка Ру нисколько не боялся.

— Зачем ломать? — взревело изумленное чудовище, — да знаешь ли ты, кто я?



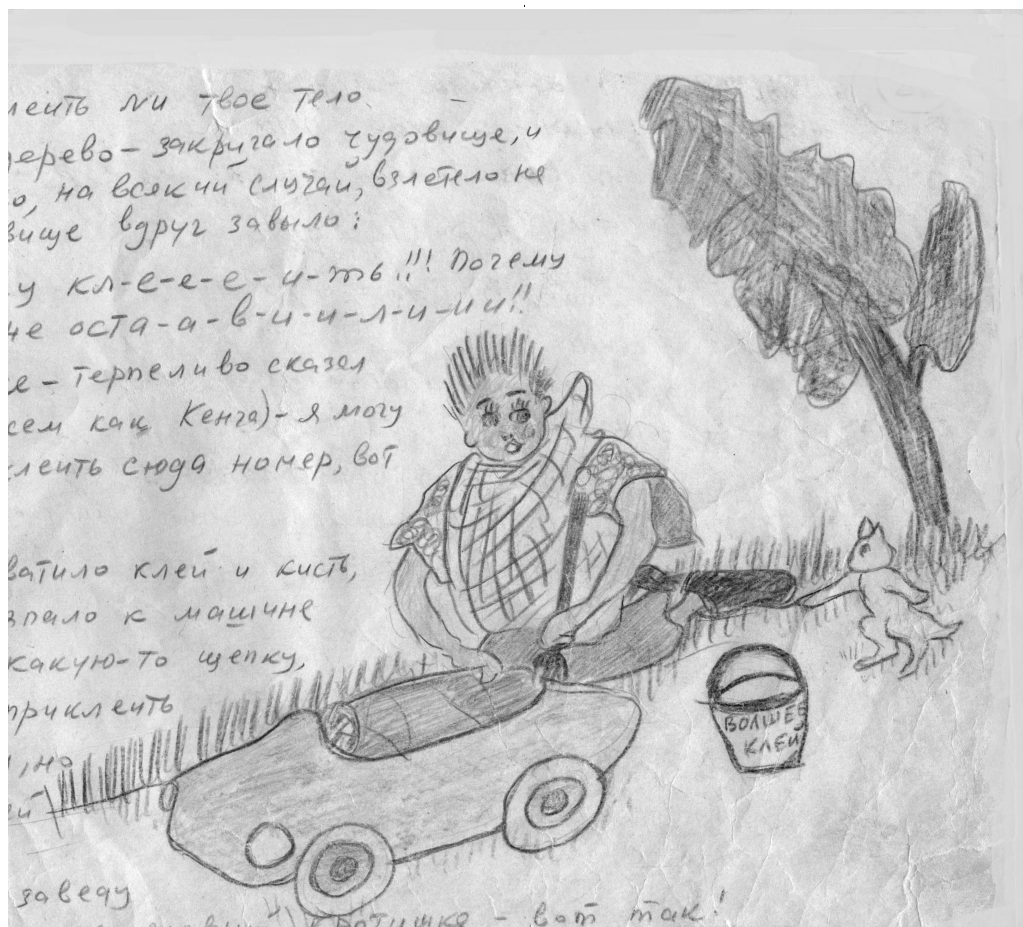
Он повернулся кругом на одной ноге и завопил:

— Я, я-я знаменитый мальчишка-наоборот, Великий Мастер-Ломастер!!! Вы что, не знаете, кто я?? Видели бы вы, что я сейчас натворил в своей комнате?? Мама прямо бац на постель, а папа вжиг под потолок и за плетку, а я в окно и — у-ля-ля! И нет меня!!

Чудовищу ужасно, видно, нравилось, что его так слушают (ведь всякому нравится, когда тебя слушают, а ты хвастаешься).

— Кто может бегать посередине улицы и никогда не сворачивать?? Только я!! Машины би-би, би-би, и — взинь, на полном ходу стоп! И ко мне драться!! А я через забор!!! Ул-ля-ля!! И нет меня! А они — другие дураки — сидят в школе, бе-бе, ме-ме. Я и сам прочту, что захочу. А вот вчера увязалась за мной бабка с дедом. Борода во-о-о! И все в трубу звезды глядит. Вот дошли мы до самой большой улицы. Тут я схватил хворостину и кричу: "Ну, а теперь вы коровы, а я пастух. Живо переходите через улицу на четырех ногах!!" Ну, они, конечно, забормотали: "Золотой, золотой" (Это я золотой — гордо заявило чудовище и ткнуло пальцем в свои рыжие волосы), бормочут: "Ведь грязно, нехорошо, неприлично". А я говорю: "А Я ХОЧУ!!" Они говорят: "Машины везде ходят". А я говорю: "А Я ХОЧУ!!" Ну, тут они, конечно, пошли на четырех ногах, и что тут было!! Машины остановились, дудят, дрожат, друг на друга лезут. Сто человек хотело меня бить!! А я — ул-ля-ля!! И нет меня!

И он гордо повернулся на одной ножке.



— Видали какой у меня живописный вид! — И он опять гордо повернулся на одной ножке, — Я великий мастер-ломастер!! И ни одна игрушка не живет у меня больше одной минуты. Я ломаю ее сразу, крик-крак!!

— Подумаешь, — сказал своим тоненьким голосом Крошка Ру (он все равно совсем не боялся), — ломать всякий умеет. Вот гляди, крик-крак, — и он переломал своей маленькой ножкой сухую былинку, — а я вот умею клеить.

— Что?? — взревело с изумлением чудовище и вытаращило свои голубые глазница.

— Да, — сказал скромно Крошка Ру.

— Он приклеил фары, — пискнул Пятачок.

— Да, я приклеил обе фары.

— Волшебным клеем, — сказал Винни-Пух.

— Чудесным снадобьем, имеющим способность приклеивать одно тело к другому, — произнесла Сова.

— А не приклеить ли твоё тело вот к этому дереву! — закричало чудовище, и Сова быстренько, на всякий случай, взлетела на дерево. А чудовище вдруг завывло:

— Я тоже хочу кл-е-е-и-ть!!! Почему мне ничего не оста-а-в-и-и-л-ии!!

— Нет, почему же, — терпеливо (совсем как Кенга) сказал Крошка Ру, — я могу тебе дать приклеить сюда номер, вот здесь...

Чудовище схватило клей и кисть и, пыхтя, приляпало к машине номер, потом какую-то щепку, потом хотело приклеить божью коровку, но к счастью клей кончился.

— А теперь я заведу машину, — сказал осмелевший Кротишка, — вот так!

Он завел ключиком машину, а чудовище только смотрело и изумленно пыхтело.

— И мы теперь поедem в город, — сказали хором осмелевшие звери, — у будем искать Кристофера Робина.

— Хоть всю жизнь, — добавил Винни-Пух.

— Кого-кого??!! — подпрыгнуло чудовище.

— Кристофера Робина.

— Кха-кха, — вдруг закашлялось чудовище, — вот это да!! А ну, молчите все!!!

Он задрал к небу свою рыжую голову и тоже стал молчать. Он молчал, и все тоже молчали и испуганно смотрели на чудовище.

— У меня тут что-то шевелится, — наконец сказало чудовище и хлопнуло себя по лбу.

— Стихи? — робко спросил Винни-Пух.

— Нет, у меня шевелится, как ее, мысль. А вообще, есть охота, вожусь, вожусь тут с вами...

Он подтянул кверху голубые штаны (похоже, что они были мамины), зашвырнул в кусты свои огромные калоши и помчался в город по самой середине дороги. Звери долго смотрели ему вслед. Потом начали смеяться, смеяться, а потом Кротишка завел ключиком свою машину и они весело покатали дальше.

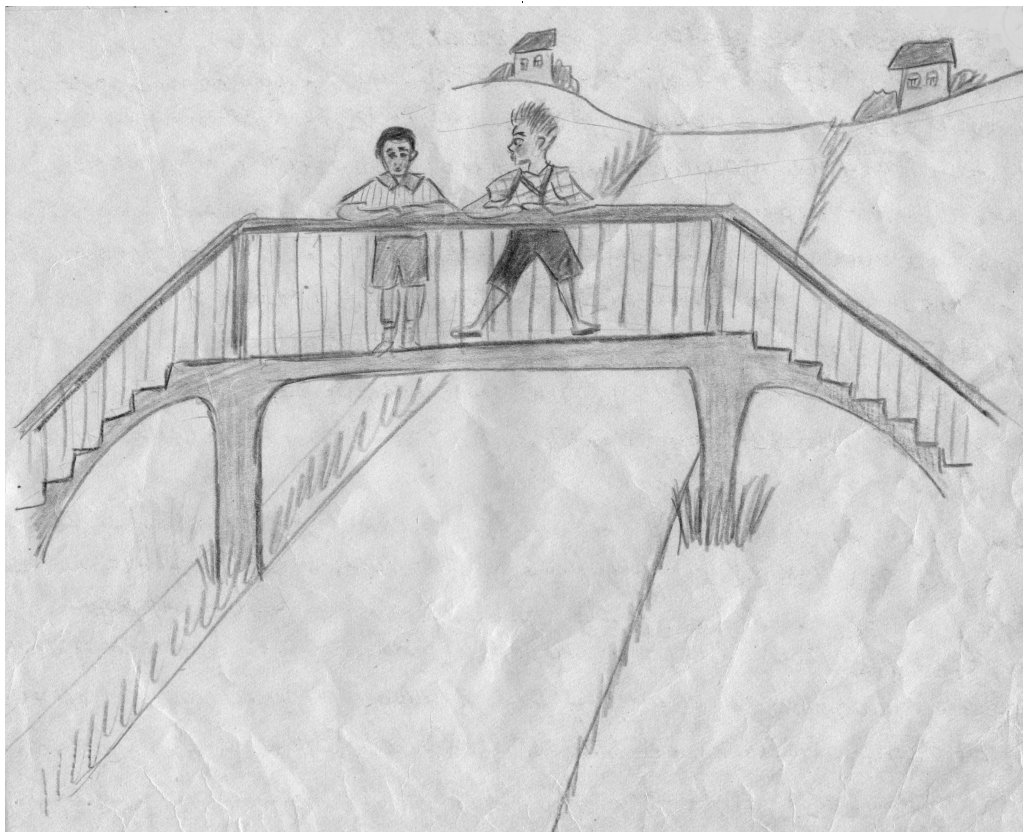
Скоро очень дремучий лес кончился и начали попадаться домики. И вскоре они увидели через шоссе небольшой мостик. На нем кто-то стоял.

— Я что-то вижу... — нерешительно сказал Винни-Пух.

— И я тоже... — пропищал Пятачок.

— Я безусловно что-то вижу, — сказал Кролик.

И Кротишка остановил машину.



Но кто же стоял на мосту? Это был... Кристофер Робин!! Подумайте — и рядом стояло чудовище. И даже не в маминых штанишках, а, наверное, в своих. Правда, они были не застегнуты, но это ведь не так уж важно. А Кристофер Робин был все такой же самый лучший! Он быстренько сбежал с лестницы, и все звери бросились к нему, совсем забыв про чудовище.

— Ну, ладно уж, пошли! — наконец проворчало чудовище (право же, оно было очень терпеливо на этот раз), — заберем их всех скорей. Ну, полезайте все ко мне, живо, я говорю!!

И он протянул к ним свои ручищи. Все шарахнулись в сторону, только Крошка Ру вырвался от Кенги, подбежал к чудовищу и протянул к нему свои лапки. Кенга прямо обомлела, когда чудовище схватило ее крошку своими грязными лапищами. Но он сунул Крошку Ру в свой карман и сейчас же забыл о нем. Остальных зверей забрал Робин. Они перелезли через забор и очутились в большом густом саду.



В саду стояли два домика. В одном жил Кристофер Робин, а в другом чудовище (его звали, оказывается, Боб) — со своими папами и мамами. Между двумя домиками росло большое развесистое дерево. И по его ветвям было очень удобно переходить из одного домика в другой. Но сейчас это было невозможно, потому что на балконе Боба была высоченная решетка. Это, оказывается, поставил бобин папа, потому что как только Робин кончал делать свои уроки, так Боб пробирался в комнату к Робину и опрокидывал на тетради Робина чернильницу.

Мама Кристофера Робина тоже обрадовались зверям, но сказала, что жить с ним будет только тот, кто умеет хорошо молчать и не будет ему мешать учиться. А остальные будут жить в саду. Они все пошли в сад устраивать себе жилище, как вдруг из соседнего домика раздались страшные вопли:

— Я хочу кл-е-е-я!! А я хочу кл-е-е-я!!

И тут они увидели, как маленькая бобина мама вытолкнула из двери тощего длинного бобина папу с ведром в руках, и он бегом понесся покупать чудовищу Бобу клей.

С этих пор Боб стал клеить, клеить и клеить. Скоро было его рождение, и мама подарила ему 10 ведер клея, 10 разных кистей, 10 пачек карандашей и 10 ведер красок. И вообще, его мама перестала бацать на кровать и оказалась даже очень подходящей маленькой мамой. И когда он, например, обклеил ее комнату, на которой были лиловенькие обои с цветочками, старыми газетами, она только засмеялась и сказала, что это, правда же, даже очень мило и что она всегда мечтала жить в такой комнате. И когда он склеил все страницы в большущем атласе с картами, она только сказала, что это очень жаль, потому что она только что хотела, чтобы он нанес на карту все свои путешествия по прямым и не по прямым шоссе. И когда он стал выть, что он **ОЧЕНЬ ХОЧЕТ** это сделать, она сейчас же купила ему этот большущий атлас. И он сейчас же провел там столько своих путешествий, которые он совершил и которые он совершит, когда вырастет большой, что у мамы даже закружилась голова. Но она его нисколько не ругала. И когда он узнал, что в школе даже совсем не говорят бе-бе и ме-ме, а иногда рассказывают всякие истории про путешествия и про всякие страны, и это называется **ГЕОГРАФИЯ**, то он тоже стал ходить



с Робинем в школу и даже сидел с ним за одной партой. А бобин папа снял решетку с балкона, и это было очень удобно.

И они стали жить очень хорошо. Кротишка вырыл себе очень уютную земляночку под большим каштаном. Теперь уж ему не приходилось спать вместе с ключом: он вешал ключ на гвоздь, который ему выкрасил Боб. А Кристофер Робин сделал подъездные пути от большой дороги до самой кротишкиной норки.

Кролик, Иа-Иа, Сова и Пятачок тоже сделали себе в саду уютные домики. Но Крошку Ру бобина мама никому не хотела отдать. Она называла его своим милым крохотулей, своим спасителем и балует его так, что Кенга стала очень беспокоиться. Она слышала от Совы (а ведь вы помните, что Сова очень умная и все знает, и что она даже умеет писать "поздравляю с днем рождения" и т.д.), что если детей баловать, то они вырастают разбойниками. А Кенге очень не хотелось, чтобы ее Крошка Ру стал разбойником.

В общем, они жили хорошо и ходили в гости то к Кристоферу Робину, то к Бобу. Только один Винни-Пух всегда жил с Кристофером Робинем. Это потому, что он, оказывается, не только умел сочинять пыхтелки, ворчалки и шумелки, но и лучше всех умел молчать. Мама Кристофера Робина даже разрешила ему сидеть за столом, когда Робин делал уроки. И он сидел так тихо, что совсем не мешал Робину. И когда Робин шептал:

— Ох, Винни, я тебя ужасно люблю! — он шептал в ответ:

— А я-то... — так тихо, тихо, что никто не мог это услышать.



Л.В. ПАРИЙСКАЯ, дочь А.Н. ПАРИЙСКАЯ и внучка МАША:
игрушечный Мишка — тоже Винни-Пух

Шутки

Жизнь и деятельность Ник-Ника Парникийского

(краткое сообщение к юбилейным дням)

Много лет назад у очень молодой и очень достойной женщины родился сын, которого она в честь отца назвала Ником. Ребенок был привлекателен с рождения. Если умолчать о женщинах, то мнения мужчин о его наружности в молодых годах расходились: одни, пристрастные, считали, что в его чертах было слишком много монгольского. Другие, беспристрастные, считали его образцом мужской красоты.

Ребенок был одарен. Первым проявившимся дарованием был талант танцевальный. Мы скажем сразу, и, без сомнения, читатели этого краткого очерка согласятся с нами, что главная черта всех его дарований есть удивительная самобытность, своеобразие и оригинальность. Его танцевальный талант сразу покорял и поражал зрителей своей, скажем, синкопичностью движений, неповторимой и своеобразной пластичностью, так что его можно было разве лишь сравнить с танцорами Камерного Театра в период его расцвета. Этот талант он в продолжении своей жизни непрерывно совершенствовал, доведя его в зрелом возрасте до своего апогея, когда он исполнил трагическую роль лейтенанта Шмидта в известной опере-балете "Вянет лист". Немного позже он создал образ Бармалея, заставив плакать детей и трепетать сердца взрослых.

Вторым проявленным им еще в детстве талантом было вокальное искусство. Обладая от природы слухом столь высоким и острым, что он не укладывался в грубые рамки темперированной гаммы, он умел создать такие мелодии, которые не могли воспроизвести даже самые заслуженные мастера пения.

Мы не будем останавливаться на том, как протекало его детство. Он интересовался всем: устраивал взрывы, был бойскаутом и зарабатывал добрые дела, таская старушкам корзинки. И, кроме точных наук, особенно интересовался историей, вернее, предисторией человечества. Он всю жизнь завидовал доисторическим людям, и мы не удивились, когда услышали, что однажды, когда вся школа, где он учился, выехала гулять в лес, он, совершенно нагой, только с набедренной повязкой из бузины, выскочил из чащи леса, произведя фурор среди учащихся, особенно среди женской его части. С тех пор в школе звали его только "Пещером".

Он на всю жизнь сохранил любовь к дебрям и умел их выискивать даже в цивилизованных местах, заставляя с необычной энергией своих спутников ползком пробираться по чащам леса, если даже рядом была сотня лет назад проложена дорога.

Он прошел огонь, воду и медные трубы в героические дни гражданской войны и рано стал самостоятельным, пробираясь, как таран, к вершинам науки. Со славой кончив Университет, он тут же женился. Всю зиму до этого события дворники и милиционеры того времени каждую ночь наблюдали, как по темным улицам в жестокие морозы вихрем проносился молодой велосипедист в блестящей кожаной куртке. Кожаная куртка была его гордостью. Еще

большой гордостью был его знаменитый шарф необыкновенной длины. При желании его легко можно было растянуть между двумя фонарями на улице, но он умудрялся с непостижимой быстротой заворачиваться в него и уверял, что это есть самая лучшая одежда в мире.

Его жена вполне ему соответствовала, будучи по природе вечно жизне-радостным существом. Она не мешала ему работать. Появившиеся вскоре дети также не мешали ему работать. Жена его также не была лишена талантов. Но основным ее талантом, безусловно, была удивительная способность устраиваться в жизни. Не имея ни бабушек ни тетушек, она всю жизнь умела удовлетворять свою страсть к "вольному воздуху". Пока у нее был один ребенок, она таскала его с собой по лесам, перекладывая свое дитя с одной дружеской спины на другую. Когда детей стало трое, она изобрела другие способы удовлетворения своей страсти.

Главные из них следующие:

1. Выбирались достойные люди, подверженные страстью "к перемене мест", но не имеющие на это средств. Эти люди перемещались в заповедные для них места, такие как Крым или Кавказ, конечно, вместе с ее детьми и нянями.
2. Выбирались достойные люди, не подверженные страсти к перемене мест. Из них организовывалась "коммуна", и на эту коммуны бросались ее малютки.

А малютки были живые. Они не капризничали, не пищали и ничего не требовали от родителей. Как бандерлоги, они умели развлекаться в пустых комнатах, залезая на шкафы, подоконники, открывая окна и приводя в ужас прохожих на улице. Лазали по карнизам балконов, падали с парашютов, вешаясь руками налету за цепь и приводили в умиление мать своей способностью к самосохранению. Глава семьи был чрезвычайно доволен таким способом воспитания и дополнял его тем, что вводил в жизнь детей страшную фантастику, таская их по своим любимым дебрям и обучал их плаванию, кидая их за ноги в глубокую реку.

Во время Великой Мировой Войны Ник-Ник, пылая патриотическими чувствами, развернул мощную научную работу в далеком Казахстане. И изо всех сил старался приобщить своих детей к великому горнилу науки. Во время наблюдения солнечного затмения он бросил свою старшую дочь на коронограф, вторую дочь в тесную каморку наедине с вольтовой дугой, а малолетнего сына заставил догонять лунную тень.

Он заставлял жену в мрачных горах Алатау скакать на бешеной лошади, помогавшей вести груз для научной работы. Очевидец с восторгом вспоминал, как по его мудрому совету его десятилетняя дочь вскакивала на бешеную лошадь с крыши сарая и мчалась в ночные горы, спасая людей науки от голода. Очевидец также с восторгом вспоминал, как Ник-Ник, замуря глаза,

держал под уздцы дикое животное и с непостижимой отвагой бил его кулаком по разъяренной морде, в то время как его жена с легкостью серны вскакивала ей на спину через вьюки. Он деятельно готовил своих детей к научному подвигу... Но сама его жизнь была лучшим для них примером.

Великая Победа застала Ник-Ника с семьей уже в Москве, в самом расцвете творческих сил. В этом зрелом возрасте Ник-Ник все больше расширялся в своих знаниях, поражая всех масштабами своих интересов.

В этом коротком очерке невозможно даже перечислить те науки, в которых он стал авторитетом, и перечислить те страны мира, куда закидывали его эти науки. Он всегда поражал всех своим удивительным равнодушием к общепринятым в нашей стране трафаретам научной карьеры. Вокруг него, особенно после войны, как молодые грибы росли доктора наук, и он, маститый кандидат, стоял среди них как могучий гриб-боровик. Трудно сказать, почему ему так полюбились это звание. Возможно, что где-то в глубине души ему тайне импонировало звание "выдающегося советского ученого"... Возможно, что ему, как любящему отцу, невозможно было выбрать наиболее любимую из всех наук, чтобы посвятить ей диссертацию. Нас должно интересовать больше, как могла развиваться такая удивительная многогранность.

Один лауреат Нобелевской Премии назвал Ник-Ника человеком с орлиным взглядом. И, действительно, как орел он взлетает ввысь и камнем падает на полюбившуюся ему проблему, вне зависимости от того, в какой области знания она находится. Он дробит и крушит ее трудности и потом методически превращает их в пыль совершенства, начиная всегда с малых, ибо он всегда изничтожает раньше мелочи, а потом идет к главному.

Народ, партия и правительство высоко оценило заслуги Ник-Ника, не только увенчав его заочно лаврами доктора, но постановив отныне также лавры, именуемые впредь лаврами имени Ник-Ника Парниковского, выдавать всем научным деятелям подобного мирозерцания.

В президиум АН СССР

Я убелен сединами, я мудр, глаза мои зорки, но главное, в груди у меня пылает великий костер патриотических чувств: видеть, понимать, знать мне мало! Рука моя должна разить, клеймить, направлять и предотвращать!!

Всем известны хорошо распространенные в Советском Союзе факты о рассеянности великого ученого Каблукова. Мои многочисленные наблюдения указывают, что рассеянность, очевидно, есть спутник высоко развитого интеллекта также и в период становления коммунизма.

Возьмем некоторый "типический" образ в лице всем известного советского астронома Ник.Ник. Парийского, прославившегося как мощный громитель растленных буржуазных теорий. И вот факты:

1. 12 июля 1951 г. Н.Н. Парийскому был задан вопрос — правда ли, что его дочь родила сына?

— Да, — ответил он уклончиво, — как будто что-то родилось...

2. Через 3 часа он направил группу научных сотрудников Геофиана с ценным букетом и трогательным адресом в роддом, который был схож с роддомом, где лежала его дочь, лишь тем, что обе доблестные представительницы, именем которых названы родильные дома — Клара Цеткин и Надежда Крупская — принадлежали к единому великому лагерю коммунистической партии, но находились, к сожалению, на разных улицах. В результате произошла яростная свалка разъяренных сотрудников с дирекцией роддома за сокрытие родильницы, букет завял, адрес скомкан.
3. На вопрос, как зовут и как фамилия его зятя, он безошибочно может ответить только, что его зовут Миша. Недавно его озарила блестящая идея, и на вопрос о фамилии зятя он теперь отвечает так: я — Галя — керосин — Petroleum — Петрушевич!

Во избежание пересудов среди людей, не поднявшихся на такой же высокоинтеллектуальный уровень, когда такое поведение рассматривается как вполне нормальное, предлагается: издательству Академии Наук СССР срочно приготовить записные книжки, имеющие все соответствующие справки о самом ученом и членах его семьи с указанием имени, отчества, фамилии, года рождения, возраста.

(Бдительный)

Отцы и Дети... Проблемы воспитания

(шуточные заметки о семьях Новиковых, Леонтовичей, Парийских...)

Леди и джентльмены!

С прискорбием должен известить Вас, что мой дорогой друг, написав этот, ставший уже знаменитым, трактат, тихо испустил дух и скончался, примиренный с жизнью и успокоенный тем, что дело его будет жить в веках, жизнь его не пропала даром...

На прахе друга моего я поклялся посмертно издать его труд, сильно расширенный и дополненный, каковой я и предлагаю Вашему вниманию и остаюсь

(уважающий Вас и
проливающий горькие
и безутешные слезы
о друге своем)

Отцы и дети... Проблемы воспитания

О дорогие и почтенные леди и джентльмены, отцы и матери, дедушки, бабушки и прабабушки!!!

Всю свою жизнь я посвятил этой, вечно юной теме: но я не буду утомлять Вашего праздничного внимания, я буду краток. Я только хочу поделиться с Вами животрепещущими выводами и на ряде блистательных примеров покажу их полную правоту. Я пришел к этим выводам, наблюдая всю свою долгую жизнь радость, страдание, счастье и горе сынов и отцов — близких мне, знакомых и незнакомых людей...

Я подымался по широким лестницам высоких этажей городских домов, я спускался в подвалы, я неслышно входил по мягким коврам в Ваши комнаты, леди и джентльмены, я слышал и видел Ваши объяснения с детьми, я видел Ваши слезы радости и горя; но не сочтите меня нескромным — ибо мною руководила великая жажда **и с т и н ы** !!

Итак, я буду краток. Все родители хотят видеть и сделать своих детей великими и прекрасными — *magnis et optimis!* — но все они идут к этой цели разное и не всем ясно Грядущее — то грозное и радостное грядущее, что придется им ждать от своих детей на закате их жизни. Я хочу помочь этим заблудившимся на путях истины и дать им ряд примеров, из которых они могут видеть, как можно воспитать ту или иную дорогую Вам черту в характере будущего человека. Человек, этот Ваш будущий Человек, который вырастет из Вашего светлокудрого ребенка, может быть вылеплен Вами или путем личного Вашего примера — *exemplum directum!* — или примером обратного — *exemplum reversum!*

Попрошу же Вашего внимания и попробую показать Вам первый пример *exemplum directum*. Перенесемся же высоко вверх в большое уютное гнездо. Там, в ожидании высоких наград, тихо циркулируют многочисленные чада

будущей матери-орденоноски... Тишина, правда, прерывается иногда визгом и криком средних чад, но твердая рука отца быстро восстанавливает порядок и тихая циркуляция возобновляется. Мы не будем рассматривать самих малюток — ибо это есть сущие ангелы. И не будем рассматривать средних малюток — ибо их личики еще плохо видны.

Мы остановимся на Старшем отпрыске этого семейства, впитавшем в себя все благородные черты матери-героини. И в самом деле, где мы найдем столь учтливую юношу, от кого мы сможем услышать такую высоконравственную и высококультурную речь, столь услаждающую слух матери и учителей, столь трезво и правильно расценивающего жизнь во всех ее проявлениях. О, этот юноша пойдет далеко вперед, и матери, желающие своим детям твердой карьеры и положения в жизни (а кто из матерей ее не желает?!), проследите внимательно жизненный путь этого юноши...

Перенесемся теперь в тропическую атмосферу завешанной одеялами квартиры в тихом переулке... Пышные, плотно сбитые девушки и тонколицый юноша с мускулистыми руками с восторгом встретят Вас в темном коридоре, и по их громким голосам и уверенным движениям Вы заметите их бурную жизнедеятельность...

И в самом деле — эти дети скребут и моют, поят и кормят своих родителей, даже заставляют их платить долги, и если сам папаша подражает иногда жестам мистера Бантинга, то это только кажущиеся телодвижения, дело движется и без него, и счастливые родители могут, так сказать, сидеть на фигуральной завалинке и с умилением следить за своими детками, ибо покойная старость им уже обеспечена.

Но чем же, спросите Вы, добились таких результатов счастливые родители? О, склоним головы и преклоним колени перед их мудростью. С самого рождения они окружали своих детей стихией вечного движения — *mobile in mobile!* В вечном движении находятся их вещи, их игрушки, их книги, их сумки, их рукавицы, их галоши и валенки! Разве когда-нибудь, кто-нибудь знает, где находится какая-нибудь из их вещей?

О, нет! Сколько сил, сколько энергии, какие блистательные упражнения в терпении, какое счастливое развитие предприимчивости, легкости движения, укрепления мускулатуры, какая закалка характера! И с самого младенческого возраста! Итак, желая воспитать в своих детях возможно большую жизнеустойчивость, мудрые родители окружили своих детей вечно движущей обстановкой и дали блистательный пример — *exemplum reversum!*

Поднимемся же теперь по узким скрипучим ступенькам старинного дворянского особнячка и войдем в тихую комнату с семейным очагом посредине... Там живут со своими родителями две большеюшкие девицы с длинными косичками. Еще кормя грудью мать мечтала привить им в жизни стройность и порядок! Отец — как будто воплощение этого порядка — также не удовлетворял ее: ей хотелось большего!! О чем не мечтает материнское сердце!!

И вот, изо дня в день, она начинает проводить в жизнь свою систему.

Обеспечивая мужу режим с точностью до минуты — она своих детей укладывает то в восемь, то в двенадцать, кормит их по прихотям случая, то в 7 утра, то в 5 вечера... и о, чудо!! Зайдем же в эту комнату, зайдем под большой стол — и там в таком порядке "тридцать три кровати", и кормят их девочки по часам, в строгом, строгом порядке, до самой секунды...

Станем же серьезными, и солидными стопами поднимемся к более почтенному семейству — потомственно почетно академическому... С момента появления на свет их первого отпрыска эти родители, смертельно боясь могущего случиться (под влиянием духа времени) прекращения связи с чудесным, старинным учреждением, именуемом Академией Наук, решили применить свой метод, достаточно оригинальный, чтобы с детства отвратить потомство от низкой, так называемой "физической работы".

Бразды правления здесь твердо взяла на себя мать. С поражающим душу упорством и самозабвением она превратила себя в крупно-жилистую рабочую лошадь. Из года в год, изо дня в день, ворочая тысячами пудов и повергая в изумление окружающих поселян, эта достойная мать, жена академика, так мощно воплощала в себе физический труд, что ее детям, с нежными членами потомственных академиков, оставалось только с меланхолией наблюдать свою мать и, даже не пытаясь подражать ей, углубляться в изучение железнодорожных справочников, физико-технических справочников и других премудрых книг, каковое занятие бесспорно достойнее для детей почтенных академиков.

Приведем же теперь еще два примера *exemplum directum*. О, великая тайна мира! О, великие гены жизни! Посмотрим на этого отца и сына пепельно-волосых и горбоносых. Правда, отец в два раза меньше сына, но это неважно. Темперамент, живость и быстрота движений тем более разительна, когда приводит в движение столь длинные члены... Правда, сын не ездит по заграницам, не ведет разговоров с Дираком и Бором — но разве в этом соль жизни? Самое главное — сохранить великую традицию отца, воплотить ее в сыне, передать в надежные руки самое главное дело отца...

Да, артель "Напрасный труд" живет, цветет невиданным цветом! Смотрите — смена висит на подножках вагона, летящего в Подсолнечное! Она скалит молодые зубы навстречу морозному ветру и смеется над тупым разумом людей, смиренно жмущихся в теплых электричках Подольска. Она ночует под ледяным дождем в курятниках, она бомбит друг друга набухшими грязью мячами, она падает в лужи и поднимается вновь, все такая же бодрая, с такими же звенящими голосами... Какая закалка воли! Какая энергия! Какое пышное развитие интеллекта!!

Полюбujemy же еще, на прощание, на двух очаровательных особ — мать и дочь; и высотой, и дородством, и приятной ласковостью манер, они так чудесно похожи друг на друга, что их невозможно отличить.

— Ах, как Вы возмужали! — говорят матери, принимая ее за дочь.

— Ах, как Вы посвежели!! Откройте секрет Вашей вечной молодости! — принимая мать за дочь, говорят встречающие ее люди. И это сходство при-

дает вечную силу и гармонию их жизни. Дочь счастлива, что она похожа на мать, с ее жизненной энергией и мудростью, мать счастлива тем, что она похожа на дочь с ее очаровательной свежестью и молодостью.

Приложение к журналу 'Наука золотая'
Серия I
Наши доблестные мужи науки
Родина должна знать своих героев

Как известно, мечты человеческие переменчивы. Довольно известный прошлому столетию писатель Федор Михайлович Достоевский видел счастье подростка в меркантилизме — в желании быть Ротшильдом(!). А Вера Павловна в своих снах-мечтах видела с умилением розовые залы, слоняющихся в белых одеждах людей, и совсем не думала о брошенных ими в скучных общих детских детей. Мы полагаем, что для наших доблестных матерей (настоящих и будущих!) такая перспектива вовсе не заманчива!

В настоящее время мечтой всего прогрессивного человечества есть мечта о "мире во всем мире". Здесь вы видите одного из наших блестящих мужей науки, посвятивших себя этому поистине праведному делу. Заслуги его на этом поприще неисчислимы. Он не только сам, всем своим обликом миротворца, распространяет вокруг себя мир и благодать, но неусыпным, неустанным руководством ведет к этому своих подчиненных. Подходы его к людям глубоко индивидуалистичны и заслуживают особого изучения. Мы записали дословно чрезвычайно нас тронувшую речь, обращенную к одной из его прелестных сотрудниц.

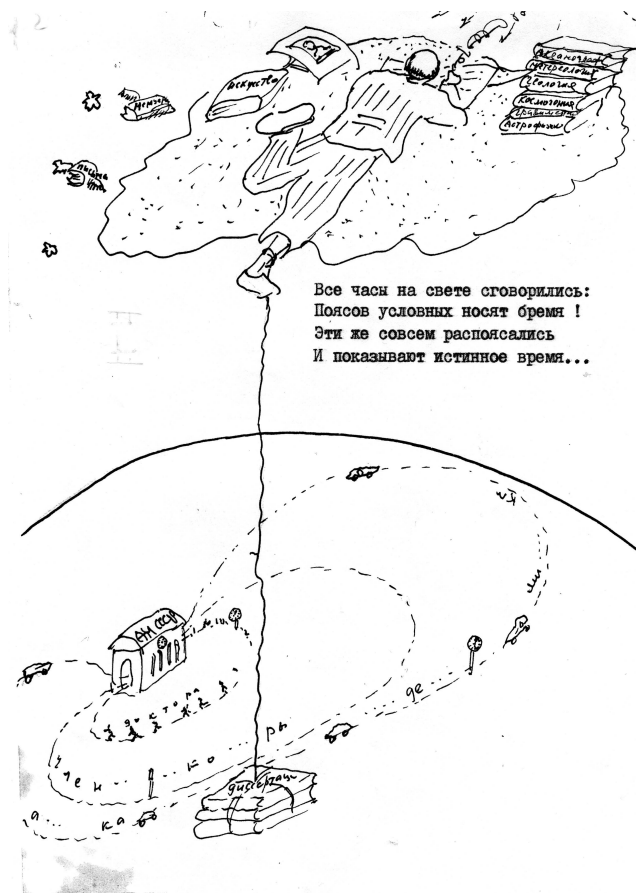
— Где Ваша сумочка? Выньте платочек и утрите свой носик!..

Очаровательно! Однако художник запечатлел его в другой величественный момент, когда он своим мужественным и сочным голосом произносит магическое слово:

— В о н !!!

И удивительная благостная тишина и мир спускается к окружающим...





...Очарованный звездной музыкой сонета, сей доблестный муж науки устроился, как видите, неплохо, вознесшись высоко над избитыми орбитами докторов, член-корров, академиков и т.п. чиновников науки, ведущих низменно размеренную и ограниченную точным временем жизнь. Правда, земной груз еще несколько привязывает его к земле, но, скажем прямо, мешает не слишком, и сей вольный сын эфира пребывает на своей звездной перине весьма комфортно...



В низменных и заболоченных местах нашему корреспонденту удалось заснять редкую разновидность мужа или, вернее, дочери науки, отличающуюся по внешнему виду резким оскалом зубов и особой свирепостью взгляда. Мы скажем, что редкую к счастью, ибо мы должны сознаться, что наблюдали сцену, недопустимую для социалистического подхода к животным... Вы видите перед собой это бедное подчиненное животное, запечатленное корреспондентом в тот момент, когда оно в изнеможении вопиет:

— Товарищ начальница! Дай хоть мочалы пожевать. Ведь с утра не емши — тебе то все нипочем!!!



Мы видим из многочисленных предыдущих картин, что все перечисленные, нам хорошо знакомые люди носили в себе безусловные задатки людей будущего коммунистического общества. Но больше всех и ближе всех в настоящее время стоит прекрасно всем нам известный "выдающийся советский астроном" (по выражению ведущей прессы социализма)... И в самом деле, орлиным взглядом пронзая будущее, он сбросил с себя все буржуазно-капиталистические предрассудки всяческих рангов, званий и тому подобной, связанной с ними надоедой, мишуры. Воистину, по гениальному выражению нашего молодого современника, "он одной ногой стоит в прошлом, а другой приветствует будущее".

О Д.А. Киржнице

Особая просьба, или кто же такой Киржниц

”У меня к Вам особая просьба”, — сказал торжественно заведомо академик Т. своей сотруднице П., — ”Вы знаете, я редко обращаюсь с такими просьбами. Так что это действительно ОСОБАЯ ПРОСЬБА. Доставайте мне стол. Хороший, большой стол и поставьте в мой кабинет”. ”А для кого этот стол?” — загораясь от любопытства, спросила П. ”Вот увидите”, — многозначительно сказал Т., — ”могу только сказать, что из-за этого сотрудника была великая драка и при этом на самом высоком уровне”.

Сотрудница П. развила бурную деятельность. Она не только сумела извлечь из фиановских хозяйственных дебрей хороший большой стол, но даже вызвала некоторое подобие заинтересованности на флегматичном лице известного хозяйственного деятеля ФИАНа. ”А кто такой Киржниц и почему я его не знаю?” — проямлил он. ”В самом деле, а кто такой этот Киржниц?” — с завистью оглядывая стол, спрашивали сотрудники.

И вот, наконец, явился К. К величайшему изумлению всех он молчаливо отверг приготовленный ему стол, такой великолепный и выдержанный в сто-процентном стандартном стиле, и с присущим ему скромным видом и достоинством занял стол самого начальника.

Устройте меня на завод

Через неделю К. прочел свой первый доклад на семинаре. ”Н-да!” — сказал после этого корифей-скептик. ”Колоссально” — сказал восторженно корифей Ф. ”Это голова!” — сказал Г. и поднял кверху палец. А наш скромный парторг подоспел к нему и смиренно попросил: ”Устройте меня на завод, где можно получить такие глубокие познания по теоретической физике”.

Одним словом, с этих пор К. стал ”выдающимся деятелем” теоретдела. Но, как известно, всякий выдающийся деятель имеет своих врагов и своих друзей.

Бездыханный труп или железные объятия КИРЖНИЦА. Предупреждение редакции

Всем известен полный корректности, даже больше, респектабельности — вид товарища К. ”Почту за честь”, ”я огорчен на всю жизнь, что заставил Вас побеспокоиться”. Ежедневная учтивая ”толкучка” со своими товарищами у дверей, и т.д., и т.д. — все это рисует волнуемый, почти забытый образ молодого человека, ”приятного во всех отношениях”. ”Теперь таких нет, а скоро совсем не будет”, — как сказал бы о нем известный всему миру Паниковский — ”сразу видно человека с РАНЬШЕГО времени”. Тем более заслуживает внимания тот факт, о котором сообщили редакции ближайшие друзья

К., окрыленные гражданским мужеством, веющим в воздухе. Приводим их рассказ.

Однажды в пылу откровенности К. сообщил, что, будучи еще желторотым птенцом, а именно учеником 5-го класса, он много раз выдерживал грубые приставания огромного страшного второгодника, обладавшего огромными кулаками. К. пытался держать себя с христианским смирением, но однажды не выдержал и бросился на него. И, о чудо! Великан упал бездыханным! "Что же Вы сделали с ним?" — спросили мы, затаив дыхание. "Представьте себе, ничего особенного", — скромно ответил К., — "я просто сжал его в своих объятиях". Придя в себя, мы спросили его дрожащими голосами: "Ну, и что же с ним стало?" "Через некоторое время он опомнился", — скромно продолжал К., — "и с тех пор, представьте себе, оказывал мне всякое уважение".

Редакция решила довести это тщательно скрываемое им свойство, которым он может конкурировать лишь с Венерой не Милосской, до сведения всех граждан и особенно тех, которые претендуют стать или слишком близкими его друзьями, или слишком серьезными противниками.

Слон; и что же из него может получиться, если его кормить по методу академика Лысенко

Однажды на производственном совещании зам. зав. Г. уподобил К. слону: "...слона-то я и не приметил". Как известно, слон — самое большое ныне живущее на Земле сухопутное животное: так нам сообщили из МГУ. Но именно там на конференции студентов биофака ак. Лысенко заявил, что, по его наблюдениям, некоторых видов животных как таковых, например, кукушек, вообще не существует. Чтобы получились кукушки, необходимо лишь любого птенца кормить особенными земляными червями, и тогда из него образуется кукушка. То есть птица гораздо более мощная, чем ее братья. И имеющая громкий, на весь лес, голос.

Возникает вопрос: если К. в его еще молодом возрасте имеет размеры самого большого животного, то если начать его откармливать какими-нибудь соответствующими червями, до каких же размеров он может пойти и во что превратиться. Задача, по мнению редакции, вполне достойная тому содружеству физики и биологии, которое полузаконно процветает в нашем отделе.

Веселые картинки из жизни под названием:
Игорь Тамм
и короли, принцессы, ванне шайки, крысы, лошади,
курицы,
травки, загадочные цифры, страшные сны, и тому
подобные вещи





В одном городе с самым коротким названием на свете — "Елисграде" — провел свое детство Игорь Тамм... Судьба всегда выделяла его из толпы. На заре юности она наделила его богатырским ростом, и он был грозой елисградских гимназистов. Но затем судьба передумала: она решила, что для контраста будет весьма забавно заключить его огромные блистательные способности в миниатюрную форму... И когда, уже в преклонных годах, он попал в славную страну Швецию, он оказался там самым маленьким человечком. Изумленные толпы ходили за ним по улицам.

Популярность его в этой стране была такова, что даже королевское семейство стояло перед ним в почтении... А принцессы приносили ему завтрак в постели... Он любезно беседовал с королевой о науках, о дочерях, о загородных резиденциях. И королева жаловалась ему, что ей очень хлопотно приезжать в их охотничий домик в горах, приходится его убирать и топить. И он с удовлетворением вспомнил о своем подмосковном дворце, подаренном ему правительством. Во всяком случае, ему не приходилось его ни топить, ни убирать...

...Но возвратимся ко дням его юности. Окончив с блеском "елисградскую" гимназию, он устроился в далекий город Эдинбург заканчивать свое образование. Мы не будем говорить о том, как он поразил своей эрудицией ученых мужей Белого Альбиона — это всем известно. Осветим лучше менее известные факты из его, так сказать, интимной жизни. Для этого напомним, что Игорь Тамм получил НАСТОЯЩЕЕ (не теперешнее!!!) воспитание и всегда слушался папу и маму. А мама сказала ему, что он обязательно раз в неделю должен ходить в баню.

Помня этот суровый наказ, Игорь Тамм бодренько отправился в город. После долгих поисков он, наконец, нашел великолепное мраморное здание под названием "Римские бани". Туда входили джентльмены в цилиндрах и платили бешенные деньги. Что было делать? Тихонько охнув, заплатил бешенные деньги и Игорь Тамм. Респектабельные джентльмены в ярких халатах прогуливались по мраморным жарким залам, респектабельно сплетничали, курили длинные трубки и играли в трик-трак... Обошедши все залы, Игорь Тамм робко спросил у рослого лакея с подносом: "Скажите, а где здесь можно помыться?" Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. В этом доме никто никогда не мылся.



1914 год. Война!!! Игорь Тамм бросает науку, бросает Эдинбург и спешно выезжает в родной "Елисград". Запыхавшись, вбегает в воинское присутствие и кричит: "Я хочу в военную школу, сейчас же, немедленно!!" "Идите-ка, молодой человек, до дому!" — говорят ему там, — "куда Вам на войну, у вас пульс 130!!" "Надо выпить стакан валерьянки", — сказала ему одна старая дама. "Очень хорошо", — говорит Игорь Тамм, влетает в другое воинское присутствие и вдруг вспоминает: "А валерьянку-то я оставил дома!!" Он бежит два километра туда... Он бежит два километра назад... Он опоздал, он умоляет его принять. Седой врач с косматыми седыми усами свирепо слушает его, свирепо кричит: "У Вас пульс 160!!" Свирепо смотрит на потолок, свирепо ставит в его военный билет какую-то жирную цифру. И свирепо выталкивает его за порог...

Но Игорь Тамм не сдаётся: он выпивает стакан валерьянки и степенно входит в третье воинское присутствие. И вдруг неожиданно замечает во всей комиссии явный интерес к своей особе. Они смотрят его военный билет, они шепотом совещаются и, наконец, один, кашлянув, задает ему вопрос:

— А скажи-ка, милейший, какой у нас нынче день?

— Вторник, нет среда, — растерянно выпаливает Игорь Тамм.

— Ответ нечеткий, — веско говорит другой.

— Ну а, скажем, было у тебя два барана и я подарил тебе еще одного. Сколько у тебя стало баранов?

— Я не понимаю, к чему эти бараны, — запальчиво отвечает Игорь Тамм.

— Он не понимает, — значительно говорит третий член комиссии. И его осторожно под руки выпроваживают вон.

Игорь Тамм плюет на офицерскую карьеру и уезжает на фронт санитаром. Он воюет с холерой. И только вернувшись узнает, что таинственная жирная цифра обозначала непригодность к военной службе по причине полнейшего... слабоумия.



Игорь Тамм всегда был азартным игроком и спортсменом. С одинаковым пылом он играл в карты, чижики, шахматы. Он залезал на высочайшие вершины, умел делать блестящие глиссады по ледникам, пробирался в кратеры вулканов. Но нет сомнения, что самыми блестящими были его успехи в волейболе. Он выработал совершенно неповторимый прием: "там — Тамм". И убивал этим приемом всех игроков наповал.

Он прошел трудную науку джигитовки. Его пытались сбросить — и никогда не могли сбросить — лихие ворошиловские кони... Но злые языки говорят, что где-то далеко-далеко, в горах Алтая, маленькая брюхатенькая лошаденка уронила его в мутные воды Катуня... Впрочем, он утверждает, что это она сама себя уронила в мутные воды Катуня. В общем, кто кого уронил, скрыто мраком неизвестности. Известно только, что их обнаружили на разных берегах реки... Произошло это давно, давно... Ох уж эти злые языки...

Всем известна железная выдержка и стальное спокойствие Игоря Тамма. Кто видел когда-нибудь Игоря Тамма в состоянии свирепости и буйства? Никто не видел Игоря Тамма в состоянии свирепости и буйства. Только злые языки говорят, что в далекой горной стране он воздел кверху руки и закричал: — Довольно, хватит!! Да-да!! Я сам буду варить обед.

Он сам побежал на базар и сам принес огромную курицу и охапку витаминов. Он сам сварил курицу. Но, к величайшему недоумению Игоря Тамма, курица почему-то оказалась несъедобной. Ах, эти злые языки, ах, эти душистые кавказские травки...

Весь мир почитает Игоря Тамма как великого теоретика. Но мы считаем, что в Игоре Тамме мир потерял великого экспериментатора. Вы вероятно согласитесь с нами, если ознакомитесь со следующим фактом. В 1945 году (мы точно запомнили эту дату) семья Таммов запасла малую толику картофеля. И вот каждую ночь Игорь Тамм наблюдал из засады, как крысы таскали — топ...топ...топ — картофель к себе в подземелье. С необычайным терпением и выдержкой много ночей подряд Игорь Тамм наблюдал за этими интересными домашними животными, пока не кончился запас картофеля. И везде с восторгом рассказывал о выдающемся уме, выдумке и повадках этих милых грызунов.

Много-много веков назад жили на свете свирепые китайцы. Они залезли на крышу мира — Памир. И разграбили мирные селения. И вдруг началась зима, снег, стужа. Китайцы тогда были буйные, китайские воины стали бунтовать, порезали лошадей, убежали. Что было делать с несметными сокровищами? И вот, как говорит легенда, китайские вожди решили запрятать сокровища в пещеру, которая виднелась в высокой отвесной скале... Они резали своих лошадей на куски, прилепляли их к скале и по этой лестнице из замерзших кусков мяса перенесли в пещеру свои сокровища. А потом пришла весна, куски мяса оттаяли, упали, и пещера стала недоступна для всего мира.

Так говорит легенда. Отдадим должное безумной отваге этих свирепых людей. Но подумаем, что двигало ими? Жадность, алчность, дикое корыстолюбие... Но вот прошли века, и все газеты мира перепечатали такое сенсационное сообщение: "Этим летом на Памир в Рангунскую долину, в легендарную пещеру сокровищ отправилась специальная экспедиция, возглавляемая академиком Таммом — не только крупным физиком, но и первоклассным альпинистом. Экспедиция оснащена по последнему слову альпинистской техники".

Вот, посмотрите. Что же двигает этим человеком??? Что заставляет его бросить жену, детей, внуков, дачу-дворец? Наконец, любимый письменный стол, заваленный бумагами. Нет, не погоня за славой, не праздное любопытство!!! А великая неистребимая гуманность к человечеству, страдающему, истрадававшемуся от этой многовековой загадки...

Игорь Тамм родился борцом... На старой фотографии видно, как этот двухлетний ребенок энергично потрясает своей дубинкой... Он всю жизнь боролся с косностью и мракобесием — и веским своим словом, и пером, и авторучкой, и ручкой, и другими предметами, которые подвертывались под руку (даже бильярдными киями). И дело его, можно сказать, кончилось победоносно.

Но однажды, совсем недавно, ему приснился ужасный сон. Как будто на широкой, такой знакомой ему улице утверден на бетонном помосте страш-

ный портрет...

Мрачный сел он утром в машину и поехал по этой улице. И что же...? Именно на том самом месте он увидел СВОЙ огромный портрет!!¹²

¹²В 1967 году к 50-летию Октября вдоль всего Ленинского проспекта были вывешены двухметровые портреты выдающихся людей Страны Советов. И среди прочих — портрет Т.Д. Лысенко. Однако через несколько дней он был заменен на портрет И.Е. Тамма.

Мистер Санта-Клаус в стране Советов (святочный рассказ)

— Чудная идея! — сказал румяный Санта-Клаус, хлопая в ладоши, — нужно на все взглянуть своими глазами.

Он быстро закинул за спину свой известный всей старой Англии полосатый мешок, сложил ручки вместе и прыгнул прямо в черную ночь...: "Фр-фр!!" Кругом засвистело, завизжало, запрыгали вереницами звезды, но вскоре стало светлее от бесконечных снежных пространств и внизу засверкали огни огромного города.

Санта-Клаус скользнул вниз и очутился на крыше не слишком большого и не слишком маленького дома на "Первой Мещанской". Он притопнул ногой скрипучий снег и с любопытством оглянулся. Впрочем, ничего удивительного он пока не заметил. Кругом были трубы, главным образом от котельных, которые дымили, пожарные лестницы, следы кошек и воробьев, и т.д., к чему он достаточно привык. Немножко даже разочарованный, он прошептал: "Терпение, терпение, посмотрим же далее", — и быстро соскользнул по узкому вентиляционному каналу в маленькую, не слишком комфортабельную комнатку вблизи ванной, тихонько отворил дверь в переднюю и прислушался.

Мощное сонное дыхание потрясло воздух. Было видно, что в этом доме умеют и любят спать все, начиная от отца и кончая малюткой дочкой. С почтением отворил он двери комнаты спальни, вглядываясь в черты великого мужа науки и учителя молодежи... Блаженно вытянутый кверху нос, блуждающая улыбка — все изобличало человека удовлетворенного и умиротворенного. Он тихо бормотал: "Не выберут, теперь не выберут." Впрочем, Санта-Клаус не обратил внимания на это бормотание. Он любил людей, которым улыбалась фортуна. Умиленный, он стал рыться в своем мешке.

Однако, не найдя подходящего к такому случаю поздравления, он выбрал открытку с двумя розовыми птичками и засунул ее в носок хозяина, висящий на спинке кровати. Помахав приветственно рукой и очень довольный своим началом, Санта-Клаус пробрался напротив, где помещалось будущее светило науки, достойный сын своего отца, еще два года назад установивший свое первенство среди школьников Советской столицы.

Однако, не успев открыть дверь, Санта-Клаус так был оглушен мощными звуками вальса из балета "Щелкунчик", исходящий из всех пор существа юного физика, что попятился и остановился оглушенный. Впрочем, тут же он догадливо стукнул себя по голове и прошептал: "Эге, да этот молодой человек, очевидно, балетоман! Видали мы и таких!" — и с улыбкой закинул в чулок юного ученого пару блестящих балетных туфель.

Но вдруг в квартире что-то зашумело, захлопало, и два птичьих голоса поперебой залопотали и запищали: "Congratulations! Congratulations! Congratulations!" Санта-Клаус метнулся назад: оказывается, великий муж науки, протянув свою длинную ногу, дотронулся до волшебной открытки и птички

стали делать свое дело немного раньше времени. "Сволочи, сволочи!! — проstonал новый академик, — даже ночью не дают жить". И страдальчески сморщась, он сунул свою голову под подушку, скорчился и затих.

Совсем растерянный, Санта-Клаус вынул тихонько измятую открытку с испуганными птичками и выбрался на крышу. Несколько минут он сидел задумавшись, но потом его природный оптимизм восторжествовал, он встряхнулся и бодро понесся над Садовым Кольцом до площади, носящей странное название "Земляной вал". Здесь жил маститый ученый, дышавший когда-то воздухом его родины, европеец по образованию, по манерам и приятности обращения. Здесь, здесь его поймут и оценят!

Нетерпеливо протиснувшись по каналу вниз, он очутился в почти европейском кабинете. Туфли под кроватью, американские журналы с новинками науки и техники, английский роман на столике возле кровати — все было мило и приятно старому английскому сердцу Санта-Клауса. Несколько минут он любовался непроницаемо спокойным и корректным лицом великого ученого, собирающегося перевернуть все основы, на которых покоилась великая царица науки — физика. Но внезапно черты лица его ужасно исказились, зубы лязгнули, он вскочил и закричал громовым голосом: "Мерседес! Мерседес! Мерседес!! Дайте мне мерседес, или я переверну все вверх тормашками!!!" Страшно испуганный, даже забыв сделаться невидимкой, Санта-Клаус попятился, вошел в стенку, вытянулся в ниточку и выбрался на крышу. Он сжал свою бедную голову и задумался.

"Боже, боже мой, — думал он, — в такую ночь мечтать о каких-то мерседесах... И наконец, что такое мерседес?!.. Нет, кажется я ничего не понимаю в этой удивительной стране. Сделаем последний опыт", — прошептал он, поднялся в воздух и полетел прямо на Восток, в великий город Горького, в Нижний, над полями, над лесами, над замерзшими реками, на высокую гору. Выбрав большой дом, он спустился по закоптелой трубе вниз, стряхнул сажу и огляделся.

Это был довольно большой сарай. По серым стенам были выведены лаконичные надписи: "Шурка — дурак!" И еще раз: "Шурка — дурак!" Больше в комнате ничего не было за исключением узенького, в две доски, столика и трех стульев. Санта-Клаус тихо отворил дверь в "кабинет" и изумленно шагнул назад. До самого потолка аккуратными столбами высились колонны книг ученых всего мира и собственные творения хозяина, за подписями дело N., дело N... Новый академик спокойно спал. Выразительное крупное лицо его светилось мужеством, силой и твердостью.

Санта-Клаус сел на скрипучий стул и задумался. "Что могу сделать я для этого семейного очага?" — размышлял он, — "я всегда находил, чем позабавить своих ученых старцев. Я дарил им автоплевалки, автозажигалки, или автоплатки, которые выпрыгивали сами из кармана, когда сырость в носу превышала норму — и они всегда были довольны". И вдруг увидел елку. Настоящую елку с блестящими побрякушками, игрушками и другими

безделушками.

”Эге”, — подумал повеселевший Санта-Клаус, — ”да ведь и тут думает кто-то о прелестях жизни”. Потом он вскочил, топнул ногой и закричал: ”Я подарю, я подарю им ...!”

И вдруг большой тяжелый круглый стол грохнулся посреди комнаты, покрылся скатертью, затопали радостно стулья и устались кругом стола. Санта-Клаус с торжеством бросил на стол ветку остролистника и написал крупными буквами, чтобы было понятно всем Шуркам и Журкам: ”С Новым годом, дорогие друзья академики, с Новым счастьем, с Новой жизнью!!!” Потом влетел на кухню, вскочил в трубу, скатился кубарем по снежной крыше и закричал:

— А теперь ругайте меня как хотите!

И улетел к себе в старую Англию...

Приложение к шуточным текстам

Семье Птичкиных
(автор неизвестен, 1927 г.)

Если спросите откуда
Эти сказки и легенды,
Эти подвиги былые
Небывалого героя,
Несравненного на свете,
Всем известного меж нами,
Это наш Ник.Ник. Парийский.

Он исследовал Клухорку,
Он исследовал Белуху,
В делях и лесах Алтая,
В ледяных его метелях,
Не смущаясь высотой
Бросил вызов он Эльбрусу,
Двухголовому горилле,
Великану выше Альпов.

Без его могучей силы
В щелях Цаннера ужасных
Все погибли б лютой смертью
Его спутники в походе.

Ни один начальник станций
Не отказывал ни разу
Ник. Парийскому в билетах,
Не выдерживая блеска
Черных крагов глянцевитых,
Амуниции походной
В желтом кожаном футляре.
Самовар высокогорный,
Пачка карт в дорожной сумке,
Герметически закрытой
От дождя и едкой пыли,
В сумке детская клеенка.

Председатель непокорных,
Шумных, буйных, суетливых
Экскурсантов-аспирантов,

Аспирантов и студентов,
Прославляющих в Союзе
ЦЕКУБУ при Совнаркомме,
Представитель в внешнем мире
Ты не мог быть выбран лучше.

И достойная подруга,
Мышцей крепкая как ослик,
И веселая как чижик,
Знамя, вздетое тобою
Физкультурной тренировки
Держит наравне с тобою
Инженер-теплостроитель,
Сочетавшая умело
Интегралы с волейболом.
Мудрые семьи традиции
Передать она сумела
Юной дочери, нежной Гале.

Еще Галя не владела
Тайной слов членораздельных,
Но уже без затруднений
Побеждала все высоты,
Все окрестные преграды:
Ни комод, ни пианино,
Ни с лекарством хрупкий шкафчик
Не казались неприступны
Ее твердому упорству.

Славу Птичкиным пою я,
Слава мудрому семейству,
Украшенью и опоре,
И надежде коллектива.

Приложения

Е.Л. Фейнберг

Мозаика (фрагмент)

(“Воспоминания об академике М.А.Леонтовиче”, Москва, Наука, 1996 г.)

...Их было четыре ближайших друга, пронесших свою дружбу со студенческих лет до конца жизни: Михаил Александрович Леонтович (“Минька”), Александр Александрович Андронов (“Шурка”) — один из создателей теории регулирования и теории автоколебаний, человек непередаваемого обаяния, жадного и сильного ума, необъятной человечности, Петр Сергеевич Новиков, крупнейший ученый в области математической логики (“Петр, который еще умнее Шурки”, как мне однажды объяснила жена Андропова и сестра Леонтовича Евгения Александровна), человек, казалось понимавший в людях все, человек огромной доброжелательности, державшийся всегда очень скромно, и, наконец, Николай Николаевич Парийский, сильный и авторитетный астроном...

Беседы с этими людьми, даже только их вопросы и реплики (каждый из них больше стремился вызвать собеседника на разговор, чем говорить сам) на любую из бесконечного разнообразия тем были истинным наслаждением. В этих разговорах было одно удивительное свойство: никому из них просто невозможно было сказать что-либо, что не является твоей подлинной мыслью, точкой зрения. Прощалась даже глупость, лишь бы она не была бездумным повторением чужой глупости. Но быть в разговоре неискренним или повторить расхожую пошлость было невозможно, язык не повернулся бы. Эта доминанта подлинного, духовного, искреннего и была тем, что определяло общение с Леонтовичем, как и с каждым из них.

Н.М. Леонтович

Коммуна на Сивцевом Вражке
(“Природа”, №3, 2003)

В начале 20-х годов в центре Москвы, на Сивцевом Вражке, возникла коммуна, вокруг которой собрались удивительные люди. Несомненно, это сообщество уникально для советского времени, да, пожалуй, и вообще уникально. В компанию, помимо Михаила Александровича Леонтовича, входили Николай Николаевич Парийский, Александр Александрович Андронов, Александр Адольфович Витт. В основном именно они определяли содержание жизни и дух всего сообщества. Все они учились в Университете на физико-математическом факультете. Женщины были объединены учебой в Лосино-островской гимназии. Это Лидия Викторовна Птицына, сестры Свешниковы (Татьяна и Наталья), Людмила Всеволодовна Келдыш, Наталия Лучинская. Входили в эту компанию и Евгения Александровна Леонтович, брат и сестра Старокадомские (Михаил — композитор, Екатерина — физик), Игорь Владимирович Арнольд (математик). Несколько наособицу стоял Игорь Евгеньевич Тамм. Он был старше, и всегда к нему обращались на вы и по имени-отчеству. Внутри же молодежной компании все были на ты и называли друг друга по именам (Шурка, Миня, Коля, Журка и т.п.). Потом даже дети так же называли друзей родителей.

Естественно, образовалось несколько супружеских пар. Н.Н. Парийский и Л.В. Птицына, А.А. Андронов и Е.А. Леонтович, М.А. Леонтович и Т.П. Свешникова, П.С. Новиков и Л.В. Келдыш. Пары оказались очень крепкими — на всю жизнь. Характерно, что в семьях было много детей: от трех у Андроновых и Парийских до пяти у Келдыш.

Люди эти были яркими индивидуальностями и, конечно, очень отличались друг от друга. Однако многое их объединяло. Они составляли содружество, имевшее общее лицо. И мне кажется интересным посмотреть на их общие свойства. Основой жизни, стержнем, была, конечно, наука. И наукой они занимались ради науки. Свое основное удовольствие получали от узнавания, открытия научного факта. Все остальное — вторично. Они не делали карьеры. Даже представить себе невозможно, чтобы кто-нибудь из них организовывал получение какого-либо звания. Хотя, конечно, они понимали свое место в науке. Годы спустя это выглядело так: Н.Н. Парийский — астроном, член-корреспондент АН, А.А. Андронов — физик, академик, П.С. Новиков — математик, академик, М.А. Леонтович — физик, академик, А.А. Витт — физик, доктор физико-математических наук (погиб в 1938 г.), Л.В. Келдыш — доктор физико-математических наук, Е.А. Леонтович — доктор физико-математических наук.

Но они не были сухарями и интересовались совсем не одной наукой. Очень большое значение в их жизни играла природа. Поэтому — регулярные прогулки. Летом — пешком, зимой — на лыжах. Самые разные походы — гор-

ные, речные. И они стали пионерами в освоении такого проведения отпусков — начали ходить в походы, когда это не было распространено. Одним из самых необычных был поход на Алтай в 1926 г. — на лошадях. Причем эти прогулки и походы продолжались до очень, очень пожилых лет.

Все они знали и любили литературу, живопись. Тут, конечно, пристрастия распределялись по-разному. Но интерес к искусству присутствовал у всех. В 20-е годы Москва была театральным городом. И интерес к театру был очень большим. Простаивали ночами за дешевыми билетами. Мои родители особенно любили Камерный Таирова. Новиковы были большими любителями живописи, дружили со скульптором В.Н. Домагацким, а в более поздние годы собирали живопись. Парийский коллекционировал монографии по живописи еще тогда, когда это не вошло в моду.

Они были атеистами. При этом их нравственная планка находилась очень высоко. Поэтому, когда теперь так легко ставят нравственность в зависимость от религиозности, мне кажется, что люди не думая повторяют штампы. Я же считаю, что нравственность и религиозность — совершенно независимые свойства человека и расположены в разных уголках человеческой души.

В 20-е годы они были "красные". Эти очень умные люди (причем думающие над социальными, общественными вопросами) не поняли преступности Октябрьской революции. "Белые" были для них врагами. Степень их революционности — разная. Видимо, самым революционным из них был А.А. Андронов. Их обманули фразеологией о социальной справедливости, равенстве. Когда к ним пришло прозрение? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я даже не знаю, насколько они — друзья — обсуждали эти самые главные вопросы между собой. Несомненно, обсуждали их внутри семей. И какие-то общие точки зрения у них вырабатывались, но, мне кажется, что до конца откровенными друг с другом они все-таки не были.

От чего зависело прозрение? Кроме, конечно, фактов, которые все знали. От психологической необходимости жить "заодно с правопорядком". От того, насколько эти умнейшие люди разрешали себе в подобных вопросах думать так же до конца, как они умели делать в своей науке. Конкретно могу только сказать, что Леонтович, видимо, сильно прозрел после дела Промпартии — дела Рамзина (1930). Тут, по всей вероятности, сказался и тот факт, что по этому делу проходил его дядя со стороны матери, Михаил Викторович Кирпичев. При всей революционной настроенности в начале 20-х годов, ни один из этих людей не состоял членом партии. Почему? Мне кажется, что для них невозможно было потерять определенную степень свободы, брать на себя обязательства что-то делать и говорить не согласно со своими убеждениями. Но согласно с чьими-то указаниями. И эта в общем-то нравственная позиция оказалась в конечном счете самой прагматичной. Это была, наверняка, одна из причин, почему в 37–38-м годах из всей их компании погиб только один человек — А.А. Витт. Про Витта мы теперь очень мало что знаем. Но одно из его "мо" вошло в научный фольклор — "все плохое сократится, все хорошее

останется”.

Удивителен их пуританский образ жизни. Тогда, в 20-х годах, такие взгляды были очень распространены, что вполне отражено в литературе. И они в этом смысле были детьми своего времени. Но большинство людей постепенно отошло от таких точек зрения и такого образа жизни. А они восприняли эту пуританскую психологию очень глубоко и исповедовали ее всю жизнь. И если их дети переставали разделять такие представления о быте, то родители, если не осуждали их, то во всяком случае удивлялись. Сами же они жили очень аскетично. Совершенно простая одежда, у женщин никаких украшений. Мебель только необходимая, никаких занавесок, абажуров. Все это было в их представлении мещанством, пошлостью. Наверняка неправильно сказать, что все они были счастливые люди. Но все они люди состоявшиеся. И причина, на мой взгляд, не только заложенные в них способности в сочетании с научным любопытством, но и их нравственные позиции, которые не дали им растратить на мелочи то, из чего получилось нечто поистине стоящее — наука, семья.

К.А. Разумова

Тучково

(Академик А.М. Леонтович, Москва. Наука, 2003 г.)



М.А. ЛЕОНТОВИЧ на детском празднике у деревни Хрущево, 70-ые годы. Слева направо: К.А. Разумова, М.А. Леонтович, Л.В. Алексеева,¹³ А.М. Левин, Н.П. Свешникова, Т.П. Леонтович, Е.И. Хлебникова, Г.Ю. Блюмина, М.С. Бескина, А.Ю. Блюмин, Т.М. Левина

Как-то раз, проходя на работе по центральному коридору, я увидела спускающегося с верхнего, "теоретического", этажа Михаила Александровича. Он обрадовался встрече и со свойственной ему непосредственностью сразу перешел к делу: "Я слышал, что вы каждый год снимаете дачу для своих детей и хотел предложить вам вариант, который мог бы быть удобным и вам, и нам. Дело в том, что мы лето проводим в доме, купленном нами много лет назад в Тучкове, но не в поселке или деревне, а в лесу, на высоком берегу за Москвой-рекой. Там раньше была церковь и несколько домов, но сейчас только два — наш и бывший дом священника, где живут его уже престарелые дочери.

¹³Л.В. Алексеева — жена Г.В. (Юры) Птицына, Блюмины и Хлебникова — их внуки.

Нашим внукам скучновато жить без других детей, а ваши дети, как мне сказали, их сверстники". Меня заинтересовало это предложение. Но Михаил Александрович не стал подробно отвечать на мои вопросы, а пригласил меня приехать в Абрамцево и поговорить с женой. И я приехала и окунулась в неповторимую атмосферу семьи Леонтовичей, познакомилась с женой Михаила Александровича Татьяной Петровной.

Как-то Лев Андреевич Арцимович, не помню в какой связи, сказал ворчливо: "Он молится на свою Татьяну как на Богородицу, а она даже одеться как следует не умеет". Я к этому времени уже знала Татьяну Петровну и понимала, что не понять ее Льву Андреевичу, как не может понять заядлый урбанист таежного туриста. Она и жила, и говорила, и одевалась именно так, как было нужно, чтобы оставаться цельным и неповторимым человеком.

Широкое скуластое лицо, обрамленное седыми вьющимися волосами, светило взглядом каких-то особенно ясных голубых глаз. Здесь все было точно и гармонично. Ни тени фальши, подделки. Естественно, одежда такого человека не может подстраиваться под моду или общество. Она соответствует своему хозяину, и никак иначе. Я запомнила ее в выцветшем голубом сатиновом платье, босую, на опушке леса около тучковского дома с корзинкой летних опят. И как это было — хорошо и красиво.

А вот то, что Михаил Александрович молился на свою жену (спутницу жизни, друга), так это правда. Мне здесь очень трудно подобрать верное слово, так как и "жена", и "спутница жизни", и все остальные обычные термины звучат в этом случае как-то фальшиво и не выражают тех глубоко товарищеских и человеческих отношений в семье, о которой каждый из нас может только мечтать. Эти отношения, естественно, вписываются в отношение Михаила Александровича к жизни вообще и дополняют его новыми штрихами.

Конечно, могут найтись люди, которым, может быть, и не нравились какие-то взгляды и подходы к делу Михаила Александровича, но нельзя не согласиться, что все, что думал, говорил и делал Михаил Александрович на работе в Академии наук, на отдыхе в семье, гармонично вплеталось в одно стройное мировоззрение.

Поэтому, чтобы представить себе Михаила Александровича, надо увидеть его и на работе, и на Научном совете, где он всегда поднимался как скала на защиту научных принципов порядочности и справедливости, и среди его семьи. А чтобы окончательно соединить все эти черты, необходимо увидеть пейзаж возле тучковского дома, безусловно, составлявший часть его души.

Я как сейчас вижу его высокую, немного угловатую фигуру, стоящую на краю овсяного поля, которое с двух его боков подпирает лес, а в конце, вдали, замыкает живописное, заросшее березами кладбище. Взгляд Михаила Александровича обращен к этим мягким линиям русского пейзажа, к небу в легких облаках, он слушает голос перепела, и мне ясно, как эта благодать освежает его, обогащает, делает самим собой.

Но вернемся к Абрамцеву. Перед поездкой туда моя свекровь, а с детьми-

то жить больше ей, чем мне, просила выяснить, есть ли терраска (нужна обязательно), далеко ли колодец и трудно ли доставать воду, есть ли печка в комнате, которую нам могут сдать поповны, далеко ли от станции, и т.д. Меня поразило, что на все мои вопросы Татьяна Петровна, как мне показалось, даже с охотой отвечала, что все там плохо. Вода в роднике под горой в 60 метрах, печки в комнате нет, и нет не только терраски, но и потолок в комнате провисает и подперт кривыми слегами, а от станции 3 км, причем надо пересекать Москву-реку по всегда неисправному подвесному мостику. Тем не менее, я сразу поняла, что мы поедem жить летом только в Тучково, потому что это замечательно — жить на лесной поляне рядом с такими людьми, как Леонтовичи. Я это поняла настолько твердо, что уговорила свекровь, и она потом никогда об этом не жалела.

Семья, рядом с которой волею судьбы и нашей собственной нам предстояло провести несколько лет, состояла из Михаила Александровича, Татьяны Петровны, их младшей дочери Веры и семьи старшей дочери Наташи, имевшей в ту пору двух детей — Таню и Бамбика (простите, Андрея). Дело в том, что Михаил Александрович еще тогда, когда мальчуган гуликал в кроватке и воспроизводил своеобразный звук, напоминавший пение лягушки-жерлянки, прозвал его Бомбинатором (по-латыни жерлянка — *Vombinator*), а сокращенно все стали звать его Бамбиком.

Наши дети стали основой наших взаимоотношений. В ту пору им было от 5 (Бамбик) до 10 (моя дочь Маша). Детский коллектив дополнялся внуком Н.Н. Парийского, Васей, жившим на даче в деревне Хрущево в 3 км от нас. Взрослые абсолютно не мешали жить детям, которые впятером носились по поляне, строили подземные пещеры на краю оврага, круто спускавшегося к реке, в плохую погоду резались в настольные игры, включая карты, в нашей коморе или в доме Леонтовичей. Но если у кого-то появлялся неудовлетворенный интерес, связанный, например, с распознаванием видов бабочек или птиц, к его услугам старшие Леонтовичи всегда предоставляли свою эрудицию и литературу.

Большое внимание уделялось "взрослым" праздникам, обычно дням рождений. Под руководством Веры дети сочиняли и готовили представления. Затем на полянке под дубами собирались все дети и взрослые, включая все возрасты, и семья Парийских. Проходили всевозможные соревнования и эстафеты. И стар и млад прыгали и веселились на равных.

Этот образ жизни создавал атмосферу непринужденности и внутренней раскованности, атмосферу свободы. Такой образ существования легко было увидеть у Михаила Александровича и в другой, гораздо более трудной обстановке. Михаил Александрович был убежден, что ученый должен быть совершенно свободен не только политически, но и в выборе своей научной тематики. Положение это довольно дискуссионно, так как в условиях современной "индустриальной" по масштабам экспериментов научной работы часто требуется слаженная работа больших коллективов в течение многих лет. Поэтому лично

мне кажется, что свобода, конечно, должна быть, но иногда приходится брать на себя обязательства и рассматривать их как "осознанную необходимость". Помню, как-то на Научном совете я высказалась на эту тему в связи с необходимостью привлечения кого-то из теоретиков к конкретным задачам термоядерной тематики. Михаил Александрович тут же вскипел. Покушаться на свободу теоретика нельзя ни в коем случае, это остановит прогресс. Он даже обиделся на меня, и мне пришлось через несколько дней идти с ним мириться.

Вспыльчивость Михаила Александровича в случаях нарушения принятых им норм была общеизвестна, и примеры ее можно найти в этой книге воспоминаний о нем. Мне хочется рассказать случаи, которые произошли еще в 1961 г., когда делегация советских ученых ехала на международную конференцию по физике плазмы и УТС в Зальцбург. Для многих из делегации это была первая поездка за рубеж. Делегация была сравнительно большая. В нее, как водится, был включен и представитель Госкомитета по атомной энергии — начальник управления Константин Назарович Мещеряков. Это был человек большого роста, с брежневскими бровями. Его внутреннее содержание было полностью сформировано той эпохой, он относился к спускаемым сверху установкам с поистине собачьей преданностью. И, хотя главой делегации официально был назначен академик Л.А. Арцимович, К.Н. Мещеряков считал своей прямой обязанностью инструктировать нас и следить за нашей благонаправленностью. Он проводил инструктаж за инструктажем, в которых старался убедить нас, что весь буржуазный мир только и думает о том, чтобы похитить советских ученых. Техника похищения хорошо отработана. Человека сажают в кожаный мешок, и поминай как звали. В Зальцбурге он обратился за подтверждением к советскому консулу, очень воспитанному интеллигентному человеку. Тот растерялся и пробормотал, что, по-видимому, Константин Назарович, конечно же, прав, но у них в Зальцбурге ничего подобного не случалось. "Не случалось, значит, будет", — убежденно сказал Константин Назарович.

В Зальцбург из Вены мы ехали через всю Австрию на автобусе, останавливаясь в красивых местах по инициативе водителя автобуса или кого-нибудь из нашей группы. Эти остановки смущали покой Мещерякова, так как, с одной стороны, похитители с кожаным мешком могли оказаться под любым кустом, с другой стороны, каждый член делегации, по его представлению, был потенциальным беглецом. Поэтому Мещеряков стремился все запретить. Я сейчас, к сожалению, не помню конкретного повода, но в какой-то момент чаша терпения Михаила Александровича переполнилась, и он, схватив высокопоставленного мужа за грудки, стал высказывать ему все, что думает о его поведении. Ситуацию разрядил Лев Андреевич, который напомнил, что глава-то делегации он, а не Мещеряков, и все спорные вопросы будет решать он сам.

Однако конфликты, несмотря на старания Арцимовича, возникали и еще. Бедному Мещерякову не удалось в последний день провести "режимный ве-

черочек”. (“Передайте по цепочке, что сегодня проведем режимный вечерочек”, — говорил он в последний день заседаний.) “Развращенные” за неделю западными нравами советские ученые оставили его предложение вне своего внимания, и некоторые вернулись в гостиницу очень поздно. Очередной конфликт возник в Вене перед отлетом. Уже в самолете вдруг выяснилось, что сверх плана самолет должен везти группу советских футболистов и, так как самолет не терпит перегрузок, доктор наук И.Н. Головин должен покинуть его борт и ждать следующего рейса. Об этом сообщил делегации К.Н. Мещеряков. Вот тут Михаил Александрович и объяснил ему, что такое уважение к ученому. Константин Назарович уже знал, что Михаилу Александровичу лучше не возражать. И.Н. Головин остался в самолете, а потихоньку от Михаила Александровича высадили двух других наших физиков, тоже докторов наук. Впрочем, всякое наше сопротивление в те годы оканчивалось не лучше.

Тучковский дом сыграл в жизни Леонтовичей большую роль, но, увы, не только положительную. Татьяна Петровна предпринимала усилия, чтобы отремонтировать его, расширить, сделать привлекательным для молодого поколения семьи. Но однажды в зимнее время подвыпившая компания хулиганов сожгла дом. Приехав в Тучково и увидев обгорелые бревна, Татьяна Петровна в приступе отчаяния сказала местному жителю, помогавшему ей раньше в строительных работах, что она от всего отказывается и он может использовать бревна куда хочет. Дома, успокоившись и посоветовавшись с близкими, она решила, что приняла слишком быстрое решение, что дом можно восстановить, но было поздно: оборотистый мужик уже все разобрал до щепки и вывез. Так закончился большой этап в жизни Михаила Александровича и Татьяны Петровны, сломалось что-то в укладе их жизни.

Я убеждена, что в жизни пожилых людей очень опасным является резкое изменение ее привычного уклада. Думаю, что здоровье Татьяны Петровны, которая вскоре после этих событий тяжело заболела, и, безусловно, связанное с этим здоровье Михаила Александровича, находились в прямой связи с этим роковым для них событием. Конечно, все мы не вечны и не очень прочны, но сопротивление болезням и старости в основном черпается из каких-то внутренних связей с жизнью, от возможности общаться со знакомым пейзажем, вдыхать его особые запахи, из тех невидимых корней, которые существуют у нас и создают необходимую внутреннюю атмосферу. Когда эти связи нарушаются, создать новые бывает в пожилом возрасте не просто. С концом тучковской жизни как бы закрылась последняя страница повести и осталось послесловие.